

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

1 '85





За мир на планете. (Участники международной встречи трудящейся молодежи «За право на труд, за право на жизнь» на антивоенном митинге в Лужниках.)

Фото Л. Шимановича

ЮНОСТЬ

1 (356)

85



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН

Владимир АМЛИНСКИЙ

Борис ВАСИЛЬЕВ

Сергей ЕСИН

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ

Натан ЗЛОТНИКОВ

Римма КАЗАКОВА

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Олег КОМОВ

Кайсын КУЛИЕВ

Мария ОЗЕРОВА

Андрей ПОТЕМКИН

Алексей ПЬЯНОВ

(заместитель главного редактора)

Юрий САДОВНИКОВ

(ответственный секретарь)

Владислав ТИТОВ

Алексей ФРОЛОВ

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство «Правда».
Москва

В НОМЕРЕ:

Вместе со всей страной. Передовая 3

Проза

Юрий ПОЛЯКОВ. ЧП районного масштаба. Повесть 12
Фазиль ИСКАНДЕР. Чик на охоте. Рассказ 53

Поэзия

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 8
Вячеслав БАШИРОВ 11
Юрий РЯШЕНЦЕВ 51
Валерий ШУМИЛИН 70
Иосиф РЖАВСКИЙ 70
Юрий МЕЛЬНИКОВ 71
Морис ПОЦХИШВИЛИ 72
Татьяна БЕК 73

Публицистика

Всегда начеку! 4
Москва ждет посланцев планеты 74
Почему выгодное невыгодно 75
Татьяна ВЕНЕДИКТОВА. «Хочу спросить вас, господин президент...» 77
Николай ЧЕРКАШИН. По следам «Святого Георгия» 81

Критика

Я — солдат революции 93
Михаил ПЛАСТОВ. Дорога любви 94
Алексей ПЬЯНОВ. Верность идеалам 97
Елена СТЕПАНЯН. Чувство пути, чувство горизонта 98
Юрий БОЛДЫРЕВ. Несколько прописей 99
Новый журнал 100

Культура и искусство

Владимир ШАХИДЖАНИЯ. Александр Калягин 101
Юлий КИМ. Спой нам, Визбор... 107
Мальдивская загадка 109

Зелёный портфель

Виктор СЛАВКИН. Мать и дочь 110
Константин МЕЛИХАН. Спор 112

1—4 стр. обложки —
рисунок
В. Скрылева.

Главный художник
Ю. Цишевский.

Художественный редактор
О. Коккин.

Технический редактор
Л. Зябкина.

Адрес редакции: 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького,
№ 32/1.

Сдано в набор 5.11.84 г.
Подп. к печ. 10.12.84 г.
А 15209.
Формат 84×108¹/₁₆.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 12,18.
Уч.-изд. л. 17,60.
Усл. кр.-отт. 18,48.
Тираж 3 100 000 экз.
Изд. № 66.
Заказ № 3801.

Телефоны:

Главная редакция — 251-31-22
Прозы — 251-59-44
Поэзии — 251-44-35
Публицистики — 251-02-30
Критики — 251-96-76
Науки и техники — 251-27-57
Рукописей — 251-74-60
Спорта и информации —
251-48-65
Сатиры и юмора — 251-05-06
Писем — 251-14-21
Оформления — 251-73-83

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции типография
имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС
«Правда».
125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ



от и стали мы на год взрослей... Каждый из нас и все мы вместе — со своей страной. Но минувший год, уйдя в историю, еще долго будет помнить нам, ибо он был удивительно богат событиями значительными, свершениями весомыми, которые вписаны яркими строками в летопись коммунистического созидания.

Десять лет назад в наш повседневный лексикон, на страницы газет и журналов, в передачи радио и телевидения, в песни и стихи пришло звонкое, как удар колокола, слово БАМ. Оно сразу же стало синонимом мужества первостроителей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, молодых энтузиастов стройки века, наследников Павки Корчагина и покорителей целины...

Осенью минувшего года легло на промерзшую землю в далеком сибирском поселке «золотое звено» БАМа! Есть магистраль! Дорога начала работать на всей своей протяженности — от Байкала до Амура — раньше намеченных планами сроков.

В истории сооружения дороги — героической, сложной, трудной — есть строки, написанные на страницах «Юности»: документальная повесть Светланы Колесовой «Мой БАМ», удостоенная премии имени Б. Полевого.

Авторы журнала — прозаики, поэты, журналисты — запечатлели в своих произведениях наиболее важные события минувшего года, дописали яркие штрихи к портрету нашего молодого современника, комсомольца восьмидесятых, осуществляющего вместе со всем народом величественные планы партии.

В минувшем году отметил свое пятидесятилетие Союз писателей СССР. Незабываемым, поистине историческим событием стало выступление на юбилейном пленуме правления СП СССР Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Константина Устиновича Черненко.

В этом выступлении — боевая программа деятельности советской литературы и искусства, согретых отеческим вниманием партии и народа.

«Глубокая идейность, гражданственность и высокий уровень художественного мастерства», — сказал К. У. Черненко, — таково главное требование партии, народа к деятелям искусства». Это требование — непреложный закон для нашей творческой интеллигенции, которая видит свой первейший долг в служении делу партии, делу строительства коммунизма. На это же направлены и все устремления молодой литературной смены, наследующей лучшие традиции нашей великой многонациональной литературы.

Да, минувший год еще не скоро станет для нас историей. Продолжение его свершений, биение его рабочего пульса — в дне сегодняшнем, который несет с собой новые обретения, зовет на штурм новых высот. С первых дней нового, 1985 года взяты высокие, ударные темпы во всех отраслях народного хозяйства — завершается наша очередная пятилетка. Все, что мы наметили на нее, должно быть и будет выполнено.

Особое значение этому году придает славная дата — сорокалетие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Уже идут ударные вахты в городах и селах, на заводах и стройках, посвященные знаменательному юбилею. В первых рядах участников этой вахты Победы, вахты памяти — молодежь, комсомольцы. Рассказ об их делах «Юность» начинает с первого номера, на страницах которого встречаются герои минувшей войны и наши современники. Им предстоит потрудиться на славу, им доверены большие дела: освоение трассы БАМа, создание мощных промышленно-энергетических комплексов в Сибири, участие в осуществлении планов мелиоративного строительства, намеченных октябрьским (1984 г.) Пленумом ЦК КПСС.

Все это — рабочие адреса молодых тружеников и рабочие адреса авторов нашего журнала

«Приближается XXVII съезд КПСС», — сказал в своей речи на юбилейном пленуме правления СП СССР Константин Устинович Черненко. — Каждый съезд играет огромную роль в жизни партии и народа. Но уже сейчас несомненно: значение очередного съезда будет определяться тем, что на нем будет принята новая редакция Программы КПСС, на основе которой нам предстоит работать десятилетия».

В стране уже началась подготовка к этому важнейшему событию. Яркое, талантливо рассказать о ней журнал считает своим долгом.

Юность планеты готовится к своему празднику — Всемирному фестивалю молодежи. Центром форума молодых станет Москва. Фестиваль — еще одна из важных тем в плане «Юности» на новый год — Всемирный год молодежи.

Да, он будет необычным, так стремительно начавшийся 1985-й. Ярким, насыщенным событиями, сложным. Над планетой висит угроза войны, исходящая от тех, кто размахивает атомной дубинкой. И потому как эстафету принял новый год неустанные, каждодневные усилия нашей партии и государства по сохранению мира.

Он, этот новый, еще такой молодой год, полон оптимизма и надежд. И мы должны сделать все для того, чтобы эти надежды осуществились.



ВСЕГДА НА ЧЕКУ!

Беседа
Александра ПРОХАНОВА
с главнокомандующим
ракетными войсками
стратегического назначения,
заместителем министра
обороны СССР,
Главным маршалом
артиллерии
Владимиром Федоровичем
ТОЛУБКО

Просторный кабинет, блеск лакированного стола, разноцветные телефоны — белый, черный, красный; запаянный прозрачный стеклянный колпак, мигание селектора.

Хозяин кабинета — главнокомандующий ракетными войсками, Главный маршал артиллерии Владимир Федорович Толубко. Я гляжу на его лицо. Подвижное, энергичное, со следами военных шрамов, блестят на плечах маршальские звезды, сильный и энергичный жест.

Беседа, которой меня удостоил маршал, вопросы, на которые он согласился отвечать, проходят на фоне недавнего открывшегося мне опыта, опыта посещения полигона...

...Идешь вдоль заснеженной редкой опушки с опавшими рыжими дубами, сугробы снега испещрены заячьими и лисьими следами. И вдруг сугроб приходит в движение, отбрасывается железобетонная толстенная крыша, откупоривает недра земли и оттуда в морозный воздух ударяет парным, теплым духом, запахом смазок, эфиров, тончайших испарений металла и пластика, и в стальном кольце откывшейся шахты обнаруживается ракета, ее вздетый в зенит овальный клюв с белым набалдашником. Недвижная, словно личинка в кокопе, она застыла в шахте. Эта шахта не просто колодезь, не просто вертикальная емкость, где таится ракета. Эта шахта сама машина, сложнейшее инженерное сооружение, живая матка, питающая ракету теплом, тончайшими энергиями, сонными, блуждающими по шахте и по ракеге токами и полями.

Мое тело в узком зазоре между вертикальной колонной ракеты и стальными оболочками шахты, в зазоре, в котором в момент пуска пронесется огнедышащая раскаленная плазма огня и газа, выталкивающая ракету из шахты в небеса, ввысь. И все, что минуту назад казалось незначительным, почти пустяковым, от чего хотелось отмахнуться, здесь, в недрах ракетной шахты, кажется важным, предельно важным...

Мой первый вопрос к главному, человеку, знающему об этих ракетах больше любого из нас: «Когда, в какое время Вы впервые столкнулись с ракетами, когда ракеты вошли в Вашу жизнь?»

— Пожалуй, впервые с ракетами я столкнулся в июле сорок второго года на Калининском фронте. Это были «Катюши». Здесь, на этом фронте, летом сорок второго года была окружена наша наступательная армия. Две немецкие дивизии — дивизия СС и дивизия «Мертвая голова» — нанесли контрудар по флангам нашей армии с целью ее окружения. Среди попавших в окружение дивизий находилось несколько дивизионов наших «Катюш». Командующий фронтом генерал-полковник Ковев приказал танковой бригаде, которой командовал тогда я, майор-танкист, совместно с пехотой прорвать окружение и дать возможность вывести дивизионы «Катюш».

Командующим фронтом был лично указан участок прорыва, назначено время начала атаки, и по радио оповещены о месте и времени общего встречного удара по прорыву окружения. Что-нибудь изменить было уже невозможно. Нашей танковой бригаде предстояло развернуться и атаковать по топкому болоту и единственно уцелевшему мосту через не-

большой ручей. Вначале наступление развивалось по плану, но затем один из наших танков застрял на этом мосту, закупорил движение. По-видимому, экипаж танка был выведен из строя. На мост были направлены два других экипажа, но они не возвращались. Положение становилось критическим. Командующий фронтом со своего наблюдательного пункта требовал: атакуйте, с той стороны атака началась! Тогда я сам решил пойти на мост. Танк застыл на мосту, и из переднего люка свешивалось до земли зацепившееся за педаль тормоза тело механика-водителя. Он был убит. Другие члены экипажей, пытавшиеся выйти из танка через нижний эвакуационный люк, тоже оказались расстрелянными. Тут же неподалеку около моста лежали танкисты и двух других танков, посланных мною. Я заметил, что нахожусь под прицелами двух немецких пулеметчиков, готовых в любой момент нажать на гашетки своих пулеметов. Двигаясь вокруг танка, я вытащил из люка тело водителя, оттащил его в сторону, некоторое время продолжал ходить перед застывшей машиной. Затем разогнавшись, в каком-то невероятном, невозможном в обычных условиях прыжке ласточкой, буквально влетел в танковый люк. Причем в тот момент, когда я летел, когда руки, голова, плечи, туловище мое уже были в броне, пулеметчики открыли огонь, и пуля мне прострелила каблук на сапоге. Я завел двигатель машины, включил скорость и отвел танк с моста. Путь по нему стал теперь свободен.

Танки пошли вперед, перерезая дорогу, прорывая поспешно занятую оборону. Пехота двинулась вслед за танками, расширяя прорыв в обороне противника. В образовавшийся прорыв стали выходить наши отрезанные дивизии, наши войска, дивизионы «Катюш». Они выводились из окружения под брезентовыми, измызганными глиной чехлами, обугленные, без снарядов. Эти «Катюши» двигались в тыл, уходя от врага, опять вливаясь в ряды наших войск, чтобы стать на защиту Москвы, чтобы потом через три грозных года дойти до Берлина, участвовать в последнем победном штурме.

Тогда же во время этой операции 27 июля 1942 года я был тяжело ранен. Семь осколков извлекали хирурги, а один до сего дня продолжает оставаться в правом легком.

Главком выпрямляется, словно чувствует вопзавшийся в правый бок осколок. Та операция по спасению первого поколения советского реактивного оружия живет в нем, как боль, как осознание того, сколь высокой ценой приходилось народу платить за свою оборону.

Сегодня оборона Отечества проходит не по линии Бреста и Выборга, как это было в сорок первом. Она проходит по иным ориентирам.

Она проходит и через эту точку, через эту небольшую заснеженную, спрятанную в лесах поляну, где ракетчики стали на защиту Отечества. На лифте спускаюсь вниз, в глубину. Все ниже и ниже. Выхожу на дно подземных площадок. Сначала миную белые, мягко освещенные овальные помещения, места, где отдыхает свободная от дежурства смена. Столик, лежащие на нем журналы, газеты. Спускаюсь площадкой ниже и оказываюсь на командном пункте. Цилиндрический округлый зал, заключен-



ный в стальные и железобетонные оболочки. Два пульта, напоминающие попугаи, небольшие конторки, небольшие столы, за которыми сидят офицеры. На стене портрет Ленина.

На пультах, покрытых темно-зеленым пластиком, наборы клавиш, кнопок, индикаторов. Сюда, на эти пульта, если случится беда, если настанет час катастрофы и стая вражеских ракет взмоют со своих площадок, из своих глубинных подземных шахт, что в штатах Колорадо или Невада, или морских глубин, сюда придет сигнал ответного удара, сигнал ответного ядерного возмездия.

Никогда еще человечество не было столь могущественным, не обладало такой сокрушительной разрушительной силой над жизнью, над всем земным, над самим собой. Никогда еще на плечи руководителей ведущих держав не ложилась такая поистине гигантская ответственность за судьбы мира, за судьбы земли, за судьбы самой жизни на нашей планете.

Где-то там наверху, на земле, создаются псевданных размеров армии, в океанах плавают американские авианосцы с эскадрильями самолетов, готовых взмыг, направиться к нашим берегам, нанести огнестрельный ядерный удар. В мировом океане шныряют их субмарины, готовые из-под воды ударить своими «Трайдентами», «Посейдонами», опалить нашу землю термоядерным огнем, оставить на месте наших городов дымные ядовитые котлованы, стереть с лица земли наши святыни и ценности, наши колыбели, курганы с похороненными в них древними висящими, весь наш народ, самую память о нем.

И чтоб этого не случилось, здесь, в этом подземном бункере, днём и ночью, круглосуточно сидят офицеры, напряженные, бдительные, не спускающие глаз со своих аппаратов, ждут, следят. Я смотрю на их лица и думаю: что в их душах, в их сердцах? Сколь непомерен груз века, возложенный на их плечи, где тускло поблескивают офицерские погоны. И тут же слышится четкий ответ: «Мы всегда нацели, чтобы не допустить ядерной войны!».

И вот мой второй вопрос к главному: «Как зарождались советские ракетные войска, как Вам, ракетчику, помнятся те годы, когда наша страна была вынуждена ответить на брошенный нам из-за океана ракетно-ядерный вызов!»

— В этом году исполняется 25 лет существования ракетных войск. Тогда, в 60-м году, я был заместителем Митрофана Ивановича Неделина, Главного маршала артиллерии. Тогда создавались первые образцы советских межконтинентальных ракет. Работал Королев, работал Янгель. Строились первые пусковые установки, на них выдвигались первые жидкостные ракеты, шли летные их испытания. И в тот момент, когда еще отрабатывались ракеты, отрабатывались их системы, в то время, когда нас преследовали сомнения, иногда неудачи, мы знали и твердо верили, что конструкторская мысль, что наша военно-инженерная мысль обеспечит создание ракетно-ядерного потенциала страны, не уступающего американскому. Выбирали места на карте Советского Союза подальше от населенных пунктов, подальше от скопления населения, в пустынях, в тайге, в глуши. Там, где почти не ступала нога человека, строили шахтные пусковые установки. Туда направлялись могучие машины и мощная техника, создавались ракетные комплексы. Мы работали днём и ночью, мы ходили с докладами в вышестоящие инстанции, контролировали этот процесс, корректировали его. В ту пору уже были созданы американские «Минитмены», закладывались многие сотни их подземных пусковых установок, нацеленных на наши рубежи, на СССР. Это был острейший период, когда чаша весов колебалась: успеем ли мы за американцами, успеем ли мы поставить свои ракеты, не опоздав, не отстав, не дав им соблазна развязать войну. Ибо тогда уже планировался массированный, тотальный ядерный удар американцев по нашим городам всеми имеющимися в США атомными бомбами.

Это был непомерный, огромный труд всего народа, целых отраслей промышленности и индустрии, бессонные ночи конструкторов, нервы. Великие труды, великие дерзания. Ракетные войска создавались на основе существующих видов Вооруженных Сил и родов войск. Во вновь созданные ракетные гарнизоны приходили моряки, артиллеристы, танкисты, летчики. Тогда пренебрегали уютным жильем, пренебрегали удобствами. Офицеры мирились с тяжкими условиями жизни, с бездорожьем, с оторванностью от семей, от городов, от родных и близких. Важно было вовремя построить и оснастить ракетами шахты, обучить людей и не допустить возможного начала войны, не дать США малейшего шанса для одоления, для победы, для первого ядерного удара. Мы выполнили эту программу. Советский народ справился с этой грандиозной задачей.

В конце 60-х годов американцы шумно, громогласно, как они это часто делают, объявили миру о создании своих ракетных систем с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Они говорили: русским десять лет понадобится на то, чтобы сконструировать и создать подобные системы.

Опять, казалось бы, возникла угроза нарушения равновесия, нарушения баланса. Опять они могли, они готовились нанести по нашим центрам свой ракетный удар. Но этого не случилось. Мы подняли в воздух свою ракету с разделяющимися боевыми блоками.

Повторяю. Это было реализацией предвидения нашей партии. Это был подвиг ученых, подвиг армии, подвиг всего народа.

Главком умолкает, смотрит за окно, где снегопад; на столе листок бумаги, исчерканный его авторучкой. Я смотрю на этот листок, вспоминаю свое недавнее посещение ракетного полигона.

Сам полигон — это огромная территория, врезанная в леса, в степи, хорошо продуманная и спланированная, исчерченная бетонными дорогами, прорезанная железнодорожной колеей. Каждая такая колея, каждая бетонная трасса завершается своей стартовой площадкой, своей пусковой установкой, швыряющей в небеса ракеты. Бетонные отражатели газовых пламенных струй опалены и обуглены. Над лесом то здесь, то там высются чаши радаров, острия и ромбы антенн, следящие за улетающими ракетами. Недалеко построена комфортабельная, хорошо спланированная жилая зона, где живут военные, приезжающие инженеры, где проводятся лабораторные испытания ракет. Время от времени ночь над лесом озаряется алым пламенем и ввысь уносятся стремительные факелы ракет. Это идут учебно-боевые пуски.

Тип ракетчика, каков он? Самые разные темпераменты, уровни знаний, профессий. И все они: только что пришедший на службу солдат, убежденный седивой генерал, умудренный конструктор — все они внутренне озабочены, очень напряжены, очень осторожны, и их озабоченность, напряжение и осторожность связаны с самой идеей ракеты, с самой идеей этого грозного оружия, которое они сотворили, которое они запускают. Они понимают, что их творчество связано с грозной реальностью XX века и служит не агрессии, не нашествию, не связано с идеей мирового господства. Это вынужденный ответ. Это вынужденная оборонная мера, захватившая их жизни, их поколение. И все они, творящие это оружие, мечтают о том, чтобы роль этого оружия заключалась только в сдерживании, только в том, чтобы останавливать, удерживать агрессора.

О возможности войны хочу я спросить главного. Задаю ему самый тривиальный, самый распространенный в мире вопрос, вопрос, который задают друг другу крестьяне, рабочие, все смертные люди, где бы они ни жили — в Европе, в Азии, в Австралии, самый простой и самый насущный, самый драматический вопрос, который задается в последней четверти XX века, — будет ли война. Мой вопрос главному таков: «Товарищ маршал, что, по-вашему, останавливает сегодня войну?»

— Я твердо могу сказать, что СССР никогда войну не начнет, опасность войны исходит не от СССР, война нам не нужна, она нам противоестественна. Каждый из нас — маршал или ученик в школе — скажет вам: войны не надо, войны не хочу. Угроза войны исходит не от нас, она исходит от Соединенных Штатов, она исходит от НАТО. У них есть огромное искушение начать войну. Войной они хотели бы стереть с лица земли социализм. Они всегда, с самого начала появления в мире социализма, хотели его уничтожить и стремились его уничтожить, и воювали с ним, и мечтали одержать над ним победу.

Эта мечта не оставляет их и по сей день. Поэтому, хотя фатальной неизбежности войны нет, ее угроза реальна, она существует, и мы знаем, откуда она исходит. И мы знаем, что сдержать пуск нацеленных на наши города и села американских стратегических ракет можно только нашей готовностью нанести сокрушительный, испепеляющий ответный удар.

Вероятный противник должен знать, и он это знает, что научная мысль, в том числе военно-научная мысль в мире, развивается, как правило, одновременно, параллельно. Одержат сегодня победу над СССР в научном интеллекте, в научных идеях и технических возможностях не дано. На каждую их военную разработку, на каждое их военное изобретение, чего бы оно ни касалось, на каждое такое изобретение мы можем ответить своим, и мы отвечаем своими изобретениями. Повторяю, на каждый вызов мы сегодня в состоянии ответить. И об этом красноречиво свидетельствует сама жизнь.

Я слушаю маршала, а сам вспоминаю недавний пуск, на котором присутствовал. На полигон спустилась зимняя холодная ночь, падал снег, на этом снегу стояли ракетчики. Здесь же стоял и сам главком. Сквозь тьму наши взгляды были устремлены к далеким, сумрачным под низким небом лесам, где стояла ракета — размытая, чуть видная, напоминавшая далекую, одинокую, красновато светящуюся лампочку. До старта оставалось несколько минут. Все молчали. Находились в состоянии высокого напряжения. Было видно, что в каждом — ожидание, ожидание этого пуска, ибо в эту ракету были вложены колоссальные усилия людей, огромный потенциал знаний, большие материальные средства. Я смотрел на этих людей и думал, что их воля, их ум, их жизнь, их таланты сегодня направлены в военное дело, в оборону. Ракета, которую они сконструировали, служит обороне в спорах с жестокой, навязанной нам в конце двадцатого века необходимостью. Одолев нависшую над миром опасность, человечество могло бы выйти в другое время, в иное понимание своих задач, своих путей. Тогда ракета перестанет быть оружием, перестанет быть носителем страшных разрушительных энергий. Она будет тем, чем ее замыслил Циолковский, она будет тем, с чем издавна связывали ее в преданиях и мифах. Она будет инструментом воздействия умудренного, просветившегося человечества — воздействия на Вселенную. Она вынесет в космос идеи добра. С помощью ракеты человечество начнет заселять сначала близлежащие космические зоны, а затем и все более удаленные. Там развернутся космические поселения, города, будут построены фабрики и заводы, возникнет иная, неземная, космическая цивилизация. Это неизбежно. В ракете сконцентрированы высшие, на пределе человеческого разума, знания, которые в дальнейшем освободятся от своего военного аспекта, превратятся в одушевляющую космос силу. Но это будет не теперь, не сегодня. А сегодня грозный военный ракетный старт.

...Там, за лесами, что-то полыхнуло. Огромная лавина света, озарившая пространство лесов, низкое, нависшее, сумрачное зимнее небо. Из лесов поднялся медленный раскаленный факел, будто вздулась из земли гигантская газовая горелка. Все убыстряя бег, факел вошел в тучи, озарил их огромной, до горизонта, зарницей и, медленно угасая, ушел в небеса. Небо сомкнулось, спрятало в себе ракету, ее невидимый, свистящий, мчащийся смерч ушел по баллистической кривой, провожаемый глазами антенн, которые следили за полетом ракеты, за отделением ее ступеней, вели счет секундам, километрам. И

когда головная часть опустилась в заданный квадрат, поразила «цель», информация об этом через огромное пространство достигла полигона, я увидел, как эти напряженные, скованные ожиданием люди будто вспыхнули. Их охватила радость, ликование. Они кинулись друг к другу, пожимали друг другу руки, обнимались, поздравляли друг друга. Некоторые из них смеялись.

Я задаю свой четвертый вопрос главному здесь, в этом тихом теплом кабинете, а помню его лицо там, во время пуска, озаренное багровой, полыхнувшей за лесами вспышкой. Мой четвертый вопрос главному: «Что бы вы пожелали, товарищ маршал, сегодняшней молодежи, тем, кого завтра ожидают ракетные гарнизоны, пусковые установки, трудный, грозный ратный труд? Что бы вы пожелали будущим молодым солдатам и офицерам?»

— Я пожелал бы им учиться, учиться непрерывно, много, страстно. Постигать не просто учебные предметы, математику, физику, а учиться жить, учиться понимать, учиться размышлять о сегодняшнем мире. Этот мир отличается от того, в котором росли мы, люди, вынесшие на своих плечах вторую мировую войну. Пусть учатся понимать философию сегодняшней борьбы, философию сегодняшнего противостояния, чтобы быть готовыми включиться в эту борьбу, активно, действительно включиться в это противостояние. Пусть каждый молодой человек, готовый встать из-за парты и надеть солдатскую форму, надеть офицерский мундир, будет готов пожертвовать своим досугом, своим комфортом, своей обеспеченностью, своим покоем. Пожертвовать всем этим для Отечества, для обороны, для страны. Вклад в оборону может сделать не только военный, не только инженер-оружейник, не только маршал, вклад в оборону сегодня может сделать пастух в поле, рыбак в море, каждый рабочий, художник за мольбертом, ученик в школе. Своим поступком, деянием, своей волей, своей сознательностью, своим страстным желанием нашей Родине добра, блага, богатства, могущества. У обороны нет пожилых и молодых, в обороне нет талантливых и бесталанных, в обороне нет людей, разделенных на профессии. В обороне есть единство народа. И это единство народа, единство наших трудов, нашей веры — гарант мира, гарант жизни, гарант сегодняшней цивилизации.

РОБЕРТ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ



Воспоминание
об июне 45 года

Жаркий день.
Трамвайные звонки.
По Москве
сержант шагает браво.
Все на нем сияет:
орден Славы,
пряжка на ремне
и сапоги.
Он идет к Садовому по Бронной,
сдерживая торжество
с трудом.
Неубитый,
радостный,
здоровый —
он шагает.
И при всем при том
так глядит
на девушек столичных
сквозь свою
двадцатую весну,
будто он вчера —
единолично! —
взял Берлин
и выиграл
войну.

☆☆☆

Память у Земли огромна и крута.
Нынче —
от столиц до малых поселений —
счет годам ведется
от войны последней,
а не от рождения
вечного Христа.
Никогда не станет
этот счет напрасным,
если он планете
плечи
распрямил!..

Разум человека —
это просто разум.
Разум Человечества —
это мир.

☆☆☆

Т. Салахову

То белым по синему —
чайкой по небу,
то синим по белому —
тенью по снегу,
на горных отрогах,
на кочках болота
профессионально
рисует природа!
У осени —
ясной и рано пришедшей —
берет она
обыкновенные листья
и так их раскрашивает
сумасшедше,
что стонут от зависти
колористы!..
Рисует природа.
Она не устала.
На кручах
земного
летающего шара
ей нравится
соединять беспрестанно
манеры и стили,
сюжеты и жанры...
То вдруг распахнет
горизонты громадно,
а то
все масштабы
переименит
и кисточкой,
сотканной из тумана,
тропинку вдоль речки
едва обозначит...
Природа рисует
легко и упруго.
Ей хочется жить.
Ей менять интересно
увядшую живопись
летнего луга
на четкую графику
зимнего леса.

Встреча

— Здравствуй! Кого я вижу!!
Больно глазам!..
Прямо как в сказке:
вдруг,
посреди зимы —
летнее чудо!..
Вот и не верь чудесам...
— Здравствуй!..
Действительно,
вот и встретились мы...
Дай мне очухаться!..
До сих пор не пойму:

вышел из дома,
а ты навстречу идешь!..
А помнишь,
какое солнце было в Крыму!..
— Помню...
Теперь мне
больше нравится дождь...
— Я же тебе написать обещал...
Но, знаешь, не смог.
Сперва заболел,
а потом навалились дела...
Ты понимаешь:
работа...
Падаю с ног!..
— Я понимаю.
Я писем и не ждала..
— А помнишь,
как я сердолики тебе искал!
И рано утром
ромашки бросал в окно..
Помнишь,
как мы смеялись у Синих скал!
— Помню...
Сейчас это все
и вправду смешно...
— А помнишь,
как мы на базаре купили айву!
Как шли по дороге,
а рядом бежал ручей...
Послушай,
а как ты живешь!..
— Да так и живу...
— А помнишь!..
— Помню...
Не знаю только —
зачем...

Дождь

Дождь
закапал неохотно,
словно
не желал идти.
Будто вспоминал,
как ходят
настоящие
дожди.
И дорога,
что с опушки
неторопко в лес ползла,
вся —
в немыслимых веснушках
капель дождевых
была!
Дождь
качнулся, вырастая.
И — немного погода —
все на свете
сразу стало
частью
этого дождя!
Был он щедрым,
был он крупным,
лился,
падал свысока,
в землю уходя
по трубам
светлого березняка.
Был
доволен сам собою,

сам собою
поражен!..
А потом
увидел поле
и —
пошел в него,
пошел!..
Кончился,
как огорошил.
Убежал —
и не найдешь...
Майский,
молодой,
хороший,
пахнущий арбузом
дождь.

Кладбище под Парижем

Малая церковка.
Свечи оплывшие.
Камень дождями изрыт добела.
Здесь похоронены бывшие,
бывшие.
Кладбище
Сен-Женевьев-де-Буа...
Здесь похоронены
сны и молитвы.
Слезы и доблесть.
«Прощай!» и «Ура!»
Штабс-капитаны
и гардемарины.
Хваты-полковники
и юнкера.
Белая гвардия.
Белая стая.
Белое воинство.
Белая кость...

Влажные плиты
травой зарастают.
Русские буквы.
Французский погост.
Я прикасаюсь ладонью
к истории.
Я прохожу
по гражданской войне...
Как же хотелось им
в Первопрестольную
въехать
однажды
на белом коне!..
Не было славы.
Не стало и Родины.
Сердца не стало.
А память
была...
Ваши сиятельства,
их благородия —
вместе —
на Сен-Женевьев-де-Буа.
Плотно лежат они,
вдоволь познавши
муки свои
и дороги свои.
Все-таки русские.
Вроде бы наши.
Только
не наши скорей,
а — ничьи...

...Как они после —
забытые, бывшие,—
все проклиная и нынче и впредь,
рвались взглянуть на нее,
победившую,
пусть
непонятную,
пусть
непростившую
землю родимую!
И —
умереть...

Полдень.
Березовый ответ покоя.
В небе —
российские купола.
И облака,
будто белые кони,
мчатся
над Сен-Женевьев-де-Буа.

Последняя песня Арно Бабаджаняна

Вы не верьте
в мою немоту.
Даже если я вдруг
упаду,
даже если уйду,
то не в землю уйду.
Я не в землю,
а в песню уйду.
Будут яблони
осень встречать,
и посыплются звезды в траву.
И пока на земле
будут песни звучать,
в каждой песне
я вновь оживу.

И обрушится дождь голубой.
Будут листья дрожать на ветру.
И пока на земле
существует любовь,
не умру я, друзья.
Не умру.
Пусть в долину помчатся ручьи!
Пусть очнутся в садах соловьи!
Я люблю эту жизнь.

И все песни свои
я писал
ради этой любви.

Вы не верьте
в мою немоту.
Даже если я вдруг
упаду,
даже если уйду,
то не в землю уйду.
Я не в землю,
я в песню уйду.

Певица

Над столом — афиши давние,
гитара.
Фотографии по стенке
в два ряда...

А певица
патефон заводит старый:
— Вы послушайте,
как пела я
тогда!..
Вспоминает
о каком-то адмирале,
о Гурзуфе,
о свиданиях потом...
Все поклонники
давно поумирали.
Так давно,
что даже верится с трудом.
Жизнь бежала,
уходила постепенно,
ни забыть,
ни возратить ее нельзя.
А певица повторяет:
— Как я пела!..
И слезятся
подведенные глаза.
И на миг в них проступает
ответ бывший,

и взлетает вверх
прозрачная рука...
А красавица
с желтеющей афиши
на хозяйку дома
смотрит свысока.
И она сидит,
вздыхая потихоньку.
«Как я пела,— говорит,—
болею, жаль...»

И плывет
щемящий голос патефонный.
Он забыл уже,
кому принадлежал.

День

И опять он рождается
в зябком окне.
Барабанит в стекло,
будто просит помочь.
В нем —
коротком,
еще не потерянном дне —
непрерывная боль,
сумасшедшая мощь!..
«Суета!» — говоришь!
«Принесет — унесет...»!
Говоришь, что поэту
гораздо важней
о бессмертии думать
и с этих высот
обращаться к векам
через головы дней!..
Я не ведаю,
чем тебя встретят
века...
Для спешащего дня
я кричу и шепчу.
И останется после
хотя бы строка,
я не знаю.
Я знаю.
Я знать не хочу.

ВЯЧЕСЛАВ
БАШИРОВ



Велосипед

Когда я изобрел велосипед,
обрел я наконец-то равновесье.
Хотелось мне объехать целый свет
и все на свете города и веси.

Кричали мне знакомые вослед,
когда летел я на велосипеде:
«Чудак, ты изобрел велосипед,
а далеко ли ты на нем уедешь!»

А я не знаю — далеко или нет!
Далекие за горизонтом дали.
Мне хочется объехать целый свет
И просто нравится крутить педали.

Лучина

Нет ничего темней чужих потемок.
Гляди всю ночь — останешься слепцом.
Вот, кажется, законченный поддон...
А как поет! Меняется лицом.
— Спой, Крокодил.
— Пошел ты!
— Брось ломаться...
А он уже сломался. Ворожа
враз пересохшими губами:
— Ладно, братцы...

Глаза темны. В них светится — душа!
Лучина... «То не ветер ветку клонит»
— Развылся!..
«Не дубравушка шумит»
— Эй, тихо!
«То мое сердечко стонет».
Ну отчего
у всех оно щемит!
Не голос, не уменье, не старанье!..
Рыданье и глухая хрипотца...
Какое чувство подлинней страданья!
Нет одухотвореннее лица...

Вот только что травил о бабах пошло...
А песня — о разлуке, о любви..
— Кончай! И без того на сердце тошно.
— И правда, хватит. Душу не трави!..
И кончилось. Потух.
И стало стыдно. Так стыдно слез!
Так стыд в глазах чадит!..
В чужой душе ни огонька не видно,
когда в своей лучина не горит.

Перечитывая «Вертера»

Перечитал «Страдания».
Любовь и кровь. Смешно!
Смятение, метание, мечтание одно!
Как родственника дальнего, себя не узнаю..
Перечитал «Страдания»,
как юность. Не свою!
В тот день, когда я «Вертера»
впервые прочитал,
не о любви, о смерти я,
мне помнится, мечтал.
Теперь уже не верится, что это было так
в тот день, когда я «Вертера»..
Давным-давно... Чудак!
В тот день читал я «Вертера»
и думал — вот умру..
Но умирал я вечером в снегу и на ветру.
Что было! Били четверо.
За что! Темным-темно!..
Лежал читатель «Вертера»
в снегу — бревным-бревно..
Страдал он не по «Вертеру» —
не страсть, а просто — страх! —
в тот день, в тот вечер ветренный —
в снегу, в крови, в слезах..
Теперь уже не верится, что это я в крови.
Перечитал я «Вертера» и вспомнил о любви..
Смешно! Одни мечтания и вера в Идеал.
Перечитал «Страдания». Каким я старым стал!
Перечитал «Страдания». В слезах перечитать
сумею ли когда-нибудь!
когда-нибудь опять.

Маленькая

Сопливая моя! Несчастливая такая..
Конфету не дает — и кто! Твой верный раб!
Как он посмел, злодей! Пусть мучается тоже.
Уткнись ему в плечо. За шею обхвати.
Ну, он уже готов... Всем опытом двухлетним
ты знаешь — этот мир тебе для счастья дан.
Казни! Повелевай! Все сладости Востока..
Любимая, пойми, нельзя же... диатез...

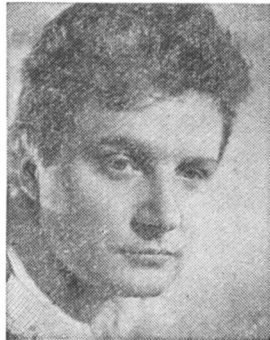
Пойдем-ка на балкон. Смотри, бежит собака,
вон девочка с зонтом... Нет, сразу не простишь.
Хотя гроза прошла... В твоих глазах раскосях —
вся синева небес, омытая дождем!

Я в этот мир гляжу. Тобою отраженный,
он тем уже хорош, что ты глядишь в него.
И пусть он не во всем еще тебя достоин,
прекрасная моя, — с надеждою гляжу!..

г. Казань.

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ

Автор нескольких книг,
поэт, лауреат премии Мос-
ковского комсомола.



1

Ж

а дне, между камнями, застыл пуче-
глазый морской ерш. Он и сам был
похож на вытянутый, покрытый ще-
тиной серых водорослей камень.

Буря подводная трава моталась в
такт прокатывающимся на поверхности волнам и
открывала пасущихся в чаще разноцветных рыбок.
А еще выше — там, где, по мнению придонных жи-
телей, находилось небо, — проносились эскадрильи
серебристых мальков. И совсем высоко-высоко, на
границе двух миров, ослепительное золото омывало

ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА

ПОВЕСТЬ

синие тени медуз. Но на солнце даже из-под воды
смотреть было невозможно.

Человек в маске и ластах зажмурился, потому что
после взгляда вверх дно показалось темно-зеле-
ным шевелящимся пятном. Потом, одной рукой
крепче ухватившись за жесткие стебли водорослей
и чуть-чуть выдвинувшись над скалой, он стал мед-
ленно подводить наконечник гарпуна к окаменевше-
му ершу. Чтобы выстрелить наверняка, острие нуж-
но приблизить почти вплотную (очевидно, завод,
где изготавливаются подводные ружья, — коллектив-
ный член Общества охраны природы).

Но в тот момент, когда, дернувшись в руке,
ружье метнуло гарпун, ерш с реактивной скоростью
рванул с места и, оставляя за собой мутный
след, исчез в расщелине. Гарпун, звякнув, отскочил
от камня, и белый капроновый шнур, медленно из-
гибаясь, начал опускаться на дно.

Из дыхательной трубки с бульканьем взвились
крупные пузыри: охотник выругался. Запас воздуха
в легких кончался, но, прежде чем всплывать, чело-
век обвел вокруг взглядом, запоминая место, где
укрылся ерш, и вдруг снова вцепился в водоросли:
на краю расщелины сидел здоровенный краб, похо-
жий на инопланетный шагающий вездеход. Черными
глянцевыми клешнями-манипуляторами он подносил
что-то ко рту.

Сдерживая подступивший к горлу вдох, ныряль-
щик изо всех сил сжал зубами резиновый загубник
трубки. Десять лет он занимался подводной охотой,
но такого громадного черноморского краба не ви-
дел, кажется, ни разу! Только бы не потерять ска-
лу! Наверху — волны, пока отдышишься, может от-
нести в сторону. Обманывая задышающуюся плоть,
охотник делал частые глотательные движения, но
это уже не помогало.

Все! Сильно оттолкнувшись от скалы, вытянувшись
в струну и до судороги в икрах работая ластами,
он понесся вверх, к воздуху. Выскочив из воды по
пояс, человек выплюнул загубник и несколько раз
глубоко, до боли в легких, вздохнул. Перед глаза-
ми, застилая жаркое синее небо, плыли фиолето-
вые пятна, а к вискам прилиwała пугающая сла-
бость. Постепенно взгляд прояснился, неуверенность
исчезла, но дыхания все же не хватало, а сердце
колотилось неестественно быстро и гулко.

Рисунки
Б. Жутовского.

Чтобы успокоиться, человек осмотрелся: метрах в двухстах от него виднелся пустынный каменистый берег, три парня волокли выброшенную морем корягу, а далеко справа горбилась гора «Ежик», из зеленых колючек которого поднималась белая башня пансионата. У подножия «Ежика», между волнорезами, был большой пляж.

Возле оранжевых буйков, болтая в воздухе ластами, охотились за разноцветными камешками, мелкими рапанами бесстрашные ныряльщики. Еще дальше, покачиваясь на пестрых надувных матрацах и чувствуя себя, наверное, в открытом море, несколько смельчаков получали солнечные ожоги. Через равные промежутки времени усиленный мегафоном хриплый мужской голос с южным акцентом настойчиво звал их вернуться к берегу. А на горизонте, где, как двояковыпуклая линза, смыкались море и небо, виднелся силуэт теплохода.

Человек глубоко вздохнул, поправил маску, вставил в рот загубник и, погрузив лицо в воду, сразу отыскал знакомые очертания скалы. Так, распластавшись на волнах, он старался отдышаться, при этом не упуская из виду найденное место.

Это надо же! Весь отпуск проплывать там, где подводная мелочь вспоминает о ершах и крабах, как мы о мамонтах, и вот за три дня до отъезда напасть на такой заповедник! Черт с ним, с ершом, но краб-то, краб! Боевая клешня чуть не с ладонь, если упустишь — никто не поверит. Надо попытаться схватить рукой, а если не получится — выстрелить, хоть и жалко портить панцирь.

Подумав об этом, охотник упер рукоятку пневматического ружья в живот и с натугой вдавил гарпун в дуло, потом втянул через трубку воздух, сложился пополам и, вскинув над поверхностью длинные черные ласты, ввинтился в воду.

Краб сидел на том же месте. Осторожно приблизившись, человек медленно и незаметно подвел к нему сзади руку и резко махнул ружьем перед черными стебельками крабьих глаз. Стебельки тут же нырнули в глазницы, а сам краб, словно неопытный вратарь перед прорвавшимся форвардом, широко распахнул объятия, но тут же был крепко схвачен. Охотник начал уже всплывать, но вдруг увидел, как, быстро перебирая суставчатыми ногами, к расщелине бочком убегает такой же громадный — или даже поболее — крабище. Закусив загубник и выбросив вперед руку с ружьем, человек извернулся за ним, выстрелил и проломил насквозь толстенный панцирь, потом за шнур подтянул к себе гарпун: краб сучил когтистыми ногами, а клешнями пытался перегрызть стальной прут. Из пробойны клубилось бурое облачко.

«Это уже я зря...» — хотел подумать охотник, но в голове что-то скрипнуло, рот наполнился соленой водой, а тело сделалось до дурноты легким и беспомощным. Через мгновение, выброшенный на поверхность, он увидел вокруг окаменевшую и накренившуюся зыбь моря. Вверху, на фоне безоблачного, цвета густой грозовой тучи неба сияло зеленое с кровавым ободком солнце. И еще человек почувствовал, что больше не умеет плавать...

На далеком берегу еле слышно кричали маленькие люди, но еще страшней, чем недостижимые берега, была четырехметровая толща воды — теплая, светлая у поверхности и холодная, мрачная в глубине. А тем временем ум никак не мог объяснить плоти, что нужно делать. Тяжелое фиолетовое небо словно хотело вдавить человека в воду, и он, закричав, рванулся, отшвырнул все, что было в руках, и опрокинулся на спину. Сердце уже не билось, а сотрясало тело, и точно так же сотряса-

ли сознание слова: «Нет-нет-нет-нет-нет...» Солнечный свет дрожал и мерцал перед глазами, точно перегорающая электрическая лампочка. Казалось, одно резкое движение — и наступит темнота.

Еле шевеля ластами, человек на спине поплыл к берегу, один раз было оглянулся, и ему почудилось: суша не только не приблизилась — даже отдалась. Тогда снова тело свела судорога беспомощности, а душу охватил утробный ужас. Больше уже не оглядываясь, даже зажмурившись, он все плыл и плыл, чуть перебирая непослушными ногами. Когда же спина коснулась скользких прибрежных камней, он замер, потом сел по пояс в воде и, наконец, повернул голову.

Прямо перед ним, суетясь на скрипучей гальке, двое парней пристраивали над огнем котелок. Третий, вскрывавший консервные банки, с любопытством уставился на подплывшего и улыбнулся:

— Ты, земляк, извини! Мы из твоих брюк сигареты взяли, а то тебя нет и нет. Петька уж смеялся: «Бери, мол! Он... то есть — ты... теперь не куришь, потому как утоп...». И парни Жизнерадостно заржали над своей шуткой.

2

Человек ничком лежал на раскаленных камнях и пытался понять случившееся. Но, перебивая все остальное, словно громкая соседская музыка, в голове пульсировало: «Нет-нет-нет-нет-нет!» Выключить эти слова было нельзя — можно лишь отодвинуть в глубь сознания. Человек повернулся на спину, и на сомкнутые веки легла алая пелена полуденного солнца.

Оказывается, все очень просто. Не сумеи он справиться с оцепенением — моря, неба, скал, ребят у костра, неудобного камня, вдавившегося в поясницу, — ничего этого уже не было бы никогда! Подобное с ним случилось в армии, в полковом клубе, когда громким криком вызывали из темного кинозала заступающих в наряд, а фильм крутился дальше, и обо всем, что произойдет после твоего ухода, можно лишь догадываться.

Интересно: а быстро бы его нашли? В пансионате сразу не хватятся, наверное, только к ужину или даже к завтраку. Но скорее всего первыми сообразят эти любители чужих сигарет: действительно, одежда давно лежит, а хозяин пропал... Дальше — загорелые джинсовые мальчишки со спасательной станции, ненадолго оставив разомлевших от солнца и курортного обхождения девиц, прыгнут в лодку и сразу отыщут в прозрачной воде отдыхающего, который, говоря словами инструктора по плаванию, вздумал «шутить с морем»... Затем апатичные курортные врачи привычно повозятся с посиневшим телом, а спасатели, стараясь разогнать разбухающую толпу любопытных, примутся кричать: «Отойдите! Воздух... Ему нужен воздух!» Но люди будут все прибывать и прибывать, вставая на цыпочки, даже подпрыгивая, чтобы лучше видеть... Потом «Скорая помощь» уже без сирены увезет утонувшего, но обитатели пляжа, подставив солнцу трудно загораемые места, еще долго и горячо станут обсуждать случившееся:

— Это тот высокий шатен... У него еще подводное ружье было. Донырлялся...

— Говорят, жена и дочка маленькая остались. Еще ничего не знают!

— Ужас! Тоже моду взяли — поодиночке отдыхать... С ними приехал бы, может, и ничего не случилось!

— Начальство всегда поодиночке отдыхает. Он

ведь, хоть молодой, а начальством работал. Говорят, секретарь райкома!

— Партии?

— Нет, комсомола, но все равно! Между прочим, он из вашего города!

— Нашего?! А из какого района?

— Говорят, Красно... Красно... Краснопролетарского. Есть у вас такой?

— Господи, это же наш район! Ой, надо мужу рассказать — он из райкома их всех знает! А фамилия как?

— Мишулин или... Шумилин, кажется...

Потом? Потом какие-нибудь формальности, связанные со смертью человека, затем обратная дорога, как в том бунинском рассказе, — и ты единственный пассажир, которому наплевать на крушения и катастрофы... Затем — некролог в «Комсомольце» и похороны. Траурный митинг (наверное, в Клубе автохозяйства), грустное многословие, вызывающее мысли о том, как без такого человека может развиваться дальше мировая цивилизация. Духовой оркестр с печально уходящим большим барабаном. Венки от организаций и частных лиц. Потом удары молотка — и всегда ощущение, будто могут поранить лежащего внутри. Потом стучащие о крышку комья земли... Первые горсти бросят одетые в черное мама и жена. Интересно, как поведет себя Галя: ведь формально они еще не разведены? Разумеется, будет держаться, словно ничего у них не случилось, а слушая прощальные речи, удивится, почему не ужилась с таким прекрасным мужем! Лизке же Галя скажет, что папа уехал далеко-далеко и вернется, когда дочь вырастет. «А что он привезет?» — спросит Лизка...

Шумилин почувствовал, как закипают на солнце выступившие слезы. Ладно — хватит! По техническим причинам похороны переносятся на неопределенный срок. Нужно достать ружье и бежать на обед.

Он быстро нацепил маску и ласты, вставил в рот трубку, пятясь, вошел в воду, опрокинулся и отплыл на спине несколько метров, потом перевернулся лицом вниз. Пронизанный зелеными лучами подводный мир снова обступил его: колыхались водоросли, яркая синеперая зеленуха металась между камнями, перебирала ножками прозрачная, словно стеклянная, креветочка.

«Опыт спасения утопающих у меня уже есть, — пошутил сам с собой Шумилин. — Главное, чтобы снова не оцепенели ноги...» Но едва только мелькнула эта мысль, как в теле появилось знакомое чувство беспомощности и пульсирующий страх, а в сердце со страшной быстротой заколотились слова: «Нет-нет-нет-нет-нет...» Беспорядочно лупя ластами, он вернулся на сушу, выкурил, чтоб успокоиться, несколько сигарет, побродил вдоль берега и дрожащей рукой пустил по воде вприпрыжку десяток плоских камней. Тридцать лет ему казалось, что его тело, его сознание как будто вплавлены в этот бесконечный кусок янтаря под названием «мир», а получается, с жизнью тебя связывает лишь тоненький, звонко натянутый волосок. И что самое печальное: тело — всего лишь капризная оболочка, ненадежное вместилище души. Конечно, все это было известно и раньше, но одно дело — знать, и совсем другое дело — почувствовать...

К пансионату вела кипарисовая аллея, упиравшаяся прямо в двери прозрачного, как аквариум, пищеблока. Сегодня кипарисы пахли борщом.

В тени деревьев всегда стояли два-три местных жителя, в розлив торговавших разбавленной «Изabelle». Шумилин нашел в кармане джинсов мок-

рый рубль, принял из рук хозяина нестандартно маленький граненый стакан с вином и выпил, мысленно поздравив себя со спасением на водах. Поскольку понятия «сдача» окрестные виноделы не знали, он выпил еще стаканчик и двинулся на запах борща.

Обеденное время давно кончилось, поэтому в столовой уже никого не было, кроме хмурых официанток, носивших на мойку грязную посуду и вытиравших столы. Шумилин принялся хлебать холодный, как свекольник, борщ, жевать затвердевшие котлеты, вспоминая прошлый сезон, когда отдыхал здесь с женой и, занырявшись, часто опаздывал к столу. Галя обычно до конца стерегла его порции, но встречала мужа злым-презлым взглядом. Он виновато ел, а она громко недоумевала, почему должна целыми днями загорать одна и, как от мух, отбиваться от пляжных приставал. Потом обычно следовало обещание утопить к чертям все эти ласты, маски, ружья.

Приходилось отшучиваться, говоря, что лучше утонуть самому, чем утопить ружье. Теперь Шумилин так не пошутил бы.

Надо сказать, Галя злилась часто: не только из-за подводной охоты и не только во время отпуска. Впрочем, ее можно понять. Реже всех видят своих мужей жены разводчиков, заброшенных в тыл врага и там натурализовавшихся. На следующем месте после них — супруги комсомольских работников. И тем не менее Галя все время твердила, что ее единственная мечта — хоть сколько-то дней отдохнуть в одиночестве. Но тот генеральный скандал разразился именно потому, что Шумилину пришлось на несколько дней раньше вылететь домой. В нынешнем году торопиться некуда, только это уже не имеет никакого значения. И отзови его сейчас из отпуска, кажется, он был бы доволен. Отдыхать надоело, соскучился по дочери, по райкому.

«У человека всегда есть цель, — рассуждал Шумилин, выходя из столовой, — три недели назад не терпелось в отпуск, сейчас хочется домой».

...Наверное, ни одно желание в жизни первого секретаря Краснопролетарского РК ВЛКСМ не сбывалось так быстро: в холле спального корпуса его окликнула дежурная и протянула бланк срочной телеграммы: «РАЙКОМЕ ЧП ЗВОНИ КОМИССАРОВА».

«Что же могло случиться?» — нервничал Шумилин, пробиваясь на междугородную станцию, державшую глухую оборону от абонентов. Но дозвониться все-таки удалось.

— Алло, райком? Надя? — закричал он изо всех сил, хотя слышимость была вполне приличная. — Что у вас случилось?

— Алло, Коля... Николай Петрович... алло! — ответил тревожный голос. — Коля, представляешь, какой ужас: сегодня ночью кто-то забрался в райком, в зал заседаний, и нахулиганил...

— Что значит — нахулиганил?

— Это не телефонный разговор. Ковалевский уже знает. В горькоме тоже...

— Вот так, да? А милиция?

— Милиция уже была. С собакой. Коленька, прилетай скорей, я же одна за всех. Мы слет готовили, а здесь такое! Ты же знаешь, Кононенко раньше времени уехал, я одна осталась...

— Не рыдай. Вечером вылечу, завтра буду в райкоме. Сегодня что, суббота? Вызови с утра весь аппарат. Разберемся. Пока.

Шумилин повесил трубку, потом узнал телефон местного горкома комсомола и позвонил первому секретарю, тот внимательно выслушал просьбу stolичного коллеги, записал данные и обещал выбить

бронь. Из телефонной кабины, куда несколько минут назад вступил расслабленный отдыхающий, вышел энергичный, сосредоточенный ответственный работник.

— «А пашут они тут, как мы! — с запоздалым недоумением отметил он. — Сегодня же суббота!»

Привыкший по роду деятельности иметь перед носом перекидной календарь, в отпуске Шумилин прежде всего сбивался со счета дней, но какой день сегодня все-таки сообразил: утром из окна пансионата он видел несущих букеты черноволосых школьников — таких неожиданных для курортного городка, где, оказывается, тоже учатся. Тогда все ясно: первого сентября Шумилин сам был бы на работе.

— Ты куда пропал? Худеешь, что ли? — улыбаясь, остановил его томившийся тут же в телефонной очереди сосед по столу — заведомо из Вологодского обкома комсомола.

— Да ты понимаешь: какие-то идиоты ночью в райком залезли...

— Махновцы балуют!

— Я серьезно. Надо лететь... Так что будешь в наших краях, заглядывай в Краснопролетарский. Только на спутай: есть еще Красноармейский. Бывает, ошибаются.

— Не спутаю... Дак я думал, ты смеешься... Это ж на весь город ЧП!

— Вот так, да? Ты мне объясняешь?

— Дак я думал... Может, тебе помочь собраться?

— Спасибо — я успею.

— Ну, тогда счастливо! Ты, старик, держись: может, все обойдется...

И, наверное, из-за того, как помрачнело и напугало лицо этого в общем-то малознакомого парня, с Шумилина окончательно слетело курортное благодушие. Поднявшись в номер, он вытащил из под кровати запылившийся чемодан, нарисовал пальцем на крышке печальную рожицу и начал укладываться — по-мужски все комкая и кидая в одну кучу. В голове прочно засели неизвестные хулиганы, но при этом почему-то в деталях встала перед глазами прошлогодняя ссора.

Год назад, вот точно так же после разговора с райкомом, он собирал вещи, а Галя молча лежала на кровати, отвернувшись к стене: накануне они объяснялись по другому поводу. Сборы мужа она поняла по-своему:

— Я тоже думаю — нам пора развестись...

— Не говори ерунды! Я звонил в райком: Кононенко на военную переподготовку забрали, а Комиссарова в больницу с аппендицитом. Некому слет вести. Ты со мной полетишь или останешься?

— Неужели без тебя не обойдутся?

— Ты же знаешь, что нет!

— Ну, конечно, во всем — первый!

— Мне не смешно.

— И мне не смешно. Только, знаешь, Коля, — подозрительно ласково заговорила она, переворачиваясь на спину и глядя в потолок, — отстань ты от моей жизни! Ну тебя к черту с твоими постоянными авралами и ЧП. Ты мне иногда напоминаешь чайник из учебника: кипишь не потому, что горячий, а потому, что высоко подняли. Оттого, что ты Первого мая на трибуне стоишь, мне жить не слаще. А если ты такой большой деятель — живи на трибуне! Зачем тебе семья, ребенок? Я хочу нормального мужика, который в семь часов дома, умеет гвоздь вбить, может ребенком заняться...

— Такой муж, какого ты хочешь, не существует как вид. Непонятно только, при чем тут моя работа?

— А при том! Даже из отпуска тебя, как мальчика, срывают из-за идиотских накладок...

— Ну, в конце концов ты знала, за кого замуж выходишь!

— Я выходила за студента, а получила мальчика на побегушках... Только не изображай из себя стоп-кадр, давай беги, а то без тебя весь райком развалится и твоя карьера вместе с ним!

— Галя!

— Я двадцать восемь лет Галя — и из них семь лет дура, потому что с тобой связалась, но теперь хватит...

— Замолчи!

— Я сказала: хватит!

— Только не передумай, пожалуйста!

— Это я тебе обещаю!

— Вот так, да?

— Да!

— Ну и отлично! — закрыл прения Шумилин и, надавив коленом на крышку чемодана, стал записывать под нее торчавшие во все стороны вещи.

Когда-то они учились в одном институте, поженились еще студентами в результате, как тогда казалось, нестерпимой любви, но жили плохо. А все несчастные семьи вопреки утверждению классика похожи друг на друга. И еще одна странность: чем решительнее Шумилин шел вперед и выше, тем хуже становились семейные отношения. Сам для себя он объяснял это так: жены ответственных работников — зачастую куда большие карьеристы, чем их мужья, расплачивающиеся за продвижение по службе каждодневной нервозностью, постоянной круговертью, невозможностью даже дома отключиться от дела. Женам же выпадает непростая, но приятная и, к сожалению, однобоко понятая обязанность — соответствовать очередному положению своего спутника жизни. Они где-то слышали, что мужчину на девяносто процентов делает женщина, и всеми силами стремятся к стопроцентным показателям. Мало того, они хотят, чтобы их незаурядные и ответственные супруги, вернувшись с работы, превращались в обыкновенных домашних мужчин, готовых к активному внутрисемейному труду. Моральные и физические силы мужа вступают в противоречие с семейными отношениями — и наступает разводная ситуация. И однажды, наскоро собрав чемодан, мужчина решительно направляется к двери и лишь на пороге, не повернув головы, констатирует:

— Я пошел.

— Пока, — уткнувшись в подушку, отвечает женщина...

В прошлом году Шумилин улетел один, потом они, конечно, помирились, затем снова поссорились... Месяцев пять-шесть их брак пребывал в неустойчивом равновесии, наконец, они разъехались, но на развод пока не подавали: то ли на что-то надеясь, то ли просто откладывая неприятную процедуру. К счастью, свобода не обернулась для Шумилина необходимостью решать жилищную проблему: он вернулся к матери, к себе в комнату, и даже частично перевез свою, как в старину говаривали, со вкусом — а значит, с большим трудом — подобранный библиотеку. Одним словом, они разошлись интеллигентно, и расставание их обещало впереди если не встречу, то, во всяком случае, нормальные отношения чужих людей, у которых из общего осталось одно, зато самое главное — ребенок...

В аэропорту все произошло, как обычно: здесь слыхом не слыхивали о брони для какого-то секретаря райкома. Вспомнив прошлогодний опыт, Шумилин больше часа метался между начальником аэровокзала, дежурным по транзиту и кассой брони, совал красное удостоверение, безнадежно зео-

нил в горком. В конце концов он опустился на скамью, положил голову на чемодан, закрыл глаза и стал ожидать.

«И в воде не тону, и в воздухе не летаю!» — хотел было сам с собой пошутить Шумилин, но сразу же вспомнил сегодняшней случай в море, о котором не давали забыть какая-то смутная тревога и появившееся недоверие к собственному телу. И к тому же неотвязно крутились мысли про хулиганов, залезших в зал заседаний.

Надо же умудриться за один день чуть не утонуть и получить известие, что в твоём родном райкоме — ЧП! Можно представить, какая там сейчас паника, если третий секретарь Комиссарова отбивает телеграмму и умоляет скорее прилететь. И что значит — «не телефонный» разговор? Может быть, хулиганы в финхозсектор забрались или картотеку попортили? Нет, Комиссарова только про зал заседаний говорила. А что она, интересно знать, стала бы делать, если б первый секретарь утонул?

Но следом за несерьёзной даже мыслью о происшедшем появилось непонятное чувство беспомощности и страха. Чтобы переключиться, приходилось развлекать себя разговорами, как женщину.

Кстати, о женщинах. С Галей нужно было развестись ещё до рождения Лизки, не зря все-таки они так долго тянули с ребёнком. Но легко расходиться со стервами, тут все понятно: она дрянь — и от неё нужно бежать. А что прикажете делать с приличной, семейной женщиной, которая просто тебе не подходит? Почему? Потому что не подходишь ей ты. Но ведь семь лет назад они удивительно подходили друг другу. Вот в чём штука! Главное — пусть даже не совпадать в самом начале, но потом изменяться в одну сторону. Тогда и у разных людей появляется общее, а не наоборот! Нужно будет по возвращении переговорить в обществе «Знание» и организовать для молодежи беседы о браке и семейной психологии, пригласить лектора, но не трепача какого-нибудь, а специалиста. Может, разводов в районе станет поменьше. Кстати, о разводе. Где-то написано, что при разрыве, как правило, женщина уходит к другому, а мужчина в никуда. Возможно... Но жизнь, как говорится, ещё не кончена в тридцать лет, вот только надо разобраться с хулиганами да провести слет! Развод, конечно, объективку не украсит, но, слава богу, в последнее время стали понимать, что работоспособность и душевное равновесие функционера (почему некоторым не нравится это слово?) гораздо важнее лишнего штампов в паспорте и несложных финансовых операций по отчислению алиментов. Да и Лизка будет только крепче любить отца, а то она уже было начала пересказывать родственникам и гостям, что кричала мама и как ответил папа. Вот так-то!

Честно говоря, он сосредоточился на своих житейских проблемах ещё и затем, чтобы не думать о происшествии в райкоме (действительно, махновцы какие-то!). У Шумилина был принцип, выработанный многолетним опытом: не расстраиваться заранее, иначе никакие нервы и никакое сердце не выдержат. Ведь складывались же в работе ситуации, когда доводил себя до отчаяния, а все оказывалось не так страшно! Бывало, правда, и наоборот. Так что сейчас самое главное — улететь и разобраться на месте, тогда станут ясны и подробности, и причины, и последствия. Уткнувшись в чемодан, он забылся той странной дремотой, когда снится, будто не можешь заснуть. Разбудил его трубный голос, разнесшийся по всему залу ожидания:

— Товарища Шумилина просят срочно пройти к дежурному по аэровокзалу.

Непонятно: или отыскалась запись о его брони,

утраченная при передаче смены, или опаматовавшийся после первосентябрьской круговерти местный секретарь все же позвонил сюда, или же весть о ЧП в Краснопролетарском районе вдруг достигла Черноморского побережья, но в результате через несколько минут он держал билет на самолет, вылетавший в 01.46. Однако рейс отложили, и только около пяти часов утра Шумилин поднялся по трапу ТУ-154, вдохнув последний раз теплый и влажный, как в предбаннике, южный воздух. Кругом еще стояла густая кавказская ночь, а над головой чернело небо, усеянное стеклянным крошевом звезд.

3

В иллюминатор было видно, как подозрительно вибрирует заиндевевшее крыло самолета. Между креслами, разнося газеты и воду, с профессиональной грацией двигалась стюардесса, а за ней, словно запоздавшая звуковая волна, накатывался парфюмерный запах.

Во время полета можно многое: спать, есть, читать, думать о жизни... Шумилин размышлял. О ЧП в райкоме, следуя своему принципу, он усиленно старался не вспоминать, а перебирал в уме случившееся с ним за последнее время: курортные встречи и знакомства; хорошие книги, купленные перед отпуском и оставшиеся непрочитанными; нового участкового врача — симпатичную молодую женщину по имени Таня, которую перед отъездом в пансионат умудрился проводить до дома; красные, большие и как бы отлакированные яблоки, влопыхах купленные для дочери по пути в аэропорт... Кстати, собираясь отдыхать, он заезжал проведать Лизку и неожиданно заговорил с Галей о разводе, а та в ответ насмешливо удивлялась, что это ему так не терпится испортить себе карьеру и вернуться к прежней специальности. Галя работала учителем физики и не без оснований считала: держать в повиновении какой-нибудь сорокагодовалый 9-й «Г» не легче, чем руководить многотысячным районным комсомолом. Но сознавала она и другое: человека, поразившего первым секретарем райкома и возвратившегося к прежней профессии, можно, как редкость, выставить в музей, только вот посетители все равно будут принимать его за действующую модель.

Хотя... всякое, конечно, может произойти, и готовым нужно быть ко всему, особенно после случившегося. По правде говоря, в последние годы судьба Шумилина складывалась так, что вопрос «кем быть?» за него в основном решали другие. До сегодняшнего дня решали поступательно... И чтобы снова не думать о хулиганах, дорисовывая в воображении злое подробности, он принялся вспоминать, куда после переезда к матери засунул папку с набросками диссертации.

Внесем ясность.

Первый секретарь никогда не мечтал о профессиональной комсомольской работе и после армии пошел на истфак института только потому, что хотел быть историком. Но ничего не поделаешь: склонность к общественной деятельности Шумилин впитал буквально с молоком матери. Она вечно после смены пропадала на заводе, то готовя очередное собрание, то организуя митинг, то репетируя концерт художественной самодеятельности, на котором сама обязательно выступала со стихами Маяковского или Щипачева. Жили они тогда в заводском общежитии, отец мотался по командировкам — и очень часто Колю кормили ужином и укладывали спать соседи. Ныне таких соседей уже нет, они

остались там, в общежитиях и коммунальных квартирах пятидесятых — шестидесятых годов.

С самого начала Колина мать, Людмила Константиновна, общественные поручения сына принимала к сердцу куда ближе, чем домашние задания и отметки, не опускавшиеся, между прочим, ниже твердой «четверки». А в школе и товарищи и учителя всегда знали: если подготовка сбора или КВНа поручена Шумилину, можно не волноваться и не контролировать. Но, унаследовав от матери общественный темперамент, сын, в отличие от нее, командовать не любил: сознание, что от него зависит другое, наполняло Колю не торжеством и самоуважением, а заботой и беспокойством. Короче, в лидеры он не рвался, и это решило его судьбу: он последовательно избирался председателем совета отряда, комсоргом класса, секретарем комитета ВЛКСМ школы, потом роты, а позже курса и факультета. Наконец, защитив диплом и поступив в аспирантуру, стал освобожденным секретарем педагогического института. Впрочем, нет: сначала его решили избрать секретарем, а потом уже оставили в аспирантуре.

В педагогический Шумилин поступал из-за истории, но уже на первом курсе увлекся педагогикой — и не теорией, которую, надо сказать, читали чрезвычайно занудно, а именно практикой. Он сразу же стал непререкаемым участником педагогического отряда, шефствовавшего над детским домом и базовыми школами. А на третьем курсе, уже почувствовав себя незаурядным воспитателем, взялся за индивидуальное шефство — выражаясь проще, решил исправить некоего Геннадия Саленкова, который в свои четырнадцать лет был хорошо известен инспекции по делам несовершеннолетних, школой квалифицировался как трудный подросток, а семьей — как «раздолбай». Матери своего подшефного Шумилин почти не видел. Судя по обрывкам разговоров, она занималась коммерцией: записывалась в различные списки, стояла в очередях за дефицитом и окончательно запуталась в цепи «товар — деньги — товар»... Саленков-старший, пивший все, что горит, открывая дверь замусоренной квартиры настойчивому студенту, обычно со слезой приговаривал: мол, меня не смогли, хоть сына вытаски. Но с Генкой, к сожалению, тоже ничего не получилось: его отправили в колонию.

Зато другого парня, Андрея Неушева, Шумилин все-таки «вытащил», помог поступить в сильное ПТУ, потом определил на завод в хорошую комсомольско-молодежную бригаду и, уже будучи первым секретарем, вручал ему знак «Молодого гвардейца пятилетки». Сейчас, с запозданием, Неушев служил в армии (ему долго давали отсрочку из-за больной матери) и присылал своему наставнику письма, правда, не такие бодрые, как те, что передают в «Полевой почте» радиостанции «Юность».

На последнем курсе Шумилин стал заместителем секретаря институтского комитета ВЛКСМ и снискал известность тем, что на отчетно-выборной конференции бросил призыв: «Педагогический для педагогов!» Если кто-нибудь думает, будто пединституты готовят исключительно учителей, он глубоко ошибается. Курс, на котором учился будущий краснопролетарский руководитель, дал стране поэта и инспектора ОБХСС, радиодиктора и чемпиона республики по дельтапланеризму, библиотекарей, редакторов, экскурсоводов, журналистов, офицеров, домашних хозяек... Были, правда, и учителя, они любили свою профессию, но всякий разговор начинали и заканчивали тем, что с нынешними детьми, в нынешней

школе, по нынешней программе работать невозможно. И работали.

Став секретарем, Шумилин первым делом взялся за собеседования — их проводили с абитуриентами члены комитета. Еще до экзаменов, считал он, необходимо выяснить — не по характеристикам и рекомендациям! — кому из поступающих нужна педагогика, кому — просто диплом. А после успешных экзаменов необходимо, чтобы будущие учителя на практике постигали свой педагогический «сопромат», узнавали, каким бывает благодарным и как умеет сопротивляться самый непонятный — человеческий — материал. Еще лет десять назад в моде была ироническая фраза: «Дети — цветы жизни». А еще раньше эти слова говорили без иронии, совершенно серьезно: ведь дети — действительно цветы жизни, ибо в дальнейшем будут плоды. Но по тому, как ярко, густо и душно цветет сад, можно предугадать урожай. Сад, цветущий вокруг нас, как говорится, заставляет призадуматься о завтрашнем урожае. Всерьез думал об этом и Шумилин. Конечно, в институте оставалось достаточно студентов, знавших, что такое воспитание и обучение, только по конспектам своих аккуратных однокурсников, и, конечно, не следует преувеличивать роль личности Шумилина в истории советской педагогики, но он работал, а это уже немало!

Тогда будущий первый секретарь еще не думал о профессиональной комсомольской работе — утвердил тему диссертации по новым формам нравственного воспитания и в перспективе видел себя молодым, вдумчивым, снисходительным, особенно к хорошеньким студентам, доцентом. И тут-то отечественной педагогической науке был нанесен серьезный ущерб: Шумилину предложили место в горкоме комсомола. Пришло время определяться: с кем ты, деятель науки? Он много советовался. Отец, который тогда еще был жив, ответил в своем духе:

— Раз уж ты пошел в мать, все равно этим будешь заниматься, только на общественных началах. Тогда лучше за деньги...

Людмила Константиновна, разумеется, была «за», Галя «воздержалась», она уже поняла: быть одновременно комсомольским руководителем и главой семьи непросто. В конце концов он согласился, и дальнейшая его жизнь потекла по узким извилистым коридорам горкома.

Энергичный и сдержанный, инициативный и знающий, даже внешне Шумилин подходил для роли комсомольского вожака: высокий рост, улыбающееся лицо с серьезными глазами, модная, но аккуратная стрижка, строгий, хорошо сидящий костюм... У него была слегка неправильная речь, и, хотя логопеды в свое время потрудились, в некоторых словах он неуловимо смягчал твердый «л». Но даже дефект, как ни странно, еще больше располагал к нему: во-первых, людей без недостатков не бывает, а во-вторых, человек, говорящий с трибуны, как теледиктор, настораживает. Правда, новому замзаву больше приходилось заниматься учетом и контролем, чем выступлениями и тем более живым делом. Проводя же различные общегородские мероприятия, он заметил: семинары, слеты, совещания, конференции, которые, по идее, организуются для выработки общей линии в работе, часто превращаются в самоцель. И организаторов уже гораздо больше тревожит неудачно составленный список докладчиков, чем тот факт, что от перемены мест выступающих жизнь не изменится. Шумилин такого отношения к делу не принимал, а добросовестный труд, как известно, дает человеку все, кроме свободного времени, — и поэтому энергично начатая диссертация постепенно стала походить на утраченную большую

любовь: возврата к былому нет, но память не умирает!

В горько-новом замесе ценили: ведь чужая трудоспособность, даже раздражая, все равно вызывает уважение. А вскоре в Краснопролетарском районе, где Николая еще помнили по пединституту, освободилось место первого секретаря РК ВЛКСМ — прежний перешел на профсоюзную работу. Кандидатура Шумилина прошла на «ура». Будем откровенны: тут он уже не раздумывал и не советовался.

Отгребели поздравления, примелькался большой кабинет, стала привычной служебная машина у подъезда, приелось значительное слово «первый» со всеми вытекающими из него приятными последствиями, и началась тяжелая, изматывающая работа с постоянным недовыполнением чего-то, с криком, с нагоняями, с ноющими болями в левой стороне груди, редкими субботаами и воскресеньями, проведенными дома. Руководитель районного комсомола себе не принадлежал, он принадлежал народу. А все-таки Шумилин был доволен, и, что еще важнее, вышестоящие товарищи были довольны им. Нелепо утверждать, будто он не задумывался об открывшихся перспективах: первый секретарь одного из центральных райкомов города — это уже большое плавание, предполагающее заходы в самые неожиданные гавани, да и люди, работавшие рядом, росли, уходили выше, подавая достойный пример. Конечно, Шумилин был осмотрителен и, начиная новое дело, всегда просчитывал, как на это посмотрят сверху, но никогда и ничего не делал только ради благосклонного взгляда начальства. Однажды дошло до крупных неприятностей. Кто-то сгенерировал идею направить ударный отряд краснопролетарской молодежи на стройки Тульской области, той самой, из которой по лимиту набирали ребят на предприятия района. Ситуация анекдотическая, но можно было молча выполнить распоряжение, а потом с пользой отпартовать. Первый секретарь сказал «нет!», нажил недоброжелателей, потратил столько энергии, что ее хватило бы для вывода на орбиту небольшого искусственного спутника, но правоту свою доказал. Кипы зеленой стройотрядовской формы, прикрытые кумачовыми лозунгами, еще долго загрозждали финхвостом.

Но форма все-таки пригодилась. Дело обстоит так: в Краснопролетарском районе был детский дом, и комсомол, конечно, шефствовал над ним — организовывал подарки к дням рождения воспитанников, книжки для детдомовской библиотеки, концерты агитбригад. Шумилин тоже часто приезжал туда и, честно говоря, всякий раз возвращался расстроенный. У этих оставшихся без родителей ребят, очень не похожих друг на друга, была одна общая черта: на каждого нового человека они смотрели такими глазами, словно ждали, что вот именно сейчас им скажут: «Здравствуй! Ты меня не узнаешь? Я же твой папа...»

Еще до прихода Шумилина в район началось строительство нового загородного здания детского дома. Задумано было великолепно: лес, река, собственное хозяйство — и всего десять километров от города. Но стройтресту этот десяток километров оказался не под силу. Наладить руководство бригадами, работающими на загородном объекте, трест так и не сумел — и стройка растянулась на несколько лет. Тем более что совсем рядом возводился дачный поселок, а там тоже требовались стройматериалы и рабочая сила.

И тогда на бюро РК ВЛКСМ пришел директор детского дома. В тот день заседание длилось дол-

го, а через неделю загородный объект был объявлен ударной районной комсомольской стройкой. По строгому графику каждая первичная организация еженедельно выделяла бойцов на строительство. Вот тогда-то району и пригодилась стройотрядовская форма, а Шумилину — наследственно-крепкая нервная система. Малейшее недовыполнение плана по «человеко-часам» прямоком вело на ковер к краснопролетарскому руководителю. Но, так или иначе, 31 декабря нынешнего года планировалось торжественное вручение ключей новоселам. А первый секретарь постепенно приходил к выводу: не будь у нас праздничных дат — и стройки не заканчивались бы никогда!

Став во главе райкома, Шумилин не в ущерб другим направлениям гнул свою воспитательную линию. Под его твердой рукой воссю развернулся пединститут. Немало трудных подростков вместо драк и угона автомобилей расходовали избыточную энергию в секциях борьбы и бокса, созданных при участии райкома, или в военно-спортивных лагерях осваивали навыки военной подготовки. Хорошие результаты давали комсомольско-молодежные бригады. Требовавшийся мужской коллектив — это тебе не издерганный, разрывающийся между программой и дисциплиной классный руководитель. Очень хорошо себя зарекомендовали... Но, во-первых, автор уже сбился на стиль отчетного доклада, а во-вторых, если углубляться в то, что смогла, а тем более, чего не успела совершить краснопролетарская комсомолка под водительством первого секретаря, мы так и не доберемся до того события, из-за которого он срочно вылетел домой. И только, чтобы не сложилось впечатление, будто наш герой в своем поступательном движении не знал преград, добавим: трудностей у него хватало. К тому же отдельным мнительным товарищам его энтузиазм несправедливо казался всего лишь средством обратить на себя внимание, выдвинуться. По этой причине, например, резко и прочно не сложились у него отношения со Шнурковой, тогдашним третьим секретарем. Слава богу, она потом ушла на повышение, а нынешний третий Надя Комиссарова при всей своей инициативной наивности полностью разделяет стремления первого. Любому же беспристрастному человеку сразу ясно: карьеру в том смысле, о каком с жестокостью обиженной женщины говорила Галя, наш герой никогда не делал.

Читатель, если ты убежден, будто таких людей в жизни не встретишь, а попадают они только на страницах отражающей действительность художественной литературы, можешь сразу отложить мою повесть.

— Вот так, да? — переспросил бы, услышав эти слова, Шумилин.

— Вот так!

4

Когда колеса пружинисто ударились о бетон и самолет, перед этим спокойно плывший в воздухе, помчался вдоль посадочной полосы, пассажиры по-родственному переглянулись.

Из аэропорта таксист гнал машину с такой скоростью, что, казалось, еще немного — и они взлетят.

Дома никого не было, но это件янно: на выходные Людмила Константиновна постоянно уезжала к своей подруге на дачу. Удивляло другое: судя по разбросанным игрушкам и детским вещам, Галя впервые после того, что случилось, сдала Лизку на хранение свекрови. Впрочем, ей тоже нужно личную

жизнь устраивать, а тесть и теща, наверное, в отпуске.

Шумилин сел на диван и первым делом собрался позвонить Комиссаровой — выяснить подробности, но, уже набирая номер, вспомнил, что «разговор-то не телефонный».

Во всем теле ощущалась знобящая ломота, а в невыспавшихся глазах — резь. Но всего неприятнее было непривычное недоверие к себе, заставлявшее тревожно прислушиваться даже к стуку сердца.

Ерунда! Ответственный работник, как артист или спортсмен, обязан властвовать собой. Душ. Густой крепкий кофе. Вместо легкомысленных джинсов и тенниски — строгий серый костюм и галстук. Ну вот, можно отправляться к месту происшествия и работы.

Райком комсомола помещался в особняке, уцелевшем еще с позапрошлого века и выкрашенном нынешними знатоками старины в зеленый цвет. Перед революцией дом принадлежал известному чайному купцу. После Октября дом эксплуататора экспроприировали и отдали комсомольцам. А спустя шестьдесят с лишком лет Шумилин вошел по райкому изнемогавшую под тяжестью бриллиантов мумифицированную красотку — дочку бывшего владельца особняка — и пояснил:

— Здесь у нас зал заседаний...

— Боже мой! — восклицала она. — У папы тут была спальня, и в пятнадцатом году случился огромный скандал: мама застала здесь балерину Соболинскую! Вам что-нибудь говорит это имя?

— Конечно! — отвечал первый секретарь, печалься классовой неразборчивости звезды русского балета.

Провожая гостью, он, поколебавшись, пожал протянутую, как для поцелуя, сморщенную ручку. Старушка же выразила настойчивое желание купить на память отеческий дом, потом села в кинематографически сияющий «мерседес» и укатила.

— Значит, спальня! — задумчиво повторил заведующий организационным отделом райкома Олег Чесноков. — То-то, я смотрю, иной раз на планерке такая чепуха в голову лезет.

На другой день Чесноков принес к себе в кабинет огромный чемодан и стал собирать вещи, а на все вопросы с горечью отвечал:

— Пришла телефонограмма. Особняк продан за двести тридцать семь тысяч долларов, на рубли получается немного меньше. По частям будет вывозиться в Бразилию.

С этой вестью к Шумилину влетела третий секретарь райкома Надя Комиссарова. Раскрыв честные голубые глаза и теребя пуговку учительского костюма, она спрашивала: что же теперь будет?

Он отсмеялся, потом вызвал Чеснокова, сказал, что ценит его остроумие и именно поэтому назначает руководителем бригады пэтэушников, отправляющихся в воскресенье на овощную базу.

О базе нужно сказать особо: с неумолимой регулярностью, как Минотавр, она требовала жертв — молодых парней и девушек, ведь должен же кто-то по выходным дням разгружать вагоны и сортировать корнеплоды. «Витамины все любят, а кто мешки таскать будет?» — говаривал румяный, с ног до головы одетый в кожу директор овощехранилища, хотя его самого за склонность к натуральным изделиям никто по воскресеньям не гонял на кожаненные предприятия города. Но тем не менее бригады комсомольцев постоянно работали на базе, а время от времени Шумилин выводил потрудиться и весь аппарат райкома во главе с членами бюро — чтоб не отрывались от масс.

Вспоминая о всякой всячине, первый секретарь старался не думать о случившемся, но мысль эта, как боль, которую стараешься не замечать, сверлила и сверлила сердце. Он все ускорял шаг и по ступенькам райкома поднялся почти бегом.

С первого взгляда было понятно, что весь аппарат в сборе и трепетно ждет прибытия первого: вот приедет и всех рассудит. Интересно, как?

Шумилин привычным движением распахнул стеклянные двери приемной. Хорошенькая, виртуозно покрашенная секретарь-машинистка оборвала электрический стрекот.

— Здравствуйте, Николай Петрович! Как вы загорели!

— Здравствуй, Аллочка, замуж еще не вышла? Это, наверное, за тобой к нам забралась!

Плотный слой пудры не выдержал, и стало видно, как покраснели Аллочкины щеки. К концу рабочего дня она обязательно сообразит, как надо было ответить веселому начальнику.

Из приемной дверь вела прямо в зал заседаний, в свою очередь, соединявшийся с кабинетом первого секретаря. В зале — большой комнате с лепным потолком и рудиментарным камином — за длинным полированным столом понуро сидели Комиссарова, Чесноков и незнакомый молодой мужчина с волевым лицом и ранней, нежной лысиной. А загрустить было отчего: кругом царил разгром. Казалось, только минуту назад последний из налетчиков, пустив пулю в потолок, перемахнул через высокий мраморный подоконник. На полу валялись черепки и обломки сувениров и подарков, полученных райкомом от различных коллективов и делегаций. Какая выставка была, во всю стену! Специальные стеллажи заказывали. Одно из знамен, стоявших в углу, наполовину сорвано с дровяка, на столе запеклась коричневая лужа. «Кровь?!» — подумал Шумилин.

— Портвейн розовый, — перехватив взгляд, успокоил пронзительный незнакомец и отрекотендовался: — Инспектор следственного отдела РУВД капитан Мансуров... Михаил Владимирович.

— Значит, портвейн? — переспросил первый секретарь, пожимая руки капитану и своим подчиненным.

— Так точно, — подтвердил инспектор. Для себя он, видимо, решил, что перед ним хоть и комсомольское, а все-таки начальство, и говорил поэтому подчеркнуто официально, но с иронией специалиста, вынужденного объяснять элементарные вещи. — Одна бутылка под столом, вторая разбита о подоконник. Пили из кубков городской спартакиады, один кубок исчез. Возможно, украден.

— Больше ничего не украдено?

— Ваши сотрудники уверяют, что остальное цело... Точнее, на месте, не украдено.

— А что у нас красть! — усмехнулся Чесноков.

— Как что? А хрусталь — чехи подарили! — вмешалась Комиссарова.

— Подростки, как правило, не придают особого значения материальным ценностям. Ваш хрусталь они просто расколотили. — И капитан показал на усыпавшие пол осколки.

— А почему вы решили, что это подростки? — обидчиво уточнил Шумилин, совсем недавно принимавший из рук секретаря горькую грамоту за хорошую организацию в районе работы с подростками.

— Потому что взрослые преступники, как правило, не совершают таких бессмысленных действий и не оставляют столько следов.

— Вот именно бессмысленных! — подхватил зав. орг. — Зачем лезть в райком — это же не квартира директора «комиссионки».

— А откуда, товарищ Чесноков, вы знаете, что ограблена квартира директора комиссионного магазина? — осведомился Мансуров.

— Я не знал, я к примеру сказал. А кого обчистили?! Понял: служебная тайна.

— А если это провокация?! — вдруг вскинулась Комиссарова, распахнув длинные, покрытые комками туши ресницы.

— Конечно, — серьезно подтвердил Чесноков. — Наглая попытка спровоцировать вооруженный конфликт между двумя районами!

— Олег Иванович! Шутки такого рода неуместны! — оборвала третий секретарь тоном, каким объявлял выговор с занесением в учетную карточку.

— Провокация? Не думаю. Но этой версией тоже занимаются, — веско сказал инспектор.

— Вот так, да? Значит, вы считаете, это подростки? — снова уточнил Шумилин.

— Считаю. И не только я, — усмехнулся капитан. — Но если у вас есть сомнения, можете позвонить старшему следователю майору Ботвичу. Вот телефон. Если же вас просто интересуют подробности, товарищ первый секретарь, то объясняю: вчера по вызову здесь была городская оперативная группа, работали следователь, эксперт, кинолог с собакой, а теперь этим делом занимаемся мы. После осмотра места происшествия многое уже ясно: судя по следам, к вам забрались двое. Один, высокий, был одет в темно-синий свитер (нитка зацепилась за трещину в стеллаже). Преступники проникли через незакрытое окно между девятью и десятью часами вечера, распили две бутылки вина и в состоянии алкогольного опьянения, вероятно, пытались совершить кражу, хотя, правда, при осмотре места происшествия намерение проникнуть в другие помещения, скажем, в бухгалтерию, не подтвердилось.

— Я же говорю: нечего красть! — встряс Чесноков.

— Погоди, — поморщился Шумилин.

— Объясняю, — продолжил капитан. — Возможно, преступников кто-то спугнул. Собака взяла след и довела до трамвайной остановки «Новые дома». Остановка видна из вашего окна. Свидетелей пока нет. Вот все, что мы имеем на сегодня. Если без профессиональных подробностей. К нам подключена инспекция по делам несовершеннолетних. Следователем возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения кражи.

— Ясно, — начал Шумилин, которого задела снисходительность инспектора. — Все это неожиданно...

— Преступление — всегда неожиданность, — отозвался Мансуров. — На первый взгляд...

— Вот так, да? — в тон ему переспросил первый секретарь. — Но для нас, товарищ капитан, это еще, если хотите, вопрос чести...

— ...Это надругательство над героической историей комсомола, — вдохновенно подхватила Комиссарова, — вызов каждому, кто носит комсомольский значок, это тень на всю районную организацию — одну из лучших в городе. А для работников аппарата это еще и нравственная травма. Представьте, что к вам в РУВД забрались...

— Извините, не могу. От нас обычно хотят выбраться.

— Эмоциональность Надежды Геннадьевны понять можно, — раздраженно взглянув на третьего секретаря, снова заговорил Шумилин, — это действительно вызов, поэтому очень важно привлечь к поискам наш районный оперативный отряд.

— Один из лучших в городе! — гордо добавила Комиссарова.

— Краснопролетарское — значит лучшее, — пробормотал в сторону завог.

— Ну, об этом мы сами догадались, — улыбнулся капитан. — С вашим оборонно-спортивным отделом все обговорено, дружинники уже опрашивают подrostков в микрорайоне, кое-где дежурят.

— Хорошо. А что еще можно сделать?

— Можно мусор убрать — специально до вашего приезда держали. Что еще? Окно не забывайте на ночь закрывать. Если б заперли — может, они бы и не залезли. А я пока с вашего разрешения побеседую с работниками райкома...

Инспектор попрощался и по осколкам захрустел к двери.

— Кто открыл окно? — грозно спросил Шумилин, когда он вышел.

— Я! — скромно признался Чесноков.

— Ты?! Когда?

— Еще в мае, во время аппарата. Помнишь, ты сказал: «Олег Иванович, солнышко-то совсем летнее, вскрой, пожалуйста, окошечко!»

— Что ты мелешь?

— А ты спрашиваешь, как будто не знаешь, что окно у нас все лето настежь.

— Но на ночь-то закрывать нужно!

— А ты сам сколько раз последним уходил — всегда закрывал?

— Н-нет... Ну, ладно. Теперь другое: вы бы хоть при инспекторе постеснялись! Ты, Олег, соображай, когда острить.

— Виноват, командир.

— Дальше: кто первый увидел все это?

— Я, — выступила из-за спины завог Комиссарова. — Я субботу рабочим днем из-за слета объявила, прихожу в девять часов, открываю дверь — со мной плохо. Кононенко уже не работает. Ты в отпуске. А я ни разу в жизни милицию не вызывала. Позвонила по 02, а потом тебе телеграмму дала.

— Так. В райком партии сами сообщили?

— Сами.

— Молодцы. Как первый отреагировал?

— Ему на дачу дежурный позвонил, Ковалевский сказал, что с комсомолом не соскучишься.

— Он знает, что меня из отпуска вызвали?

— Наверное, знает.

— Хорошо. Что с горькомом?

— Я сама в приемную звонила.

— Ладно. Все нормально пока. Дальше жить будем так: Надя...

— У меня совещание по пионерскому приветствию.

— Совещайся. Олег, через двадцать минут ты мне доложишь о подготовке слета, в половине первого соберем аппарат. Пока пусть все обзванивают членов бюро, кого найдут, — до двенадцати люди еще дома, если с пятницы из города не уехали. В два часа экстренное заседание бюро. А до этого проведите маленький субботник — пусть ребята бистренько зал заседаний уберут. Все понятно?

— Что говорить членам бюро? — спросил Чесноков.

— Ничего. Говорите: я прошу их срочно приехать.

...Из-за неплотно прикрытой двери было слышно, как сметают в совок осколки и скрипят влажной тряпкой по полировке, двигают стулья — уничтожают следы позавчерашнего происшествия.

— Мети лучше! — командует Чесноков. — Видишь, стекло остается!

— За один раз все равно не выметешь, — оправдывается Аллочка. — Осколки в паркет забились, нужно уборщицу предупредить, а то все руки порежет...

«Об эти осколки не только руки порежешь!» — зло подумал Шумилин и набрал номер дежурного по райкому партии, сообщил, что прилетел, разбирается на месте и узнал: завтра утром его хочет видеть первый секретарь Краснопролетарского РК КПСС Владимир Сергеевич Ковалевский,

5

Через полчаса Шумилин выяснил, что по вверенному ему райкому имеют место два ЧП: налет, совершенный неизвестными хулиганами (этим занимается милиция), и срыв традиционного слета, осуществленный известными работниками аппарата (чем предстоит заняться самому Шумилину). Причина, как всегда, крылась в кадрах. Четыре года его правой рукой был Виктор Кононенко, умный, опытный парень и, что совсем редко для заместителя, верный товарищ. Кононенко прошел путь от инструктора до второго секретаря, аппаратное дело знал до тонкостей. Уходя в отпуск или отбывая по линии «Спутника» за границу во главе туристической группы, первый за райком был спокоен — Витя не подведет. И вот теперь, в такую трудную минуту, нельзя ему даже позвонить: бывший второй теперь ворочает комсомолом на одном из участков БАМа. Впрочем, в комсомоле внезапных переходов не бывает — все заранее обговаривалось, да и сам Кононенко, инженер-строитель по образованию, давно рвался на оперативный простор.

Кстати, месяца полтора назад у Шумилина был с ним любопытный разговор. Они засиделись допоздна, переписывая какую-то сверхсрочную справку, которую необходимо было сдать утром.

— Ты знаешь, Коля, — сказал Кононенко, закуривая, — есть в комсомоле такое слово — «надо»...

— Знаю, — буркнул краснопролетарский руководитель, не понимая, с чего это вдруг второго секретаря потянуло на иронию.

— Так вот, — отмахнувшись от табачного дыма, продолжил Кононенко, — мне иногда кажется, что у нас в райкоме это слово из области дела давно перекочевало в область бумажную.

— Вот так, да? — Шумилин сделал нарочито заинтересованное лицо и отодвинул машинописные странички. — Сейчас самое время поговорить о методах борьбы с бумажотворчеством. Слушаю тебя, Витя, внимательно!

— Пожалуйста! Мы, Коля, постоянно боремся с какими-то негативными явлениями, недостатками, а бороться нужно прежде всего с собой, потому что то же самое бумажотворчество — это не природное явление (типа дождя со снегом), а вид нашей с тобой деятельности. Точнее, бездеятельности...

— Ну, и что ты предлагаешь? Не сдавать справку? — Удар ниже пояса. Я ничего не предлагаю. Я пока не знаю...

— Думаешь, там, на магистрали, узнаешь?

Кононенко задумался, словно хотел обстоятельнее ответить на вопрос, взял со стола исчерканный листок и сказал:

— Слушай, давай вот здесь вместо «недостаточной активности» напишем честно, что ни черта мы не сделали! А?

Вообще бывший второй секретарь любил «побурчать» и мог заниматься этим одновременно с работой, но только не вместо работы, как случается чаще всего. Поэтому, уезжая в отпуск, за слет Шумилин был абсолютно спокоен. Если бы он только знал, что Кононенко заберут так рано! Да, это — прокол: первый обязан предвидеть все!

Дальнейшие печальные события восстановить было несложно.

Оставшись в райкоме за старшего, третий секретарь Комиссарова потеряла голову из-за пионерского приветствия участникам слета и пустила все на самотек. Сложилось обманчивое впечатление, будто что-то делается, кипит работа, берутся намеченные и определяются новые рубежи, а, по сути, слет, мероприятие общегородского масштаба, оказался на грани срыва. И если хоть что-нибудь сделано, то благодарить нужно вышедшего из отпуска несколько дней назад заворга Чеснокова. В распахнутом кожаном пиджаке, со свистом рассекая воздух тугим животом, он носится по райкому, звонит одновременно по двум телефонам, озадачивает сразу двух инструкторов, диктует машинистке свой кусок доклада... А может, его на место Кононенко? В горьком, зная о намерениях второго, советовали.

В настоящий момент кудрявый Чесноков стоял перед первым секретарем, смотрел преданными черными глазами и, сверяясь с «ежедневником», докладывал о подготовке к слету.

— Первая позиция. Президиум. Точно будут: Ковалевский, секретарь горкома комсомола Околотков, Герой Советского Союза генерал-лейтенант Панков, Герой Социалистического Труда ткачиха Баблина, делегат съезда — она же член нашего бюро — Гуркина, ректор педагогического института Шорохов... Пока все. Нужно пригласить, только уж сам звони: космонавта, узнаваемого актера из драматического театра и обязательно ветерана, но помолчаливее. А то, помнишь, на прошлогоднем слете дедуля час рассказывал, как ногу в стремя ставил...

— Олег, ты сегодня совсем не соображаешь, что говоришь!

— Понял. Не повторится. Вторая позиция. Твой доклад. Все отделы, кроме Мухина, свои куски сдали, я их свел, Аллочка допечатывает, можешь пройтись рукой метра.

— Фактуру по работе с подростками не забыли? — Обижает, командир! Локтюков и Комиссарова расстарались. Особенно о подростках и нашем детдоме получилось здорово!

— Вот так, да? Дальше.

— Плохо с выступающими. Пропаганда пока никого не подготовила — с Мухиным разговаривай сам. Мои ребята ведут печатника, строителя и двадцатичетырехлетнего кандидата наук, представляешь? По другим отделам будут: студент из педагогического (первокурсник — ты его не знаешь), спортсмен, солдатик, от творческой молодежи, как всегда, выступит Полубояринов. Да-а, совсем забыл: от Майонезного завода будет этот... как его?..

— Кобанков?

— Точно. Он к своему отчетному собранию хороший текст подготовил. Со слезой! Самородок!

— А когда у них собрание?

— Завтра. Первыми проводят.

— Вот так, да? Надо к ним съездить. — Шумилин сделал пометку на перекидном календаре.

— И последнее по выступлениям: школьный отдел пишет сочинение на тему «За партой, как в бою!».

Первый секретарь нехотя улыбнулся и спросил:

— Сколько всего выступлений?

— Девять. Из них два резервные.

— Сколько подготовлено?

— Два: Кобанков и Полубояринов...

— А слет в среду! С этого и начинал бы. Дальше.

— Третья позиция. Пригласительные билеты. НИИ ТД отпечатал еще в начале недели, уже разослали. Вот образец.

И Чесноков положил на стол красные глянцевые корочки с золотым тиснением.

— Красиво,— покачал головой первый секретарь.— Райком, выходит, не готов, зато билеты готовы. А слет-то мы все-таки не для красивых билетов проводим! Дальше.

— Четвертая позиция. Скандирующая группа. Взяли молодых ребят из драматического театра; когда их слышишь, хочется встать и запеть...

— В день слета в спектакле они не заняты?

— Кто?.. Нет, наверное...

— Проверь.

— Понял. Пятая позиция. Плакаты пропаганда еще не сделала, с Мухиным разговаривай сам, у него на все один ответ: решим в рабочем порядке. Кстати, кино — в рабочем порядке — он тоже до сих пор не заказал. В последний момент, боюсь, привезет «Центрнаучфильм». Ты бы позвонил, может, недублированный дадут? Актив побалуем.

— Не дадут.

— Почему?

— Вредно это!

— Понял, командир. Но тогда тех, которые для нас фильмы покупают, надо отстранять!

— Зачем?

— Потому как отравлены буржуазной идеологией: они ведь все фильмы — и недублированные! — смотрят. Жуть! Шестая позиция. Транспорт занимается Шестопалов. Я ему сказал, если не решит вопроса с автобусами, повезет на себе...

— Письмо в автохозяйство отправили?

— Нет еще.

— Из скольких школ пионеры?

— Из пяти.

— Где собирать будете? Где репетировать?

— Кажется, во дворце.

— С директором договорились?

— Кажется, да...

— Кажется... За три дня до слета знать нужно! Кажется... Дальше.

— Седьмая позиция. Сцена, президиум, контакт с клубом автохозяйства, звукорежиссура — всем занимается Мухин, обещал решить в рабочем порядке, разговаривай с ним сам.

— Значит, тоже не сделано, — еще больше помрачнел Шумилин.

— Восьмая позиция. Рассадка в зале. Этим занимаются мои ребята, студенческий и школьный. Заяшников приведет первые курсы педагогического, мои обеспечат делегации предприятий и организаций, подстрахуем школьниками. Если в зале останется хоть одно свободное место, можешь расстрелять меня при попытке к бегству. Девятая позиция. Дружинники. Локтюков все сделал. Тридцать районных каратистов придут на дежурство в поясах всех цветов радуги. Шучу. Десятая позиция. Буфет. Я договорился: трест столовых организуем два лотка. Будут киоски с книгами и пластинками, посмотри список — там интересное есть... Одиннадцатая позиция. Корреспондента из «Комсомольца» я пригласил, звонил от твоего имени, с радио тоже будут. Телевизионщики ответили, что снимали нас в прошлый раз — сколько можно? Кстати, сделать это должен был Мухин, но средства массовой информации я никому не доверяю. Ты, например, давно себя в газете на фотографии видел?

— А что?

— Ничего. Двенадцатая позиция. Приветствие пионеров. Разбирайся сам: Комиссарова, как всегда, сварганила целую мистерию. Барабаны, фанфары, дети грудного возраста читают стихи, под конец весь президиум с красными галстуками на шеях,

— У тебя все? — снова улыбнулся Шумилин.

— По слету все.

— Ладно. Узкие места сейчас на аппарате обговорим. Ты с Комиссаровой к завтрашнему дню подготовь подробный сценарий. Еще что?

— Подлещиков опять письмо прислал.

— Про выставку?

— Нет, про выставку ему давно ответ отправили — успокоился.

— А теперь что?

— Народный театр пантомиму по «Алым парусам» поставил.

— Интересно!

— Так вот, Подлещиков возмущается, что по сцене «Ассоль в одной комбинации бегаёт», а капитан Грей «до пояса голый».

— А почему этим твой отдел занимается?

— Поручи Мухину, если неприятностей хочешь.

Первый секретарь задумался: Подлещиков имел воинское звание старшего прапорщика и, выйдя в отставку, весь свой не растроченный на строевых занятиях потенциал обрушил на эпистолярный жанр. В основном его интересовали литература и искусство, но при случае он мог высказаться также по вопросам экономики, морали, права... Райком вел с ним давнюю, изнурительную переписку.

— Понял, — согласился Шумилин после размышлений. — Ответ, как обычно: письмо обсудили в райкоме, с художественным руководителем проведена беседа. Напиши, что режиссер, мол, ничего плохого не думал, а просто хотел передать обнаженность чувств и романтичность гриновских героев. Ну, и поблагодари его за внимание к молодежи.

— Понял, командир.

— Еще что?

— В НИИ ТД есть ставка инженера — сто тридцать рублей. Я от твоего имени разговаривал со Смирновым, он согласен, можно брать инструктора.

— Вот так, да! И в чей же отдел?

— Ну, не в мухинский же! Ты ведь знаешь, по сколько организаций мои инструкторы ведут.

— Хорошо, я подумаю. Но от моего имени на будущее позволю разговаривать мне самому.

— Понял, Николай Петрович.

— Больше ты ни с кем от моего имени не разговаривай?

— Н-нет.

— Слава богу. Скажи мне, ты знаешь, что горьком тебя на место Кононенко рекомендует?

— Меня?

— Тебя.

— Знаю, конечно.

— Ну и что ты по этому поводу думаешь?

— Всегда готов!

— А по-моему, Олег Иванович, ты еще не готов, по крайней мере не всегда. Объясню — как говорит этот инспектор. Что ты сегодня в его присутствии устроил? Ты цирковое училище закончил или экономический?

— Виноват, командир.

— И потом, второй секретарь, Олег, в твои двадцать четыре — это уже серьезно: и отступать нельзя и оступаться тем более. А главное — надо дело любить. Вот так-то.

— Сначала, Николай Петрович, по поводу циркового училища, — обиделся Чесноков. — Тебе работник нужен или клоун, который своими словами будет передовые пересказывать и все решать в рабочем порядке? Что же касается любви, то перед свадьбой все говорят: «Да».

— А потом выясняется, что это брак по расчету.

— По статистике браки по расчету самые благополучные.

— Вот именно — благополучные.

— Николай Петрович, у нас с тобой кадровый разговор или объяснение в любви?

— Ладно, продолжим после. А теперь скажи мне: по-твоему, хулиганы случайно к нам забрались или тут что-то другое?

— Уверен, случайно, но как раз это — самое противное!

— Вот так, да? Ну, зови аппарат.

Пока собирались сотрудники, Шумилин раздумывал о том, что Чесноков совсем не похож на ушедшего Кононенко, представлял, как, став вторым, завог начнет рваться в первые, и, хотя к тому времени скорее всего сам Шумилин перейдет на другую работу, мысль об этом была неприятна. Еще он думал о предстоящем разговоре с Ковалевским. Даже делая разнос, Владимир Сергеевич никогда не кричал, не топал ногами, а словно бы выслушивал провинившегося, но, раз и навсегда разочаровавшись в сотруднике, убедившись, что человек для партийной работы не подходит, решал его судьбу быстро и жестко. Такую особенность замечал у многих фронтовиков.

Завтрашняя встреча с Ковалевским не радовала: что бы ни случилось в районе, первый виноват всегда, это закон. Кроме того, Шумилин не один год был на комсомольской работе, привык считать себя неплохим функционером, и нелепая выходка напившихся малолеток била по его самолюбию. Почему именно в моем районе? Что, нет в городе райкомов, мало занимающихся молодежью? И еще одно: поселившееся в душе после спасения на водах чувство тревожного ожидания смешивалось теперь со смутным ощущением собственной вины, ощущением беспричинным и поэтому неодолимым.

Шумилин вышел в зал заседаний: чистота и порядок, будто ничего не произошло, только непривычно выглядели опустевшие стеллажи для сувениров.

Работники райкома расселись вокруг длинного полноразмерного стола по одной из заведенной системы: инструкторы группировались вокруг своих заведующих, причем у каждого отдела было установленное место. Занимать чужие стулья считалось дурным тоном.

По правую руку от возглавлявшего стол первого секретаря, на место Кононенко, поколебавшись, сел Чесноков, по левую руку, как обычно, расположилась прибежавшая с совещания Комиссарова. Далее в окружении инструкторов сидели заведующие отделами: студенческим — Надя Быковская, оборонно-спортивным — Иван Локтюков, заведующая сектором учета — Оля Ляшко, с другого конца стола на первого секретаря беспокойно смотрела заведующая финансово-хозяйственным сектором Нина Волковчук. Многочисленный организационный отдел уютно сбился вокруг незанятого стула своего руководителя Чеснокова.

— А где Мухин? — спросил Шумилин, заметив пустое место заведующего отделом пропаганды и агитации.

— В организацию уехал, — стал выгораживать своего шефа инструктор Хомич.

— В какую организацию? Сегодня воскресенье!

— Значит, заболел...

Первый секретарь решил обратиться к аппарату с серьезной речью, но не смог вначале удержаться от язвительного укора, что, мол, в его присутствии никто ночью в райком не лезит, а стоило уехать в отпуск — начались ЧП. Справившись с раздражением, он охарактеризовал происшествие как досадную случайность, требующую от сотрудников умения держать себя в руках, а язык за зубами. Кроме то-

го, случай с хулиганами невольно бросает тень на славные дела райкома, и поэтому так важно на высочайшем уровне провести традиционный слет!

Затем Шумилин перераспределил некоторые задания по принципу: сложнее — опытнейшим, и под сдержанный ропот большинство позиций пропаганды передал другим отделам.

Потом по сложившейся традиции первый секретарь поздравил очередного новорожденного — инструктора Тамару Рахматуллину, вручив цветы и подарок — керамическую вазу, из тех, которые годами стоят на полках магазинов, пока их не купят отчаявшиеся профкомовцы. Наконец он отпустил аппарат, а сам вернулся к себе в кабинет и на всякий случай набрал номер жены: в информационно-бытовых цехах они все-таки общались. Но телефон молчал.

Чтобы не терять времени, пока соберутся члены бюро, Шумилин разложил перед собой машинописные странички и принялся просматривать текст доклада на слете.

Умение хорошо говорить с трибуны, даже по написанному, дано не каждому. Во-первых, сам текст должен быть ясным, но не упрощенным; серьезным, но не сухим; аргументированным, но не перегруженным цитатами; критическим, но не мрачным. Во-вторых, читая доклад (наизусть свои выступления учили только древние ораторы, у которых было много свободного времени), нужно регулярно отрывать глаза от страничек и посматривать в зал, хорошо несколько раз как бы отвлечься и сказать нечто будто бы от себя, вызвать улыбку у слушателей. Наконец, говорить нужно внятно, не глотать окончаний, делать логические паузы, не путать слова, правильно ставить ударения. Но самое главное: нужно прочувствовать свои слова. Зал не Станиславский и не будет кричать из партера: «Не верю!» — он безропотно затоскует и ничего не запомнит.

Ораторскому искусству Шумилина нигде не учили, оно пришло вместе с холодным потом и дрожанием в ногах после первых выступлений. Страница за страницей он просматривал доклад, исправлял опечатки, ставил на полях вопросы и злился. Лентяй! Даже не потрудились отредактировать или пересказать другими словами. Вот кусок из выступления на совещании молодых специалистов, а вот абзацы из доклада на пленуме. И еще недоработка: не предусмотрены «забойные» места, вызывающие аплодисменты. Придется брать домой — дорабатывать. Остальное вроде нормально. И все же чего-то не хватает.

Первый секретарь хорошо понимал: участники слета обязательно узнают про случай в райкоме и, уверенные заранее, что ни слова о происшествии в докладе не будет, все равно станут ждать — а вдруг? В самом деле — а вдруг...

6

Из тринадцати членов бюро дозвониться удалось только до троих. Секретарь комитета комсомола автохозяйства Алексей Бутенин, резкий парень со старомодной стрижкой «полубокс», сидел дома со своими двумя детьми. Комсомольская богиня хлопчатобумажного комбината Светлана Гуркина прилежно готовилась к занятию в системе политической учебы. Это была серьезная, приятная и хорошо одевающаяся девушка, в последнее время любой разговор начинавшая со слов: «Вот когда мы на съезде...» Секретарь комитета драматического театра Максим Полубояринов отсыпался после вечернего спектакля. Зритель знает его по роли Дантеса в семисерийном теле-

фильме «Черная речка». Косвенная причастность к великому поэту немного испортила характер молодого актера.

Все они по-военному ответили «есть» и к четырнадцати ноль-ноль приехали в райком.

Кворама не было, но в сложившейся ситуации об уставе думать не приходилось. Усадив членов бюро, Шумилин сразу же рассказал о причине экстренного вызова и передал разговор с инспектором.

— То-то я смотрю: все стеллажи пустые! — догадался Полубояринов. — А какой хрусталь был!

— При чем тут хрусталь?! — возмутилась Гуркина. — По всему городу разговоры теперь пойдут, а если на бюро горкома вопрос поставят, — минимум два года никаких мест занимать не будем. А почему? Мы-то в чем виноваты? Мне на съезде один делегат из Сибири рассказывал: к ним в райком медведь залез — и ничего!

— Неприятно, конечно, но это как несчастный случай — никто не застрахован. С таким же успехом они могли и к нам в театр залезть, — поддержал Максим.

— Товарищ Бутенин, не вижу активности! — оживился Шумилин.

— Активность раньше была нужна. Я, Коля, понимаю: в ситуацию ты попал паршивую, одним словом, на разных коврах объясняться придется. На нас можешь положиться: бюро всегда поддержит, но сейчас я тебя успокаивать не стану. Вот ты, Максим, напивался пьяным?

— Ты так спрашиваешь, словно интересуешься, бывал ли я в Париже! Конечно.

— А тебе спяну хотелось в райком слазить?

— Пример, Леша, неудачный!

— Да черт с ним, с примером! Одним словом, не может человек просто так в райком полезть. Когда говорят: «Спяну взбрело», — это неправильно — пьяный делает то, что у трезвого в голове уже было. Почему раньше ребята на стенах звезды рисовали, а теперь «Спартак» — чемпион — пишут? Я сам болельщик, но если у всех пацанов вместо голов футбольные мячи будут, дело добром не кончится. Эти хулиганы — звоночек всем нам. Помните, я на бюро по поводу годовой сверки говорил, что мы больше с цифрами да со справками, чем с людьми работаем. У нас две графы: молодежь союзная и молодежь несоюзная, а молодежь-то она разная! Когда итоги соревнования в городе подводят, с чего начинают? С роста рядов. Что ж вы, спрашивают, при такой базе роста такой маленький прием дали? И слова-то какие — «база роста», словно склад запчастей...

— Алексей Иванович! Вернемся к нашим хулиганам, а то я на спектакль опоздаю, сегодня как раз «Преступление и наказание», — сработал на публику Полубояринов.

— Я ж об этом и говорю! В комсомол мы принимаем, будто главное — билет выдать и взносы собрать вовремя. А кто, что — дело десятое.

— А тебя никто не заставляет неподготовленную молодежь принимать! — привычно возразил Шумилин.

— Это ты сейчас так говоришь! — усмехнулся Бутенин. — А когда тебя в горкоме за пушистый хвост возьмут, мы другое слышим. Одним словом, ходишь за каким-нибудь разгильдяем и просишь: «Вася, пойдем в комсомол...» Или еще пример: как весна, десятиклассники на бюро косяками идут: мол, «хотим быть в передовых рядах советской молодежи». А где же вы раньше, голубчики, были, пока вам комсомольская характеристика в институт не понадобилась? Потребительство, оно не только к бараклу относится...

— Ну, это проще всего — на людей рукой махнуть, — наставительно возразила Гуркина. — Я на съезде с одним парнем познакомилась, представляете, пять лет назад он был трудным подростком! Комсомол перевоспитал.

— Да поймите вы, — сжал кулаки Бутенин, — если бы мы правильно воспитывали, перевоспитывать не нужно было! Раньше, отец мне рассказывал, если парня в комсомол не принимали, он руки был готов на себя наложить. За великую честь считали! А сейчас некоторые бравируют тем, что не в комсомоле. Мол, не такие, как все. Мы коммунистический, понимаете, коммунистический союз молодежи! Пусть наш союз будет меньше, да лучше, пусть к нам просятся, мечтают получить билет, а мы будем выбирать лучших. Были же когда-то кандидаты в комсомол!

— Ты, Леша, ревизионист! — раздумчиво произнес Полубояринов.

— Правого толка, — согласился Бутенин.

— Почему правого? — оторопел Максим.

— Потому что прав! Ты вот, Светлана, говорила: мы теперь никаких мест не займем, грамоты получать не будем... А их у нас и так уже вешать негде. Как у моего деда вся изба картинками из «Огонька» оклеена. А я ведь, Коля, от ревизионной комиссии и в других районах бываю...

— Я же говорил — «ревизионист»! — встрепенулся Полубояринов.

— Максим! — поморщился Шумилин.

— Одним словом, — продолжал Бутенин, — в других райкомах с наградами, может, и пожизненно, но ребята там живые какие-то. Даже по лицам видно! А то я иной раз на нашего инструктора Цимбалюка погляжу: у него и глаза-то оловянные...

— А хулиганы-то здесь при чем? — окончательно запуталась Гуркина.

— А при том! Одним словом, если б они комсомол уважали, в райком не полезли бы.

— Разговор на уровне «Ты меня уважаешь?», — поддел Полубояринов.

— Я знаю, Максим, что ты остроумный, но я хочу, чтобы вы меня поняли: эти хулиганы где-то учатся или работают, а там ведь есть первичная организация. Вот о чем нужно думать! А, может быть, они и сами комсомольцы. Делать что-то необходимо сейчас, пока случайность в закономерность не превратилась.

— Ты мрачно глядишь на молодежь, Леша, — констатировал Полубояринов.

— Я, Максим, гляжу трезво. И ты меня, Коля, понять должен: сам же все время с подростками возишься!

Члены бюро замолчали. Было слышно, как за окном по переулку проезжают редкие воскресные автомобили. Шумилин понимал, что от него ждут решения.

— Мне бы тоже хотелось, — начал он, еще не зная до конца, что скажет, и чувствуя какую-то трибунность взятого тона, — чтобы происшедшее оказалось случайностью, хотя и за случайность отвечать придется. Согласен я и с тобой, Алексей, случайность со временем может стать закономерностью, явлением, но уверен: эти хулиганы не комсомольцы. И не надо с водой выплескивать ребенка, а то появилась такая манера: нащупали недостаток и давай подряд все крушить. Ты же, дорогой мой, у себя на автобазе машину, у которой фильтр засорился или тормозная жидкость вытекла, не списываешь! Комсомол, каким он сегодня стал, не одно поколение строило, и каждое самое лучшее старалось вложить. Вот так-то! Ты о многом сказал правильно, главное — с болью. А то мне



иногда кажется, спортивных болельщиков кругом больше, чем болеющих за дело. И мнение мое такое: в связи со слетом очередное бюро у нас будет не в среду, а во вторник. К этому времени, надеюсь, прояснится что-то и у милиции. Давайте отложим все другие вопросы — они терпят — и вернемся уже в полном составе к этому разговору, разберемся, что тут закономерность, а что случайность, что произошло из-за незакрытого окна, а что по другим причинам. И как быть, чтобы такого больше никогда не случилось. Договорились?

Члены бюро с шумом отодвинули стулья и начали собираться.

— На вот тебе для коллекции, — вернувшись от двери, протянул Бутенин тоненький сборничек.

Оставшись один, Шумилин закурил и поймал себя на том, что за годы общественной работы приобрел навыки эдакого миротворца, укротителя страстей. А может, именно Бутенина нужно брать на место второго? Правда, у него ни образования, ни опыта аппаратной работы, но зато комсомол для него — комсомол, а не ступенька в жизни, этим он и похож на Кононенко. И парень Леша хороший, только резковатый... А почему, собственно, мы стали любить разных молчаливых насмешников, смотрящих на наши недостатки и несуразицы, словно воспитанные иностранцы, с ироническим удивлением: отчего, мол, аборигены порядок у себя навести не могут? А ведь они никакие не интуристы, а соотечественники, граждане, не в обиходно-транспортном — в главном смысле этого слова, они люди, от которых все и зависит! Почему человека, с болью и виной называющего вещи своими именами, мы, внутренне соглашаясь, все-таки воспринимаем как возмутителя спокойствия? Слава богу, что он покой возмущает! С покоя, вернее, с успокоенности вся безалаберность и начинается. Тут Бутенин абсолютно прав! Тогда получается: ощущение вины есть не у одного краснопролетарского руководителя, а то он уже решил, что это последствия его недавней подводной охоты. Шумилин невольно прислушался к себе и сразу уловил знакомое тревожное ожидание — казалось, даже сердце бьется с какими-то переборами, словно спотыкается. Ерунда! Он взял в руки книжицу, подаренную Бутениным. Почти всем в районе было известно, что Шумилин собирает первые сборники поэтов и в его коллекции есть почти все классики, не говоря уже о нынешних стихотворцах. Но мало кто знал о том, что начало коллекции положила книжечка шумилинского однокурсника, ко всеобщему изумлению, вышедшего в поэты.

Итак, Верхне-Камское книжное издательство. Иван Осотин. «Просинь». Название настораживало. На фотографии — здоровяк с мужественным прищуром. Аннотация сообщает: молодой поэт (тридцать семь лет) «пристально вглядывается в лица современников и вслушивается в беспокойный пульс эпохи...» В предисловии уважаемый лауреат, представляя автора, вяло уверяет, будто «за стихами Осотина чувствуется судьба, а в стихах чистое лирическое дыхание... Особенно близка ему комсомольская тема...» Это интересно. Открываем.

ВЕРНОСТЬ

Когда
мой день
особенно тяжел,
Когда
пути не видно
в стуже лютый,
Я говорю:
— Товарищ Комсомол,

Ты
помоги мне в трудную
минуту!
И
чувствую
надежное плечо,
И
вижу в тучах
яростное солнце,
И
слышу,
сердце бьется
горячо,
И
знаю:
это
верностью
зовется!

«Лихо», — подумал Шумилин. И главное: ни к чему не придерешься, все правильно, но вот интересно — почему, чем меньше в стихах искренности, тем больше в «лесенке» ступенек? А ведь, в сущности, этот Иван Осотин тоже в райком залез и тоже поэтому, что окно не закрыли...

7

— Па-а-а-а! — бросилась навстречу отцу Лизка, ребенок с рекламного плаката. — Ты в море купался и не утонул?

— Купался и не утонул, — удивленно ответил Шумилин и, посадив дочь на плечи, совершил круг почета, потом достал из дорожной сумки здоровенные, красивые яблоки — есть жалко! Лизка как-то сразу поняла, что теперь она продавщица фруктовой палатки, и стала зазывать покупателей.

— Лиза, дай нам поужинать, — строго сказала бабушка Людмила Константиновна.

Она два года назад ушла на отдых со средне-руководящей работы и никак не могла отвыкнуть от побуждающе-наставительных интонаций.

Лизка начала торговать сама с собой, а Шумилин сел за стол.

— Почему ты раньше вернулся? — спросила мать, когда сын стал расчленять ножом бледные сосиски — основное блюдо в доме Людмилы Константиновны, отдававшей ныне все силы жэку, так по привычке она называла дэз. (А странно: как ни сокращай, все равно получается нечто похожее на имена гриновских героев, которых абсолютно не волновали жилищно-бытовые проблемы.)

— Отозвали, как всегда, — объяснил Шумилин.

— Что-нибудь случилось в райкоме? Сначала прожуй...

— ЧП. Хулиганы залезли в зал заседаний, побили сувениры...

— Нашли?

— Нет еще, но милиция говорит: какие-то подростки.

— Вот именно — подростки. Ты знаешь, мне кажется, если бы у нас свободно продавали огнестрельное оружие, мальчишки друг друга перестреляли бы. Детская преступность — самое страшное!

Обиженная общим невниманием, Лизка умчалась в другую комнату и принесла как иллюстрацию к бабушкиным словам пластмассовый пистолет.

— Что же ты думаешь делать? — укоряюще спросила Людмила Константиновна. Как многие из отошедших от дел ответработников, она не верила в безвыходные ситуации.

— Заявление на стол класть не собираюсь! — обиделся он.

— Я не об этом... А впрочем, если бы такое случилось в мое время, я бы ушла... Разобралась бы с ЧП и ушла!

— Ты и так ушла.

В пятидесятые годы она была третьим секретарем Краснопролетарского райкома комсомола и по призыву ушла на производство, на небольшой завод, где и проработала до пенсии. Возможно, переходу способствовал и ультиматум мужа, Петра Филипповича Шумилина, догадывавшегося о существовании супруги лишь по некоторым предметам женского туалета в квартире. О косметике и парфюмерии речь не идет: в те времена комсомольские богини были убеждены, что «Шанель № 5» — это улица и дом в Париже, где жила Александра Михайловна Коллонтай. И в один прекрасный день Колин отец поставил вопрос ребром: или я, или райком! Тогда брак обладал еще таинственной крепостью и долговечностью средневекового цемента, секрет которого ныне утрачен. И Людмила Константиновна подчинилась.

— А почему ты ушла бы? — после молчания довольно переспросил сын.

— Потому, что если такое может произойти в райкоме, грош цена тебе как первому секретарю.

— Вот так, да? Это максимализм, мама!

— Это единственно возможное отношение к делу, — отрубил Людмила Константиновна, восемь лет избиравшаяся секретарем парткома, правда, неосвобожденным. — Сначала мы не обращаем внимания на мелочи, а потом удивляемся, что начальством становятся люди, которым руководить противопоказано.

— Это ты в масштабах своего завода? — поинтересовался Шумилин, знавший о сложных отношениях матери с нынешним директором ее родного предприятия.

— Не паясничай!

— Значит, ты считаешь, мне нужно уходить?

— Во всяком случае, задуматься, как вы работаете.

— А вы работали лучше?

— Мы работали, может быть, и хуже — не так сноровисто, но зато бескорыстнее и честнее!

— И молодежь за вами шла?

— Шла!

— И на собраниях спорила?

— Спорила!

— И на субботниках горела?

— Горела!

— И колбаса в ваше время вкуснее была?

— Была... Не паясничай!

Лизка, изнемогавшая от равнодушия засерьезничавших взрослых, полезла в холодильник и достала кусок высохшей докторской колбасы.

— Умница. Положи на место, — сурово похвалила бабушка. — Помощница растет. И вот что еще, Коля, ты должен окончательно решить с Галей. Так, как вы, нельзя! Я никогда не вмешивалась, но если вы бьетесь за ребенка, она, пока вы разберетесь, побудет у меня.

— А что это ты вдруг?

— Полгода врозь — это, по-вашему, вдруг?!

— Ты с ней разговаривала?

— Разговаривала. Галина привезла Лизу и закатила истерику, сказала, что разводится с тобой. По моему, она хочет помириться. Подумай, Коля, хорошенько! Жену ты себе найдешь, если уже не нашел, но не только в этом дело...

— Я понял. Галя Лизку надолго привезла?

— Завтра заберет. Ей куда-то сегодня нужно поехать, а теща твоя, как всегда, на юг укатила!

— Ну и правильно: на море сейчас хорошо. Ты не хочешь съездить?

— Мне некогда...

Потом Людмила Константиновна с грохотом мыла на кухне посуду. Шумилин, сидя в кресле, смотрел по телевизору передачу о новом способе термобработки металлических труб большого диаметра, а Лизка, опутавшись прыгалками, словно проводом, и приставив к губам в качестве микрофона кулачок, томно раскачивалась, подражая эстрадным дивам, и пела: «Все-о пройдет, все-о-о-о пройдет...»

8

Шумилину приснился детективный сон, будто бы он, предупрежденный о готовящемся налете хулиганов, прихватил с собой подводное ружье и устроил ночью в зале заседаний засаду, но именно в тот момент, когда первая тень появилась в оконном проеме, а он тихонько сдвинул предохранитель, раздался оглушительный телефонный звонок. «Идиоты», — заскрипел зубами Шумилин, стал нащупывать в темноте трубку и нажал кнопку будильника.

Было утро. В солнечной полосе, пробившейся между занавесками, клубилась пыль. Испуганное звонком сердце колотилось очень быстро и громко. «Надо сходить в поликлинику», — подумал он. — А Таня, наверное, меня уже забыла.

До начала рабочего дня оставалось полтора часа — как раз чтобы потрудиться над захваченным домой докладом. В восемь сорок пять он вышел из дому. На дворе стоял ясный, совершенно не осенний день, только листва на деревьях была уже сентябрьскому усталая. Шумилин сел в поджидавшую его пожарного цвета «Волгу», закрепленную за райкомом, и распорядился: в Новый дом.

Райкомовский водитель Ашот, молодой модный армянин, плавно тронулся, всем видом давая понять, что только злая судьба заставляет его ездить на казенном автомобиле вместо собственного. Шофер больше всего не любил лихих мальчиков, красиво рассеявшихся за баранками папиных лимузинов; сын честных и небогатых родителей, Ашот каждую свободную минуту тратил на использование служебной «Волги» в корыстных целях, и, если бы не женщины — четвертый свет его световоров, — а также отсутствие запчастей на автобазе, машину он давно бы купил. Обычно день начинался с рассказа про то, сколько личных средств пришлось израсходовать, чтобы машина вышла на линию. «Волга» была старенькая, и Ашот действительно крутился, как мог, но сегодня его интересовало другое.

— Поймали этих козлов? — первым делом спросил он.

— Пока нет, но поймают.

— А что тебе будет? — На «вы» Ашот обращался только к незнакомым красивым женщинам средних лет.

— Не знаю. Может, последние дни ездим, — усмехнулся Шумилин.

— Э-э, тебя не снимут: ты с райкома имеешь меньше, чем я с этого тигра! — И он хлопнул ладонью по баранке. — Слушай, если можешь, дай сегодня на обед часа два. Дома кушать нечего!

— Интересно, у тебя же зарплата, как у меня, — двести двадцать.

— Двести десять.

— Еще ты халтуришь!

— Халтурят музыканты. Строители калымат. Продавцы наваривают. Мы, шофера, крадем — чтоб ты знал.

— Вот так, да? Буду знать. Но мне моей зарплатой хватает.

— Поэтому тебя так жена и любит.

— А это с чего ты взял?

— Умный человек, кроме переднего стекла, еще зеркало заднего обзора имеет.

— Мне стыдно, что ты меня возишь, а не я тебя...

— Никто бы не одолел героя, не будь вина и женщины! — вздохнул Ашот, тормозя на красный свет.

— Кто же так сказал?

— Я и мудрость народа. А ты, Николай Петрович, не герой: с тебя одной женщины хватит и этих твоих подростков.

— Это ты тоже через заднее зеркало увидел?

— Райком — та же деревня, — пояснил водитель, трогаясь на зеленый. — Знаешь, как тебя девочки из сектора учета зовут?

— Как?

— Никола-наставник.

— Не смешно.

— Тебе не смешно, а им смешно. По сравнению с картотекой все смешно... Приехали, товарищ секретарь...

Райком партии, недавно построенный красивый белый дом, стоял на площади в окружении голубых елей. В отличие от старого здания, где теперь помещались роно и другие учреждения, в аппаратных кругах его называли Новым домом.

Здороваясь, как заведенный, Шумилин поднялся на третий этаж, кивнул знакомому постовому милиционеру и около приемной первого секретаря столкнулся с инструктором отдела пропаганды и агитации Шнурковой.

Два года назад она перешла на партийную работу из Зеленого дома и была твердо уверена, что с ее уходом райком комсомола покатился по наклонной плоскости, чему немало способствовал лично товарищ Шумилин. Эту мысль она настойчиво и с выдумкой внедряла в сознание работников Нового дома.

— Здравствуйте, Николай Петрович, — поприветствовала она, глянув из-под тяжелых век. — Наслышаны, с чем районный комсомол к слету пришел! Мы в свое время другим встречали.

— Мы тоже, Зинаида Витальевна, к слету неплохо подготовились, а тем досадным происшествием занимается милиция.

— Ну что ж, может быть, и милиции пора комсомольскими делами заняться.

— Что вы имеете в виду?

— Полагаю, в скором времени мне представится возможность пояснить свою мысль.

— Как угодно, — пожал плечами Шумилин и, обойдя Шнуркову, зашел в приемную, справился у технического секретаря и стал ждать.

Наконец из кабинета высочил энергичный, румяный зампредисполкома Компанеец и, увидев комсомольского вожак, покачал головой со смешанным чувством осуждения и сочувствия.

— Как первый? — спросил, пожимаая протянутую руку, Шумилин.

— Философски настроен, но, кажется, неважно себя чувствует.

Шумилин вошел в большой, обшитый полированным деревом кабинет. Первый секретарь райкома партии Владимир Сергеевич Ковалевский, подвижный шестидесятилетний человек с усталым лицом и синеватыми губами сердечника, стоял у окна и держал в руке трубочку валидола.

— Садись, — сказал он, оборачиваясь. — Может, и правда лучше вместо сердца пламенный мотор

иметь, а? Впрочем, ты еще молодой — не понимаешь, я тоже на фронте в себя больше, чем в двигатель своего танка, верил, ну да ладно... Как же вы это, братцы мои, дошли до того, что у вас райком грабят? Скоро секретарей начнут похищать, как Альдо Моро. Нехорошо! Милиция говорит: пацаны — значит, твоя недоработка. Что молчишь?

— Да вы и так, Владимир Сергеевич, все знаете.

— Все даже Маркс не знал. Что вы за поколение, братцы мои, со всем готовы соглашаться, лишь бы чего не вышло, только бы лишнего не сказать!

— Владимир Сергеевич, этим вопросом занимается РУВД.

— Понятно, что не Скотланд-Ярд.

— Наш оперативный отряд помогает, но независимо от того, кем окажутся хулиганы, я с себя ответственности не снимаю, мы соберем специально бюро, будем делать выводы...

— Дело нужно делать, а не выводы. Со слетом-то зашиваетесь?

— В общем, да.

— Еще бы, такой парад устроить непросто. А вот оставили бы вы помпу да подумали о главном: почему такое могло случиться и таков ли наш комсомол, каким быть должен? Мы ведь как про комсомол, так «Павка Корчагин, Магнитка, Комсомольск, Александр Матросов, Зоя Космодемьянская»... Золотой запас легче всего транжирить, а вы-то что дали, комсомольцы восьмидесятых? Я знаю: у тебя уже на языке БАМ, КамАЗ, КАТЭК... Это все, братцы мои, крупные, фронтные операции, а что делаете вы в наступлении местного масштаба, о чем в центральных газетах не пишут?

— Разве мы мало делаем, Владимир Сергеевич! Мы...

— Да ты не отчитывайся! То, что комсомол лучше всех отчитываться умеет, я знаю. Иной раз в президиуме, братцы мои, аж слезу уронишь. Я не спорю, делаете вы много, за все беретесь. С детским домом так просто молодцы! Мы вам еще гостиничный комплекс для суботников подкинем. Что хорошо, братцы мои, — то хорошо. А вот такого, чем для нас, например, тимуровское движение было, у вас нет; такого, чтобы проняло молодежь!

— Сейчас время другое, Владимир Сергеевич...

— Время другое. Мы себя к войне готовили, а вы к неуклонному удовлетворению возрастных потребностей, хотя не уверен, что сейчас война дальше, чем тогда. Молодежь другая — согласен, но и вы не архитектурный памятник! Перестраиваться нужно, искать, а то я, братцы мои, в последнее время на улицах у молодых ребят и комсомольских значков не вижу, только у таких дядей, как ты, да еще у ветеранов и замечаю. Тут, чувствую, и я недосмотрел. Сам знаешь, как мы комсомолу доверяем. Раз самостоятельная организация — действуйте! А что получается: мы от вас, братцы мои, организованности, четкости требуем, а вы так рассгарились, что иногда уж не поймешь, райком — для молодежи или, наоборот, молодежь — для райкома! Ну, я, конечно, утрирую и шаржирую — в другую крайность тоже шарахаться не нужно, — но ты, Николай, призадумайся. Не у всех ведь такие дела, как у тебя в хозяйстве! Вот о чем на слетах говорить нужно.

— Владимир Сергеевич...

— Сам выступлю на таком слете. Или вы уже разучились на комсомольских собраниях о жизни говорить, а все больше о личных комплексных планах, росте рядов, да еще «комсомольским прожектором» можете посветить, куда директорский палец покажет?

— Нет, это не так!

— Хочется верить, братцы мои, очень хочется! Да-а, Николай, подвели тебя твои подростки. Может быть, все и случайно, но надо тебе разобраться и в этом ЧП и в своем хозяйстве. Если новости будут, сразу звони — лично приду на этих басмачей посмотреть... А ты, наверное, сидишь и думаешь: вот Ковалевский от комсомола инициативы требует, а сам слова сказать не дает. Ну, слушаю тебя.

— Владимир Сергеевич, давайте мы уж слет, как намечали, проведем — не отменять же его из-за каких-то негодяев.

— Верно.

— Потом, люди уже приглашены, ребята готовились... А следом, через несколько дней, соберем актив и серьезно поговорим!

— Ясно, столько пены нагнали, что жалко — пропадет?! Значит, актив?

— Актив. И не выводы будем делать, а дело!

— Хорошо, держи меня в курсе, — подытожил Ковалевский, отпуская Шумилина, но у самых дверей остановил его неожиданным вопросом. — Как думаешь, зря мы, наверное, Кононенко отпустили? На связь-то он выходит?

— Нет пока, но обещал написать или позвонить, как только устроится.

— Привет ему передавай. А может, и тебе, Николай, штатную жизнь на передний край сменить? Встряхнуться!?

Шумилин весь напрягся, чтобы вывереннее отозваться на непонятное предложение Ковалевского, но тут зазвонила «вертушка», и Владимир Сергеевич, улыбнувшись, взмахом руки выпроводил комсомольского лидера из кабинета.

9

«Что самое серьезное в службе?» — любил спрашивать старшина батареи, в которой некогда служил сержант Шумилин. И сам же отвечал: «Самое серьезное в службе — это шутки старших по званию!»

Будем правдивы: неожиданное предложение Ковалевского задело Шумилина. Нет, он не боялся за свое кресло, тем более, что Владимир Сергеевич, как выяснилось, крови не жаждет. Но было до слез обидно, а винить некого, кроме самого себя. Это чувство запомнилось еще со школы, когда привыкшему к похвалам, благополучному Коле Шумилину неожиданно вкатывали «пару» — и он возвращался домой, зло задевая портфелем стволы ни в чем не виноватых деревьев...

И еще одна особенность состоявшегося разговора удручала первого секретаря: сказанное сегодня Ковалевским удивительно напоминало и вчерашние слова запальчивого Бутенина и давние рассуждения Кононенко. «Почему они все объясняют мне то, что я сам отлично понимаю!» — возмущался Шумилин, сдерживая желание садануть «кейсом» о фанерный столб.

Таким раздраженным в райком идти нельзя, и он остановился возле киноафиши. Последние годы краснопролетарский руководитель в основном смотрел те фильмы, которые крутили по окончании различных массовых мероприятий, так сказать, «на закуску». «Вот развяжусь с этим хулиганьем, проведу слет, а потом актив! — мечтал Шумилин, с интересом читая афишу. — И схожу в кино! Может быть, даже с Таней, если, конечно, она меня еще не забыла... Кстати, нужно ей позвонить или даже зайти...»

...В райкоме комсомола имелось два входа — парадный и служебный. Парадный, со старинной дубовой дверью и симметричными вывесками, вел с улицы прямо в приемную; служебный находился во

дворе, и, чтобы через него попасть в свой кабинет, Шумилин должен был пройти через все здание; так он и делал, периодически обходя свои владения и проверяя работу аппарата. Не подумайте, будто первый секретарь мелочливо следил за подчиненными! Нет, просто он достаточно хорошо знал дело, сотрудников и мог по обрывкам разговоров, группировке лиц в кабинетах, расположению бумаг на столах определить, кто чем занят и занят ли. Человека, прошедшего все основные ступеньки аппаратной деятельности, обмануть трудно. Если, допустим, к нему приходил печальный инструктор и жаловался, что не может решить вопрос с арендой зала для вечера молодых учителей, Шумилин уже по интонации знал: натолкнулся работник на непреодолимое препятствие или не напрягался, как следует. В первом случае он помогал, не вдаваясь в подробности, во втором спрашивал, звонил ли халтурщик, скажем, в клуб автохозяева. «Звонил, но не дозвонился...» Это означало: и не собирался. Тогда первый секретарь брал служебный справочник, снимал трубку и за минуту обо всем договаривался, потом распоряжался подготовить соответствующее письмо на имя директора клуба. В дверях провинившийся останавливался и начинал клясться, будто и вправду не смог дозвониться, но Шумилин наставительно замечал: «Первое, что должен уметь инструктор, — работать с людьми, второе — работать с телефоном...» И третье, но уже не имеющее отношения к описанной ситуации: нужно уметь не только просить, а еще и благодарить. Комсомольцы — ребята веселые: то, за что, например, профсоюзы выкладывают денежки, они умудряются получить за «спасибо», будь это зал для молодых учителей или знаменитый теледиктор, автобусы для экскурсии (их оплатит, как ни странно, само же автохозяйство) или новые горы для пионеров. А вот сказать «спасибо» некоторые деятели забывают. Случалось и хуже: однажды с огромным трудом — в ногах валялись — уговорили приболевшего ветерана приехать на конференцию и... забыли дать ему слово. За такую забывчивость Шумилин наказывал беспощадно.

Но если не считать отдельных недостатков, которые только оттеняют наши достоинства, райкомовский коллектив работал нормально. Шумилин секретарствовал четвертый год, недовольные его стилем ушли с миром или, как говорят в комсомоле, трудоустроились. Другие — большинство — приноравлились к начальству. Новых же сотрудников он брал осторожно, подолгу приглядываясь, предпочитая разочароваться в человеке прежде, чем его утвердит в должности горком. «С номенклатурой не шутят!» — это был жизненный принцип.

Вместе с тем — как пишут в комсомольских постановлениях, когда хотят перейти к недостаткам, — у него было два несчастья, две боли, два креста: заведующий отделом пропаганды и агитации Мухин и заведующая методическим центром Мила Смирнова. Мухин стал заведомом еще до прихода Шумилина. Как такое случилось — одна из тайн природы, над которой можно биться всю оставшуюся жизнь. «Решим в рабочем порядке!» — обещал Мухин, получив очередное задание, и оказывался прав: задание выполнялось в рабочем порядке или инструктором, безропотным Валерой Хомичем, или, если одному не под силу, с помощью других отделов. В особо скандальных случаях Мухин заболел и возвращался уже после проведения чудом спасенного мероприятия. Телефонную связь он не любил и постоянно находился «в организациях», но в отличие от остальных никогда не забывал сделать запись об убытии в контрольном журнале. По-свое-

му правдивый, заведующий пропагандой никогда не говорил: «Я был в организации», — а только: «Я выезжал в организацию», — чтобы в случае проверки уточнить: мол, выехать-то выехал, но не доехал.

Трудоустроить Мухина было невозможно, потому что свое будущее он связывал с экспортом-импортом, мечтая поступить в Академию внешней торговли. Продавать советские товары за падающую иностранную валюту — вот, считал он, работа, достойная настоящего мужчины! Избавиться от нерадивого сотрудника путем его повышения — способ испытанный. Изнемогающий краснопролетарский руководитель пошел проторенным путем. Имелся и другой путь, решительный. Но, опытный аппаратчик, Шумилин знал: в каждом бездельнике дремлет высоко-талантливый жалобщик и трудолюбивый составитель писем в инстанции.

Академия внешней торговли находится, как известно, в Москве, и комсомольский вожак запросил помощи у Ковалевского. «Не уверен я, — ответил осведомленный Владимир Сергеевич, — что этот ваш Мухин нам что-нибудь приличное у империалистов на торгует! В других странах за большое несчастье считается — за границей, на чужбине, братцы мои, работать, а у нас загранпаспорт — прямо ключи от рая... Недодумываем!»

В конце концов нынешним летом, рекомендованный со всех сторон, Мухин почти держал Академию в руках, но срезался на экзамене. Этот удар Шумилин пережил тяжелее, чем сам провалившийся.

Вторая беда первого секретаря находилась в данный момент за дверью с табличкой «Информационно-методический центр». Мила Смирнова — симпатичная стройная девушка, страстно увлеченная современными балльными танцами, попала на работу в райком волей своего отца, директора крупнейшего НИИ термодинамики, выручавшего комсомол своей могучей печатно-множительной базой, ведь бесчисленные постановления, рекомендации, планы, разработки, «методички» нужно было довести до каждой организации, а их — двести сорок семь!

Дальновидный родитель, умудренный жизненным опытом, ответственным постом и докторской степенью, понимал, что фигурный вальс — для жизни неплохо, но и отметка в трудовой книжке о работе в райкоме в дальнейшем не помешает. Мила Смирнова была не просто бедой Шумилина, она была его грехом, потому что отказать директору НИИ ТД он не смог.

Доверие своего собственного отца Миле оправдывать не приходилось, это она уже сделала, родившись, и потому к делу относилась спокойно. Вкалывавший с юных лет Смирнов-старший обеспечил ей изобильное детство, веселую молодость, престижный вуз, впереди Милу ожидала благополучная зрелость. Многодетный директор НИИ ТД походил на хороший мотор, приводивший в поступательное движение судьбы еще трех таких же чад разных полов, и они существовали, совсем не думая о том, что движок когда-нибудь остановится — и тогда окажется: за проваленное дело могут не только нежно пожурить, но и выгнать со службы; окажется, что жить и общаться с людьми, не чувствуя за спиной могучего дыхания родителя, очень не просто, по крайней мере мозги нужно использовать не только затем, чтобы формулировать очередную просьбу к папе. По наблюдениям Шумилина, оставшись без поддержки, подобные чада перестроиться не умели и оставшуюся жизнь донашивали, как вытершуюся дубленку, некогда привезенную папой из Стокгольма. Однажды, на загородной комсомольской учебе, расслабившийся Николай Петрович попытался объяснить Миле все это, но она в от-

вет поглядела с тем недоуменно-холодным выражением, с каким разорявшиеся чеховские барыньки выслушивали советы дальновидных управляющих.

В последнее время до Шумилина доходили разговоры, будто Смирнова приносит с собой «Панасоник» и тихонечко разучивает на работе новые танцы. Первый секретарь прислушался; из-за двери доносились приглушенная музыка и легкие ритмичные пошаркивания. «Выгнать ее к чертовой матери!» — в бессильном гневе подумал он, понимая: такой шаг навсегда отрежет райком от печатно-множительной аппаратуры НИИ ТД.

...В большой комнате организационного отдела, бывшей танцевальной зале (дьявол забери эту Милу!), трудились чесноковцы — Петя Конышев, Боря Гольдман, Витя Цимбалюк, Тамара Рахматуллина. В углу расчетливый заворг уже приготовил стол для будущего сотрудника. Организаций много, отдел не справляется, а вопрос о нештатном сотруднике опять-таки упирается в НИИ ТД и балльные танцы.

У Чеснокова все работали неплохо, он умел и научить и заставить. Шумилин, как бы это выразиться, невольно залюбовался: профессионально прижав телефонную трубку к уху плечом, одной рукой роясь в документах, другой держа дымящуюся сигарету и по памяти набирая номер, инструкторы бранили первичные организации из-за срыва запланированного приема в ВЛКСМ, переноса отчетно-выборных собраний, задержки взносов, ведомостей, сворок, отчетов, неправильного оформления характеристик и дел на бюро, из-за плохой явки комсомольцев на овощную базу, недостачи дружинников в районный оперативный отряд, посещаемости совещаний, многочисленных выбывших без снятия с учета и еще по десятку важнейших вопросов.

Обрывки фраз, как слои табачного дыма, наползали друг на друга и таяли под высоким лепным потолком:

- Это не отговорки...
- Для таких случаев есть телефон...
- А для чего у тебя актив...
- Заставляй работать комитет...
- Тогда я звоню к вам в партком...
- Объясни это Шумилину...
- Последний срок был вчера...
- Ведомости привезли, а где квитанция сберкасс?..
- Лика, ты же обещала сегодня... Я и билеты купил...

На другом конце провода, если не считать последней фразы, в это время обещали, каялись, спорили, оправдывались, лезли в бутылку, жаловались, отговаривались, били себя в грудь, упирались, соглашались, покорялись секретари первичных организаций, которым, кроме комсомольских дел, нужно было еще выполнять основную работу, а после заботиться о семье или устраивать личную жизнь, растить детей, вести домашнее хозяйство, учиться, повышать культурный уровень и даже отдыхать.

Проще приходилось с освобожденными, получающими зарплату в райкоме секретарями. Они руководили большими организациями, но и спросить с них всегда можно по большому счету — мол, незарядом работаете, — хотя Шумилин в последнее время стал замечать, что многие люди, получающие сто двадцать — сто сорок рублей в месяц, убежденные, будто работают именно задаром.

Из орготделцев первым секретарю больше других нравился Петя Конышев. Тощий, лохматый, с лицом внезапно разбуженного человека, он сочинял стихи, изредка печатавшиеся в «Комсомольце», а в первый месяц своего пребывания в райкоме всех уморил справкой «Об организации досуга молодежи

хлопчатобумажного комбината». Помнится, там шли обычные канцелярские фразы: «В результате работы комиссии выявлено... На предприятии создана сеть кружков, которые укомплектованы квалифицированными руководителями и охватывают столько-то процентов молодежи — из них женщин столько-то, мужчин столько-то, членов ВЛКСМ и несоюзной молодежи столько-то... В том числе действуют на комбинате и при общежитиях 3 кружка кройки и шитья, 4 туристических группы, 5 спортивных секций и всего одна литературная студия. Это безумно мало! Такое отношение к литературе преступно!!» Члены бюро, истомленные трехчасовым сидением, повалились друг на друга и смеялись до судорог. Когда же, захлебываясь, Шумилин дома пересказал случившееся Гале, она ничего забавного не обнаружила. Вероятно, то был чисто профессиональный юмор, понятный только аппаратчикам.

...В отделе учащейся молодежи Комиссарова посадила перед собой инструктора Наташу Потапенко, заведующую пионерским кабинетом Шилдину и режиссера районного Дома пионеров и школьников Борщевского. Комиссарова вдохновенно импровизировала на тему приветствия слету:

— Нет... Не так. Стойте! Я вижу!! В левом проходе фанфаристы, в правом — барабанщики, на балконе поднимаются буквы «ВСЕГДА ГОТОВ!» А можно еще в центре огонь из красных платочков?

— В принципе можно, — отвечал режиссер.

— Прекрасно! Значит, зажигается огонь, и выходит группа чтецов. Что с текстом?

— Текст готов, — успокоила Потапенко.

— Хорошо получилось! — добавила Шилдина. — Прозу сами написали, стихи передали из приветствия позапрошлой отчетной конференции.

— А не узнают стихи?

— Кто же текст слушает? — удивилась Наташа. — Все на детей смотрят.

— Детей-то толковых набрали? А то в прошлый раз девчонка от испуга со сцены убежала, а фонограмма орет: «Мы, ребята-октябрята...» Кошмар!

Первый секретарь усмехнулся и пошел дальше по коридору. В отделе студенческой молодежи оказалось сразу три заведующих: хозяйка кабинета Надя Быковская, Иван Локтюков и Олег Чесноков.

Надю Шумилин знал еще по пединституту и, возглавив райком, забрал ее к себе. Сейчас она уже сдала кандидатский минимум и рвалась на преподавательскую работу, но первый ревниво не отпускал. Иван был широко известен району, особенно мальчишкам, не столько как глава отдела спортивной и оборонно-массовой работы, сколько как руководитель секции самбо и человек, расшибающий кирпич ребром ладони. У Быковской с Локтюковым, судя по всему, дело шло к комсомольской свадьбе. Чесноков, надо полагать, рвался в свидетели.

— Хуже всего, если это какие-нибудь... — осекся завспорт, увидев в дверях начальство.

— Большая тройка! — улыбнулся первый секретарь.

— Потсдам! — подхватил Олег. — Обсуждаем участь преступников.

— Далеко еще до Потсдама, — хмуро пошутил Локтюков.

— Не звонил Мансуров? — поинтересовался у него Шумилин.

— А что ему звонить, он у меня в отделе с оперотрядниками беседует, тебя, по-моему, ждет. Я нужен?

— Пока нет. А ты, Олег Иванович, зайди ко мне перед аппаратом.

— Понял.

— Вы тут слет не прообсуждаете? Смотрите, на планерке по всем позициям проверю.

Шумилин вышел и дальнейшего разговора слышать не мог, а жаль.

— Что-то наш командир невесел, — посмотрел на закрывшуюся дверь Чесноков. — Видно, ему Ковалевский основательно вломил! Некстати это первому сейчас, ой, некстати...

— Сейчас? — переспросила Быковская. — А что такое?

— Чем вы только на работе занимаетесь! — пожал плечами заворг. — В горьком на место Шпартко его хотят взять.

— Я не знала... Ну и правильно! Там как раз такой, как Шумилин, нужен.

— Пока Коля с хулиганами не разберется, я думаю, он нигде нужен не будет.

— А почему он должен отвечать за каких-то негодяев? Они, наверное, к нашему району и отношения не имеют!

— Во-первых, на то и ответработники, чтобы за все отвечать, а во-вторых, для того, чтобы выяснить, кто эти хулиганы, их нужно найти сначала! — назидательно объяснил Чесноков.

— Так я и говорю, — вернулся наконец к прерванной мысли Локтюков. — Самое худшее, если это какие-нибудь случайные ребята, приезжие, например, — тогда труднее всего найти.

— А ты своих спрашивал? — Надя имела в виду подростков из локтюковской секции.

— Они говорят: если б знали — сами привели.

— У меня до сих пор в голове не укладывается... — Быковская приложила пальцы к вискам. — Какими же негодяями нужно быть!

— Ты, Наденька, психологию учила, — улыбнулся Олег. — Есть такое понятие — ролевое поведение. Возможно, наши налетчики окажутся образцовыми комсомольцами. Просто в пятницу после работы они взяли на себя роль хулиганов и хорошо ее исполнили. Шучу!

— Ничего себе роль! — пристукнул по столу каменной ладонью заведующий спортотделом. — Что-то непонятно...

— А что тут непонятного? Всякое бывает: человек может и в райкоме работать, руководить себе подобными, а вышел за порог — и уже совсем другая роль. Не бывает так разве?..

— Подожди, — начала Надя, — значит, одна сцена — райком, вторая — семья, третья...

— А если еще малые сцены считать! — поддержал Чесноков.

— Значит, везде роли? А где же сам ты? Что-то ведь в человеке всегда постоянно!..

— Не меняется роль, которую он придумал для себя. А обществу прежде всего важно, как ты владеешь социальной ролью, и только потом — что ты при этом думаешь и чувствуешь.

— Подожди... тогда получается, активная жизненная позиция, убежденность — то, что мы требуем от комсомольцев, — всего-навсего обыкновенное знание роли или сценария? Так выходит?! И какую тогда роль исполняем мы?

— Лично я сейчас исполнял роль циника и тайного карьериста, — нашелся Олег, которому разговор уже перестал нравиться. — Как, ничего?

— Очень хорошо, как в жизни! — серьезно похвалил Локтюков.

...А Шумилин тем временем направился было в спортотдел, но задержался возле пропаганды. Стол Мухина традиционно пустовал. Хомич говорил с выступающим на слете печатником из типографии «Маяк». Шумилин мысленно пробежал глазами спи-

сок ораторов и вспомнил, что зовут парня Сергей, а фамилия не то Полухин, не то Полунин.

— Как ты начнешь? — допытывался тем временем инструктор.

Парень разводил руками.

— Начнешь ты, как все: «Товарищи!»,— объяснял Валера и разборчиво записывал на листе бумаги.— Вы откликались на призыв хлопчатобумажного?

— А как же!

— Пишем: «...подхватив пламенный призыв комсомолии хлопчатобумажного комбината, я и мои товарищи взяли обязательства...» Какие обязательства вы взяли?

— Выработку, значит, с 11 до 11,5 тысячи листов-оттисков в час довести, и экономия бумаги — одна тонна в квартал... А вот про то, что директор, когда мы ансамбль хотели...

— Подожди! Про недостатки в конце скажешь. Пишем: «...тонна в квартал. Сегодня мы можем рапортовать слету, что...» Что мы можем рапортовать слету?

— Значит, выработка у нас теперь 12 тысяч листов-оттисков, а экономия — 1,5 тонны... А про ансамбль?

— Подожди-подожди! Пишем: «2 тонны в квартал (Аплодисменты)!».

Увидев первого секретаря, оба встали: инструктор по-аппаратному, нехотя, а печатник по-солдатски резко — наверное, недавно из армии пришел.

— Над выступлением работаем, Николай Петрович,— доложил Хомич.

— Вижу, Валера. Да ты садись. И ты, Сергей, садись! — разрешил Шумилин в традициях комсомола тридцатых годов, когда все — от секретаря ЦК до рядового члена ВЛКСМ — были на «ты».

— Так что у тебя все-таки с директором вышло — не поддержал?

— А то поддержал! — возмутился парень. — Как комсомольцы повышенные обязательства берут — так порядок, а как мы с просьбой какой-нибудь — так его нет! Вы бы, Николай Петрович, ему позволили!

— Вот так, да? Позвоню. А ты, Сергей, об этом на слете скажи обязательно, скажи, как есть на самом деле! А красивых слов и без тебя достаточно наговорят.

...Возле сектора учета, как всегда, была очередь. Здесь вставали на учет, снимались с учета, выбывали из комсомола по возрасту. Девочки из сектора быстро находили в многотысячной картотеке рыжеватую картонку, ставили дату, штамп — и районная организация уменьшалась на одного человека, но тут же свои документы протягивал другой комсомолец — среднее арифметическое торжествовало. Шумилин давно задумал разработать ритуал под названием «Прощание с комсомольским билетом». А то принимаем по возможности торжественно, прощаемся же с двадцативосьмилетними деловито, буднично, словно не с комсомольской молодостью они расстаются, не билет в райком сдают, а книжку в библиотеку. «Разберусь с хулиганами,— пообещал себе Шумилин,— сядем с Ляшко и помозгуем».

В отделе оборонно-спортивной работы первый секретарь увидел вчерашнего инспектора, беседовавшего с двумя квадратными парнями из оперативного отряда.

— А я как раз вас жду,— раскованно поздоровался освоившийся капитан.

— Тогда пойдете ко мне,— пригласил Шумилин и по пути, пропустив Мансурова вперед, попросил Аллочку соединить только в экстренных случаях.

В кабинете он устроился за своим столом, на который в случае необходимости мог приземлиться

небольшой самолет, и, предложив сесть гостю, поинтересовался, что новенького.

Оказалось, новенького пока ничего нет, но, по убеждению инспектора, скоро будет. Например, должен всплыть кубок спартакиады.

— А как вы думаете Николай Петрович,— словно невзначай поинтересовался инспектор,— могли преступники залезть к вам в отместку за какую-нибудь несправедливость?

— В отместку? А за что мстить райкому?

— Ну, мало ли что! Наказали строго или еще что-то.

— Н-не думаю... Да и строго наказывать, если честно говорить, мы разучились. Умеем понять людей.

— И все-таки, если возможно, я хотел бы познакомиться с персональными делами за последние год-два.

— Как угодно.— Шумилин нажал кнопку и вызвал по селектору Ляшко.

Через минуту в кабинет зашла Оля, маленькая, серьезная, задержанная путаницей в картотеке.

— Ты что такая печальная? — участливо спросил руководитель.

— Да ну, Николай Петрович, нужно годовую свертку раздавать, а бланки еще не отпечатаны.

— А как с неснявшимися с учета?

— Как всегда, одни выпускники чего стоят! Вы скажите школьному отделу, чтобы занимались этим. У Комиссаровой одно приветствие в голове, а за цифры потом мне отвечать!

— Вот так, да? Скажу. И подбери, пожалуйста, для товарища Мансурова персональные дела за два года. Прямо сейчас подбери.

— Спасибо,— встал капитан, помедлил и, дождавшись, когда Ляшко выйдет из кабинета, снова уселся.— А знаете, Николай Петрович, я чем дальше вашим делом занимаюсь, тем все больше убеждаюсь: никакая это не попытка совершения кражи! И если бы они в чужой сад залезли, а не в райком, ситуацию можно было бы квалифицировать как озорство.

— Ну, знаете... Я озорство себе по-другому представляю...

— А я и говорю, что у вас случай особый.

— Для чего же тогда персональные дела?

— Обе версии нужно проверить, хотя скорее всего хулиганы просто выпили, увидели открытое окно и от исхода делать залезли...

— Погром тоже от нечего делать устроили?

— От безделья, Николай Петрович, и не такое наворотить можно! Объясню. Цепочка элементарная: безделье — выпивка — происшествие. Мальчишка вернулся с завода; рабочий день укороченный, в вечернюю школу его пока не захихнули, жены-детей нет, по дому помогать не приучен, в кино или на танцы трезвым идти не хочет. Куда себя девать? Принял с таким же сопликом пол-литра и начал выкаблучиваться, потому что ни пить не умеет, ни по-человечески отдыхать!

— Да, с досугом не просто... А вы в нашей дискотеке были?

— Конечно. А вы-то сами часто туда заглядываете?

— Заглядываю,— уклончиво ответил Шумилин.— У нас программа интересная разработана, билеты мы через комитеты комсомола распространяем, постоянный пост дружинников там...

Первый секретарь с раздражением почувствовал, что оправдывается перед капитаном.

— Очень хорошо,— согласился Мансуров,— а вы знаете, что эти ваши дискотеки становятся начальной школой для спекулянтов?

— Спекулянтов? Наша дискотека? У меня таких данных нет,— сухо ответил Шумилин.

— Объясняю: я не имел в виду конкретно вашу дискотеку, но в другом районе был случай, когда вокруг молодежного кафе кормилась целая группа подростков, занимавшихся перепродажей билетов. У них даже чуть ли не военизированная организация сложилась, с разделением обязанностей, со строгой дисциплиной, с единоначалием. А у главного кличка любопытная оказалась: Оберст... Вы понимаете?

— Понимаю... И про ту группу знаю. Этими вещами нужно серьезно заниматься!

— Мы-то со своей стороны занимаемся, а вот разными «оберстами» и их командами, товарищ первый секретарь, вам заниматься надо!

— А вы, товарищ капитан, не желаете в комсомоле поработать? Нам как раз второй секретарь нужен.

— По званию не подойду,— съязвил инспектор и встал.— Если будет что-то новое, я позвоню. Мои координаты у вас есть.

— Да, я переписал,— проверил Шумилин, перевернув листок календаря.

Мансуров ушел. Шумилин потер ладонями уставшее лицо и поймал себя на том, что снова вспоминает Кононенко, его интонации, его разговоры. Но только теперь они воспринимаются иначе — острее, болезненнее, что ли?

— Ты никогда не замечал,— как-то поинтересовался второй секретарь,— что молодые ребята, говоря «комсомол», чаще всего имеют в виду не самих себя, а только нас — аппаратчиков, функционеров? Мне иногда кажется: если наш аппарат вообще от района отключить, то мы будем так же функционировать, рапортовать, получать грамоты...

— И никакой нервозности, никаких забот с явкой, взносами... Умеешь ты, Витя, обобщить! — подхватил первый секретарь.

— При чем здесь обобщение. Я конкретно, про наш район говорю!

«Так говорил Кононенко!» — усмехнулся Шумилин, подвинул к себе стопку истомившихся без визы документов и начал подписывать, механически пробегаая тексты глазами. Человек, чей росчерк обладает руководящей силой, относится к автографу серьезно и исполняет его с чувством ответственности, не допуская, чтобы по законам сомнительной науки графологии он менялся в зависимости от настроения. Вот и сейчас: любой сказал бы, что шумилинская подпись такая же, как всегда, — и лишь сам первый секретарь различал в своем росчерке некий новый оттенок. Растерянность, что ли?

10

— Аллочка,— сказал Шумилин вошедшей секретарше,— можешь меня со всеми соединять и перепечатать, пожалуйста, помеченные страницы. Правку мою разберешь?

Первая половина распоряжения была равносильна военному приказу о прекращении перемирия — на первого секретаря обрушился шквальный огонь телефонных звонков. Он отвечал, объяснял, оправдывался, уточнял, гарантировал, советовался, поздравлял, консультировал, сочувствовал, координировал, поучал, проверял, назначал, отменял, давал выволочку, почтительно слушал, жаловался на жизнь, обещал незамедлительно исправить, просил связаться с ним через несколько дней...

Маяковский когда-то придумал смешное слово «главначпупс» — главный начальник по управлению

согласованием. Великий поэт бичевал (этот глагол очень любят авторы учебников) прозаседавших победоносиковых, но он нисколько не сомневался, что управлять и согласовывать — тяжелый и ответственный труд. Важно только не путать, согласовывая там, где нужно управлять, и управляя там, где нужно согласовывать. Шумилин не путал! И, вспоминая свою райкомовскую юность, скажем: с таким первым работалось бы легко и надежно, короче — работалось бы!

...Прежде всего Шумилина волновало положение дел со слетом. После вчерашних мер оно уже не казалось таким безнадежным. Кое-что сотрудники успели выправить, но по транспорту и аренде помещения звонить и договариваться пришлось самому. Квартальный запас обаяния и настойчивости он потратил, чтобы заполучить в президиум космонавта и знаменитого актера, а также чтобы выбить еще не попавший на афиши фильм. Потом прочитал и забраковал тексты готовых выступлений, разругался с Комиссаровой из-за пионерского приветствия. Сошлись они на том, что Петя Конышев постареется быстро обновить устаревшие стихи. Тот сначала отказывался, объясняя, что, мол, в душе он лирик, но несколько убедительных примеров из истории отечественной поэзии сломили его сопротивление. Затем Шумилин связался с инспекцией по делам несовершеннолетних, где его хорошо знали, обсудил случившееся. Потом он позвонил секретарю комитета ВЛКСМ пединститута, члену бюро райкома Сергею Заяшникову и попросил к поискам хулиганов подключить студентов, занимающихся подростками. Не успел Шумилин положить трубку, как к нему прорвался заместитель редактора «Комсомольца» Липарский, разбитной сорокалетний газетчик, уже, видимо, до пенсии застрявший в молодежной прессе. При встрече и по телефону они всегда разговаривали, как нежные друзья, хотя не только дружбы, даже приятельства между ними не было. Имелось, правда, другое обстоятельство: редакция располагалась в Краснопроектарском районе, поэтому все бумаги на журналистов, в том числе и характеристики для загранпоездок, шли через Шумилина. Таким образом, сила комсомольской печати прочно уравновешивалась могущественной резиновой печатью, которую первый секретарь периодически прикладывал к соответствующим документам.

— Порядок, старичок! — застрекотал Липарский. — Поставили в завтрашний номер. На первую полосу. Но скажи своему заворгу, чтобы он твои просьбы передавал не в последний момент — я не фокусник!

— Что поставили? — осторожно удивился первый секретарь, обшаривая закоулки памяти. — Ты извини — я в отпуске как-то отключился...

— Как что? Фотографию на четыре колонки!!! С подписью, как вы героически к слету готовитесь.

— А-а! Да-да! Спасибо! — сердечно поблагодарил Шумилин и волком взглянул на своевременно вошедшего в кабинет Чеснокова. — А когда же вы щелкнули? Без меня, что ли?!

— В прошлом году, когда о вас фоторепортаж делали. Вспомнил?

— Но тогда же еще Кононенко вторым был.

— Старичок, не учи отца щи варить! На место Кононенко мои ребята твоего заворга, Чеснокова, вклеили. Очень у него мордализация фотогеничная.

— Вот так, да? Спасибо.

— А у меня к тебе встречное «пожалуйста»: тут нашему пареньку нужно характеристику скоренько оформить. Прохлопал ушами, ну, ты понимаешь.

— Сделаем.

— Спасибо, старичок! Читай завтрашний номер! Отбой — четыре нуля.

Чесноков терпеливо дожидался, пока начальство закончит разговор.

Шумилин бросил трубку и тяжело посмотрел на заворга:

— Какие ты еще просьбы от моего имени переправлял? Может, скоро за меня бумаги подписывать начнешь?

— Если вторым возьмешь, придется подписывать, а снимок к слету не помешает, командир. Наоборот, разговоров будет меньше: у нас же фотография в газете, как Доска почета... Ты когда-нибудь видел, чтобы групповой снимок очковитрателей или растратчиков напечатали?

— Видел. Только про то, что они очковитратители, потом стало известно.

— Ну, вот! И вообще, Николай Петрович, в твоём положении эта фотография — находка, а ты вместо «спасибо»... Обижаешь!

— В каком таком положении?

— Только не надо своим ребятам голову морочить, весь райком говорит, что ты на место Шпартко уходишь!

— Я?.. Им что, делать больше нечего?!

— Они между делом говорят...

— Вот так-то вы слет и проговорили! Теперь слушай меня внимательно: еще раз от моего имени нафинтишь — заявление напишешь. Понял? Через десять минут планерка. Сценарий готов?

— Обижаешь! И есть, Николай Петрович, одна обалденная идея. Представляешь, детдомовцы благодарят районный комсомол за заботу, а мы им вручаем большой золотой ключ.

— От чего?

— Что «отчего»?!

— Ключ, спрашиваю, от чего?

— От детдома! Там же почти все готово — одна отделка осталась. А ключ символический.

— Хватает у нас символических ключей от несуществующих дверей, Олег, вот как хватает! — Шумилин рукой провел по кадыку. — А тебе надо не в райком работать, а батальные сцены в кино снимать, с самолета.

— У меня не получится — я из семьи инженера...

— Вот так, да? А по «человеко-часам», потомственный энтэзровец, ты с Локтюковым всё выяснил?

— Всё! Задолженности ликвидируются в течение недели.

— А сам-то ты давно на стройке был?

— Николай Петрович, когда мне разъезжать? На мне весь слет, кроме пионерского приветствия! И потом это — позиция Локтюхова, он там через день бывает, даже ночует...

— Ладно, готовься к аппарату, — закончил разговор Шумилин и записал на календаре, что завтра утром нужно будет заскочить на стройку.

А Чесноков тем временем медленно дошел до двери, остановился и непривычно робким голосом спросил:

— Как там мои дела? Будут со мной решать?

— А что тебе неясно? — ехидно ответил первый секретарь. — Об этом весь райком говорит. Иди — послушай.

Оставшись один, Шумилин просматривал сценарий и одновременно анализировал новую информацию. О том, что секретарь горкома комсомола Шпартко собирается уходить, он знал не первый месяц. Постоянно становились известны все новые и новые имена возможных преемников, теперь, значит, дошла очередь и до краснопролетарского руководителя. Есть такая уловка: когда на освободившееся

или освобождающееся место хотят взять человека, которого вышестоящая инстанция наверняка не утвердит, то вокруг вакансии устраивают искусственную бурю (как в кино при помощи аэродинамической трубы). Громогласно предлагаются и отвергаются многочисленные претенденты — у одного не тот диплом, у другого — в семье неблагополучно, у третьего и диплом подходящий и семья образцовая, но возраст неудачный (или слишком молод, или слишком стар), у четвертого... И так далее. Наконец вышестоящие товарищи не выдерживают и сердито одергивают: «Решите вы свой кадровый вопрос или нет?!». Вот тут-то, как засадный полк из дубравы, на поле битвы врывается тот, кого хотят взять. У него и диплом подкачал, и семьи нет, и возраст изумляющий, и еще что-нибудь, но именно его, потеряв терпение, утверждают наверху. Видно, кандидатура Шумилина — очередной порыв этой аэродинамической бури, а может быть, и нет... «Весь райком говорит...» Ничего удивительного! Если человечество в целом волнуется проблемами: кто мы? откуда мы? куда мы? — то основной вопрос, беспокоящий аппаратчиков: кто, куда, почему и как уходит? Причем существует строго разработанная, очень гибкая и, конечно, неофициальная система оценок, квалифицирующая перемещения сотрудников. Так, уйти из инструкторов райкома в инструкторы горкома — неплохо; из заведующих отделом райкома в инструкторы горкома — хуже; вернуться затем из горкома секретарем райкома — хорошо; самостоятельная должность; а вот перейти с рядовой должности из аппарата райкома или горкома на некомсомольскую работу, скажем, в профсоюзы — плохо, преждевременно (еще не набраны инерция и авторитет). Но поглядите: какой-то чудак ушел с должности заведующего отделом райкома на место освобожденного секретаря завода. «Все правильно! — объяснит специалист. — Он через год-два вернется первым секретарем!» И точно!

Дожидаюсь, пока соберется аппарат, Шумилин думал и о Чеснокове. Возможность перешагнуть из заворгов во вторые секретари случается редко, так что, можно сказать, сейчас решается судьба Олега. Конечно, последнее слово всегда останется за райкомом партии, но есть ведь и первое слово, а оно за Шумилиным, не торопящимся произнести его.

Да, Чесноков — работающий, энергичный, напористый парень, немного — для равновесия — изображающий из себя разгильдяя. Да, он справится, не подведет, не сорвет работу, ему дорого дело, но не потому что это — дело, которому он служит, а потому что это — дело, которое служит ему. Чесноков не халтурит, как Мухин, честно вкладывает в работу силы, ум, нервы, время, честно рассчитывая на будущую прибыль в виде ответственной и престижной должности, большой зарплаты, положения... Комсомол для Олега не возраст и не судьба, а ступеньки некоего жизненного эскалатора, который и сам по себе движется, а если еще по нему побежать!..

Один такой Чесноков на свете? Нет. Хуже он других? Да, хуже Кононенко, но не хуже, а может быть, и лучше тех, что, облачившись в аппаратную униформу — хорошо сидящий костюм и строго подобранный галстук, — деловой аппаратной трусой (мол, ради дела готов побежать, но не положено!) с озабоченными лицами и совершенно равнодушными сердцами снуют по коридорам...

Итак, взять вторым Олега — дать, говоря грубо, ход честному карьеристу. Не брать — неизвестно еще, кого пришлют. Упаса бог, внешнеторгового мечтателя вроде Мухина! А если все-таки поговорить с Бутениным? Но пока он освоится, с ним на-

мучишься, аппаратной работе, как музыке, нужно учиться, а то некоторые считают, будто можно усестись за начальственный стол и с ходу сбачать фортепьянный концерт. Люди потом в себя годами приходят. Райком комсомола — конечно, не консерватория, а скорее самодеятельный коллектив, но, с другой стороны, мало ли выдающихся исполнителей начинали свой путь со сцен заводских клубов!

Аппарат был в сборе. Опустевший стеллаж, отметил про себя Шумилин, уже начал заполняться: появилось несколько красиво оформленных рапортов слету, с полки стартовала очередная плексигласовая ракета. Шумилин до тошноты проверил по позициям, как идет подготовка. Затем был прочитан и общими усилиями откорректирован подробный поминутный план-сценарий. Неожиданно выяснилось: не на что покупать цветы и бутерброды для президиума, и первый секретарь попросил зайти к нему после аппарата Волковчук, которая при этих словах тяжело вздохнула в предчувствии нарушения финансовой дисциплины. Потом Шумилин еще раз проинструктировал, как работать с выступающими:

— Главное, чтобы они говорили дельно, а потом уже складно. Не придумывайте за них критические замечания в адрес райкома и горкома — они сами знают, что у нас плохо. И не зализывайте, бога ради, индивидуальность! Пока у меня такое ощущение, будто все выступления, как в анекдоте, брали из одной бочки...

И, уже распуская сотрудников на обед, поинтересовался: где же все-таки Мухин?

— На бюллетене, — хором ответили ребята.

В столовой, выстояв небольшую очередь, Шумилин установил поднос тарелками и, вежливо кивая знакомым работникам райкома партии и исполкома, поискал глазами свободное место, нашел и стал осторожно пробираться между столами.

За последнее время здесь утвердился обычай есть, не снимая тарелки с подноса. Сидящие напротив две секретарши-машинистки обсуждали какое-то страшное убийство на почве ревности. Теряя аппетит и ощущая, как к сердцу, пульсируя, приливает тревога, он вслушался и наконец понял, что речь идет о новом западном фильме.

Столовая была отделана очень уютно и, чтобы не выводить аппаратчиков из рабочего состояния, как бы имитировала кабинетную систему: столы обособлялись один от другого декоративными перегородочками. По стенам размещалась чеканка на гастрономические сюжеты. Из-за ближней перегородки, как, впрочем, и отовсюду, доносились знакомые голоса, но Шумилин не обращал на них внимания, пока не услышал свою фамилию.

— Первый не дурак! — утверждал бойкий голос скромняги Хомича. — Он пойдет только в Новый дом.

— Я бы на его месте пошел на место Шпартко, — не соглашался Гольдман.

— Ты сначала окажись на его месте! — съязвила Рахматуллина. — Помнишь, Базлов в горком пошел? Где он теперь?

— Базлов не справился, а Шумилин — мужик толковый, он далеко двинет!

— Никуда он теперь не двинет, — встрял голосок Милы Смирновой. — Папа говорит, что после случая с хулиганами ему нужно скорее возвращаться в свою аспирантуру...

— Ерунда! — возразил Гольдман. — Людей на злоупотреблениях накрывают и то иногда без понижения переводят. Конечно, история неприятная, но первый-то здесь при чем? Он вообще в отпуске был.

— Папа говорит, что человека легче всего съесть, когда он болеет или в отпуске.

— Твой папа говорит прямо как Евгений Шварц!

— Почему Шварц? Какой Шварц? Чего вы смеетесь?

— Просто так, — объяснила Рахматуллина. — И хватит вам делить шкуру неубитого Шумилина, меня больше волнует, кто вторым будет.

— Как кто? Чесноков! — убежденно ответил Гольдман. — Он от первого не вылезает, в горкоме третью, в Новый дом все время советоваться бегаёт. Он и будет!

— Чесноков переактивничал и вторым не будет! — с раскованностью сотрудника другого отдела сообщил Хомич. — Человек придет из горкома. Скорее всего Фолинский.

— Почему?! — хором спросили остальные.

— Вы по фамилии догадаетесь или на пальцах объяснить нужно?

— А-а-а!

Фолинского действительно рекомендовали на место Кононенко, но Шумилин наотрез отказался. «Все, черти, знают, — думал он, допивая компот из черной смородины. — Когда до них про мои семейные дела дойдет, можно на неделю райком закрывать из-за разговоров. Интересно, что папаша этой балерины скажет? Здорово они ее со Шварцем приложили...»

Шумилин отнес грязную посуду на мойку и, уже направляясь к выходу, специально прошел мимо спорщиков, те оборвали разговор и уставились на первого усталыми, но преданными глазами.

«И что еще неприятно, — морщился Николай Петрович, садясь в машину, — случай с хулиганами — для них всего лишь помеха для продвижения. Почему так произошло, кто виноват — их, кажется, совершенно не волнует. Они же молодые ребята — откуда такое отношение?.. Оттуда же, откуда у тебя самого: ты же заявление не написал, а, напротив, считаешь, что вполне созрел для места Шпартко! Вот так-то. Заднего зеркала мало, нужно еще зеркальце внутреннего вида иметь, товарищ первый секретарь!»

— В горком едем? — уточнил Ашот.

— Откуда ты знаешь?

— Я не знаю. Я чувствую.

Первого секретаря горкома ВЛКСМ на месте не было: он с делегацией творческой молодежи улетел в ГДР. Шумилин решил заглянуть к секретарю по пропаганде Околоткову, которого знал еще первым секретарем соседнего райкома. Два года назад они встречались на совещаниях и выездных учебах, выручали друг друга в сложных ситуациях, даже как-то обменялись семейными визитами. Потом Околоткова после удачного выступления на слете выдвинули в секретари горкома, и дружить домами ему приходилось теперь на новом уровне, но он остался тем же простым парнем и при встрече с таким же наигранным размахом лупил по протянутой руке, однако научился говорить медленнее, раздумчивее, веселее, реже обещал помочь и чаще ссылаясь на необходимость посоветоваться.

Шумилин он поприветствовал, выйдя из-за стола и сказав, что отпускник загорел, как негр, выглядит, как актер с неприличной фамилией Бельмондо, что вообще краснопролетарцы молодцы и он очень сожалеет о досадном происшествии.

— Понимаешь, Коля, — Околотков закурил, задумчиво затянулся, — страшного, конечно, ничего нет, но разговоры пошли — и это плохо!

— А как первый отреагировал?

— Первый к тебе хорошо отнесится и сказал, что все это — неприятное недоразумение. А если начи-

стоту...— с приливом хорошо продуманной откровенности сообщил Околотков,— Шпартко почти ушел. На его место несколько кандидатур, но твоя, по-моему, самая реальная! Ты и у нас в аппарате был и на самостоятельной работе почти четыре года. Район один из лучших. Первый по возвращении, я знаю, хочет с тобой поговорить, а прилетает он сегодня ночью. И мой тебе дружеский совет: ты с хулиганами разберись, но спокойно; самокритично, но без истерики, а то у тебя, я замечал, склонность к самобичеванию имеется. Во-вторых, слет нужно провести по большому счету! И уж нашу просьбу как следует выполнить!

Речь шла об изготовлении блокнотов с тиснением для участников общегородского слета.

— Уже в работе!

— Молодец! Обо всем сразу звони — посоветуемся.

Шумилин вышел из кабинета, сунул хронически улыбающейся секретарше фирменный блокнотик НИИ ТД и начал традиционный обход горкома. Смысл этого обхода можно выразить словами: «А вот и я! Я всех помню и совершенно не теряю голову из-за того, что первый в районе. Город есть городу!»

Шумилин шел из отдела в отдел, из кабинета в кабинет, делился новостями, выслушивал новости или просто перекидывался шуткой, попутно решал вопросы, заручался поддержкой, снимал напряжение, сам, в свою очередь, обещал в чем-то помочь городу.

— Какие люди! — приветствовали его на очередном пороге.

— Такой человек и без охраны! — улыбались в другом кабинете.

Спускаясь по лестнице к выходу, он лицом к лицу столкнулся с пресловутым Шпартко. Грузный, лысеющий, явно пересидевший на комсомольской работе, тот тяжело поднимался к себе в кабинет и, судя по тому, как обстоятельно принимал расспрашивать о жизни, о семье, чего раньше за ним не водилось, в самом деле собрался уходить. Признак безошибочный!

У Шумилина было важное преимущество: несмотря на то, что в район он ушел почти четыре года назад, в горкоме его не переставали считать своим — «наши кадры!», — и краснопролетарский руководитель умело пользовался выгодной двойственностью. И этим тоже нередко объяснялись первые места, грамоты, переходящие вымпелы и прочие знаки отличия. Кроме того, исторически сложилось так, что в горкоме комсомола скопилось немало выходцев из Краснопролетарского райкома. Сам первый секретарь, хоть и пришел из другого РК, в свое время окончил тот же пединститут. А Шумилин еще по армии знал, какая могучая сила — чувство землячества.

Задумавшись, он вышел на улицу и, подойдя к пустой машине, огляделся: Ашот, непринужденно облокотившись о стену, охмурял выбежавшую в соседнее здание околотковскую секретаршу. В руках он держал бумажку с телефоном, и это не оставляло ни малейшего сомнения в дальнейшей судьбе девушки. Увидев начальника, водитель кивнул головой, что можно было понять и так: заводи, сейчас поедем...

II

Ашот довез начальника до ворот Майонезного завода и был отпущен до завтра. Шумилин открыл липкую дверь проходной и сразу же почувствовал тяжелый, жирный запах — достопримечательность местного производства. На

пороге его встречала заместитель секретаря комитета ВЛКСМ завода Валя Нефедьева — плечистая лимитчица с неторопливыми движениями и плавной деревенской речью. Пройдет несколько лет, и она станет настоящей горожанкой, резкой, нервной, стремительной, прошедшей огонь магазинных очередей и общественного транспорта, ледяную воду равнодушия положительных холостых мужчин и медные трубы уважения заводской администрации — вплоть до фотографии на Доске почета и однокомнатной квартиры с окнами на Окружную дорогу. Но это случится нескоро, а сейчас Валя боязливо, но твердо пожала руку первого секретаря и робко спросила: «Пойдемте, что ли?»

В маленьком заводском клубе, где на люстрах еще заметишь остатки новогоднего серпантина, все было готово к началу: на сцене стояли накрытый зеленым стол и старинная, много чего слышавшая на своем веку трибуна. На стенах размещались схемы, диаграммы и фотомонтажи... Из черного усиителя, похожего на футляр аккордеона, доносилась некогда знаменитая светловская «Комсомольская песня»:

**Постой, постой, ты комсомолец! Да!
Давай не расставаться никогда!
На белом свете парня лучше нет,
Чем комсомол шестидесятих лет.**

По залу между рядами, хлопая откидными сиденьями, с отчетным докладом в руках метался секретарь комитета ВЛКСМ Борис Ноздряков — худой, жидковолосый парень. Постепенно прибывали комсомольцы, и он, подскакивая то к одному, то к другому, совал исписанные бумажки, объяснял что-то на ухо. За происходящим — подергиваясь в ритме песни — философски наблюдал Цимбалюк, инструктор, ведущий в орготделе промышленность. Спокойный, следящий за собой, модно (в рамках аппаратных приличий) одевающийся, он относился к работе с тем самообладанием, которое неопытный глаз может принять за равнодушие. Но, заметив начальство, инструктор молниеносно «ушел в народ», по-свойски внедрившись в кучку разговаривающих комсомольцев. Ноздряков же, улыбаясь разнокалиберными зубами, пошел навстречу высокому гостю.

— Поздравляю с праздником! — прояснил лицом первый секретарь и пожал влажную руку волнующегося Ноздрякова.

Не успели они разговориться, как появились приглашенные на собрание — главный инженер завода Головки (директор уехал в министерство), секретарь партийного комитета Лешутин и известная на весь район ударница Старикова. Широко, по-комсомольски улыбаясь, Шумилин обменивался приветствиями, расспрашивал: как, мол, комсомол не подводит?

— Да как вам сказать? — с шутливой загадочностью отвечал Лешутин и лукаво поглядывал на смущенного комсорга. — Скорее нет, чем да...

Майонезный завод — маленький, в районе неприметный, и визит первого секретаря был неожиданностью, значившей для местного руководства немало.

— Если б вы заранее предупредили, директор не поехал бы на совещание. Он у нас комсомол любит! — монотонно сокрушался Головки — человек с гладким неподвижным лицом и масляным пробормом.

Зал стал заполняться. В первом ряду на краешках кресел сидел, ожидая приглашения, будущий президиум.

— Внимание! — призвал Ноздряков в потрескивающий микрофон. — Внимание! На учете в нашей комсомольской организации состоит шестьдесят три

человека. Присутствуют, — он обвел глазами десятка три человека, островками рассевшихся по залу, — присутствуют пятьдесят четыре комсомольца. Девять отсутствуют по уважительным причинам. Какие будут предложения?

— Начать собрание! — крикнули из зала.

— Поступило предложение начать собрание. Ставим на голосование. Кто «за»?

Поднялись вялые руки.

— Против? Воздержался? Единогласно! Для ведения собрания нам необходимо избрать президиум. Какие будут предложения? — спросил Ноздряков и выжидательно уставился на хорошенькую девушку в третьем ряду.

Та сразу же вскочила и, уткнув носик в бумажку, звонко зачитала:

— Предлагаю избрать президиум в следующем составе: главный инженер товарищ Головкин, секретарь партийного комитета товарищ Лешутин, ударница коммунистического труда, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Александра Ивановича Старикова, инструктор райкома комсомола товарищ Цимбалюк, секретарь бюро ВЛКСМ гаража Саша Яковлев. Председателем собрания предлагаю Валю Нефедьеву...

— Товарищи! — взмолился оплошавший Ноздряков. — Нам выпала большая честь — на нашем собрании присутствует первый секретарь Краснопролетарского районного комитета комсомола Николай Петрович Шумилин!

Раздались жидкие аплодисменты. Единогласно избранный президиум проследовал на сцену, вокруг стола произошло вежливое замешательство, наконец, после того, как из зала принесли недостающий стул, все расселись.

— Товарищи, — легко окая, начала Валя. — Есть предложение утвердить повестку дня: отчетный доклад, выступления в прениях, выборы нового состава комитета ВЛКСМ, разное. Какие будут дополнения? Голосуем. Единогласно! А теперь слово для отчетного доклада...

— Регламент! — страшно прошептал Ноздряков.

— Ой... Ну да... испугалась Нефедьева и заглянула в шпаргалку. — Товарищи, для ведения собрания нам необходимо установить регламент. Докладчик просит сорок минут. — (Сдержанное негодование в зале.) — Выступления в прениях десять минут. Закончить работу в течение двух часов.

Утвердили регламент, и слово получил Ноздряков.

Деревянным шагом он подошел к трибуне, разложил странички, отпил воды из стакана, ухватился руками за микрофон и, тряся от волнения ногой, что было видно только из президиума, начал:

— Товарищи! Победным шагом идет комсомол...

Шумилина охватило привычное президиумное оцепенение. Все, что случится дальше, он знал наизусть, потому что отсидел не одну сотню таких собраний, а раньше сам готовил и проводил их. Изредка к нему сзади наклонялся Цимбалюк и шептал, что доклад он выправил, что выступления в прениях подготовлены, что Ноздряков, конечно, не подарок, но организацию тянет, с руководством, особенно с главным инженером, ладит. Лешутин его, правда, недолюбливает...

Боковым зрением Шумилин оглядел своих соседей по президиуму. Головкин затвердел и стал похож на человека, которому в голову пришла большая государственная мысль. Утомленное лицо секретаря парткома выражало миролюбивую иронию: мол, надо бы вами, черти, заняться, да своих дел по горло. Сидящая Старикова добродушно разглядывала молодежь. Она не замечала, что орден

перевернулся на колодке тыльной темно-серебряной стороной. Валя, шевеля губами, готовилась продолжить свои председательские обязанности.

Изредка главный инженер и первый секретарь обменивались значительными репликами: «Хорошо сказал!» «Они вообще у нас ребята неплохие...». Лешутин отмалчивался. Шумилин всмотрелся в зал: первым рядам, простреливающимся из президиума, приходилось слушать. В глазах у ребят была давняя, загустевшая тоска. Дальше — легче: судя по ритмично хромающим плечам, некоторые девушки вязали, заочники трудились, положив тетрадки на колени, временами отрываясь от писанины и пристально вглядываясь в докладчика, то ли демонстрируя внимание, то ли сясь что-то вспомнить. Длинноволосый паренек приладил под гриву наушники и наслаждался карманным магнитофоном, несколько человек, склонив головы, подтверждали, что наша молодежь самая читающая в мире. В дальнем углу, кажется, конспиративно играли в шахматы.

А между тем докладчик после пространного перечисления успехов комсомола Майонезного завода со сдержанным негодованием перешел к отдельным недостаткам, которые, надо отдать ему должное, были так искусно подобраны, что воспринимались как продолжение достоинств. Преодолеть эти недоработки Ноздряков настойчиво завещал будущему составу комитета ВЛКСМ. Наконец оратор перевернул последнюю страничку, эффектно вправил в заключительную фразу общеизвестную цитату и вышел из-за трибуны, неожиданно напомнившей Шумилину пляжную кабинку для переодевания.

— Какие вопросы к докладчику? — поинтересовалась Валя.

Собрание единогласно промолчало.

— Переходим к прениям, — решительно продолжала Нефедьева.

— Редакционная комиссия! — плачущим голосом подсажал Ноздряков.

— Ой... Ну да... Товарищи, для выработки проекта решения нам необходимо избрать редакционную комиссию. Какие будут предложения?

Зал безмолствовал.

— Осипов, у тебя же было предложение! — все-таки установил контакт с залом Ноздряков.

— Да. Было, — опомнился здоровенный парень и, вскочив, стал шарить по карманам. — Вот! Значит, так: Яковлев — председатель, Полторак и Салуквадзе — члены...

— Голосуем! — призвала Валя. — Единогласно. Комиссия может приступить к работе.

Обрадованные члены редкомиссии вскочили с мест и, прихватив с собой три странички давно составленного и даже опечатанного текста, отправились в комнату за сценой, чтобы напиться минеральной воды, выправить опечатки и ждать своего выхода.

Потянулись томительные прения, происшедшие, как подумал Шумилин, от слова «преть». На трибуну один за другим выходили симпатичные девчата и парни, хорошие, наверное, работники, и, путаясь в полужнакомом тексте, говорили одно и то же. Чувствовалось, что и критика, и самокритика, и новые предложения — все заранее обговорено, согласовано, сформулировано, обесцвечено. Порадовал электрик Кобанков: звонким, хорошо поставленным голосом самостоятельного артиста он с чувством говорил о заводе, своих товарищах и наставниках, обкатывая будущее выступление на слете. На патетической ноте закончив речь, Кобанков по-свойски переглянулся с районным руководством: мол, не первый год, Петрович, на этой работе!

«Да-а, научились мы готовить собрания, — грустно

подумал Шумилин,—ни одного живого места не осталось. Заасфальтировали поле катком, а теперь удивляемся, куда девались ростки молодой инициативы!» Краснопролетарский руководитель мог в деталях рассказать, что произойдет дальше. После комсомольцев выступят Головки и Лешутин, они призвут к еще большей боевитости и попрекнут некоторых лодырей, секретарь парткома, может быть, иронично пожурит безынициативный комитет ВЛКСМ и его вожака. Потом ожидается торжественное слово первого секретаря о больших задачах, стоящих перед краснопролетарской многотысячной комсомольней и ее скромным, но достойным отрядом — молодежью Майонезного завода. Наверняка вызовет оживление мысль о том, что, коль скоро они первыми в районе проводят отчетно-выборное собрание, то и по всем другим показателям обязаны быть впереди! Затем проголосуют за прекращение прений, и Яковлев старательно прочтет проект решения. Сначала его примут за основу и сразу же — в целом, и в зале никто не задумается, зачем это двойное голосование. Дальше, почуяв близкую свободу, с торопливым единогласием комсомольцы выберут новый состав комитета и «комсомольского прожектора». Нефедьева сообщит, что повестка дня исчерпана, поступит восторженное предложение закрыть собрание. Голосуя на ходу, ребята рванутся к выходу, образовав в дверях пробку. Оплывав в последний раз, забывчивая Валя крикнет им вдогонку объявления. Тут же сойдется новоиспеченный комитет и выберет секретарем согласованного во всех инстанциях Ноздрякова.

Так бы оно и случилось, если бы Шумилина не начала раздражать, как говорят в комсомоле, «незадействованность» зала. Он вспомнил почему-то слова Бутенина: «Эти хулиганы где-то учатся или работают, а там ведь есть комсомольская организация...» И если те, залезшие в райком парни, работают здесь, на Майонезном, то откуда же у них, спрашивается, уважение к комсомолу? От таких, что ли, собраний? И первый секретарь начал внимательнее, словно ища неизвестных злоумышленников, вглядываться в лица собравшихся. Он уже твердо знал: его выступление здесь будет каким угодно, только не торжественным!

Окончательно терпение лопнуло, когда Шумилин увидел, как один парень в пятом ряду просто-напросто спит, уперев в переднее кресло оплетенные набухшими венами руки и положив на них черную кудрявую голову. Шумилин обернулся и поинтересовался у Ноздрякова, кто этот спящий красавец.

— Где? А-а... Бареев, наладчик из упаковочного цеха. В прошлом году после ПТУ пришел... Сейчас разбужу!

И когда на трибуне сменялись выступающие, Ноздряков громко и ядовито заметил:

— Бареев, спать нужно дома, а не на собрании! Наладчик вскинулся, обвел зал красными, неприснувшимися глазами, опомнился наконец, встал и извинился. Тут бы Ноздрякову успокоиться, но его, как и древних римлян, погубило излишество.

— Стыдно, Бареев! — возвысил он карающий голос. — Перед товарищами стыдно, перед районным комитетом стыдно!

— Извините,— раздражаясь, повторил парень.

— Ладно, ладись. Мы потом с тобой поговорим!

— Почему же это потом? — вдруг дерзко спросил Бареев, и первый секретарь заметил, что у него похорошему упрямое лицо. — А мне не стыдно! Я третьи сутки с линией колушаюсь. Но даже если бы я трое суток подряд дрых — все равно на вашем собрании заснул! Это трепология какая-то, а не собрание!

Зал очнулся.

Головка забыл про терзавшую его большую государственную мысль и оторопел. Лешутин подался вперед. Шумилин почувствовал спиной, как похолодел Цимбалюк. Ноздряков утратил родную речь.

— Отчетный доклад,— кипел наладчик,— вода на киселе! «Мы подхватим! Мы оправдаем! Мы еще выше поднимем!» Чего же не поднять? От слов не надорвешься. Да оттого, что в докладе все гладко, жизнь лучше не станет. А если честно говорить: откуда у нас каждый день такой стеклобой? От разгильдяйства! Жир рекой под ноги течет от безалаберности. Девчонки после ПТУ приходят, оборудования толком не знают и простаивают из-за ерундовой поломки! Ладно, о производстве главный инженер лучше скажет. А как мы живем?! Спохватываемся, что комсомольцы, когда взносы платим, и то некоторых не поймает. Помните, была встреча с ветеранами завода, пенсионеры рассказывали, как они жили, как о й у них комсомол на заводе был! Послушаешь — обзавидуешься! А сейчас? Сегодня отчетно-выборное собрание, а в зале два с половиной человека, и то ведь Ноздряков целый день по цехам бегал, кудахтал: из райкома приедут, из райкома приедут! Вот и хорошо, что приехали,— пусть послушают. У нас половина молодежи в общежитии, ребята у нас работают, пока прописку не получат, а потом — до свидания, на комбинат уходят; даже по комсомольским путевкам придут, осмотрятся мало-мало — и бежать...

— Правильно! Крышу в общежитии почините! — вскочил парень из дальнего угла, и с его колен посыпались выигранные шахматные фигурки. — Дайте мне сказать!..

И тут началось.

— Веди собрание! — сквозь шум голосов прокричал Вале посеревший Ноздряков.

— Сам веди! — огрызнулась она.

— Да они как с цепи сорвались! — с возмущением повернулся к секретарю парткома Головка.

— Комсомол! — уважительно усмехнулся Лешутин.

12

Собрание закончилось, и разгоряченные комсомольцы нехотя разошлись. В зале остались только заводские руководители, Шумилин и новый комитет ВЛКСМ, в котором noticeably отсутствовал согласованный во всех инстанциях Ноздряков, но зато числился красноречивый наладчик, сам не ожидавший такого оборота; от изумления он прочно замолчал — тем более что ребята предлагали в секретари именно его. Но лидера так и не выбрали, Головка решительно заявил: кандидатуру сначала необходимо обговорить с директором.

Когда стали прощаться, первому секретарю, словно заезжей знаменитости, вручили гвоздики, украшавшие стол президиума, но он тут же передал букет засмущавшейся Вале Нефедьевой.

У самой проходной его догнал Цимбалюк.

— Николай Петрович! — задыхаясь, проговорил он. — Цветы забыл! Просили передать...

— Со второй попытки, значит... Мне их уже один раз вручали.

— Я не видел. Я Ноздрякова успокаивал.

— Переживает?

— Не понимает!

— А ты сам-то понимаешь?

— Естественно. Нужно было Бареева заранее в список выступающих включить.

— Вот так, да? Или просто не будить.

Цимбалюк вдумчиво улыбнулся, показывая, что юмор начальства оценен, и поинтересовался:

— А кто будет секретарем? В кадровом резерве у нас Нефедьева.

— Народ хочет Бареева.

— Головки никогда не согласится!

— Слава богу, Витя, не все в жизни зависит от Головки. А Бареев эту заводскую комсомолию расшевелит! И Лешутин — я чувствую — за него! Хотя, конечно, незапланированная смена — маленькое, но ЧП...

— Николай Петрович, а не много ли у нас ЧП?

— Для спокойной жизни многовато, но ведь покой нам только снится! А?

— Естественно! — согласился инструктор, которому покой был прекрасно знаком не только по сновидениям.

Отпустив Цимбалюка домой и обнаружив, что в райком возвращаться уже поздно, первый секретарь стал медленно пробираться сквозь вечернюю уличную толчею, ощущая то беспокойное недоумение, какое нападает на очень занятых людей в минуты внезапной праздности. «Ну, что ж, если заняться нечем, — постепенно определился Шумилин, — займемся здоровьем». Нужно было все-таки разобратся с этой непонятной хандрой, появившейся после спасения на водах.

Нависая над остановкой, большие квадратные часы показывали одной стороной циферблата 19.41, а другой — 19.58. «Очень удобное место для свиданий!» — решил Шумилин и, захватив цветы в «дипломат», втиснулся в троллейбус. Пристроив кейс между поручнем и задним стеклом, стоя, разглядывал автомобили, обгонявшие его электрический дилижанс; снаружи пошел редкий дождь, и «дворники» вылизывали на ветровых стеклах удивленные полукружия.

Люди обычно не любят ходить по больницам или размышлять о разных недугах: кому же охота вспоминать, что сделаны мы из весьма непрочного и недолговечного материала. Первый секретарь, направляясь в поликлинику, думал совсем о другом.

...С Таней он познакомился полгода назад. Однажды днем она позвонила в дверь его квартиры, решительно вошла, сбросила ему на руки пальто, одернула стянутый в талии белый халат и спросила: «Где больной?» А узнав, что пациент перед ней, удивленно пожала плечами: мол, если вы такой галантный, могли бы и сами прийти на прием.

— Ложитесь. Я вымою руки, — распорядилась она. — Где ванная?

Но Шумилин при виде молодой светловолосой докторши, пришедшей по вызову вместо старенькой Фриды Семеновны и смотревшей на него строгими темными глазами, молча показал куда-то в сторону кухни. Гостья пожала плечами и сама направилась в ванную, благо в нынешних квартирах не заблудиться.

Больной улегся на диван, а врач, с интересом скользнув по корешкам секретарской библиотеки, приставила холодный стетоскоп, сосредоточенно жала губы и принялась выслушивать, что же случилось с материально-технической базой этого рассеянного мужчины. Когда диагноз — ОРЗ — был по-

ставлен и она стала выписывать рецепты, Шумилин обратил внимание: обручальное кольцо у нее на левой руке. «Или заранее купила (так делают), или в разводе!» — определил он.

— Где вы работаете? — спросила докторша, заполняя больничный лист.

— В Краснопролетарском райкоме комсомола.

— Кем? — с чуть заметной иронией уточнила она.

— Секретарем...

Еще начиная свою общественную деятельность, Шумилин заметил: люди так называемых жизненно важных профессий, медики, к примеру, на комсомольских работников часто смотрят как-то свысока: мол, взрослые люди, а несерьезными вещами занимаетесь! Другое дело мы: держим человеческую жизнь на кончике шпирца!

Закончив писать, врач резко встала, еще раз одернула халат, надетый поверх джинсов и черного свитера, коротко объяснила, как нужно принимать лекарства, и посоветовала меньше ходить. Но больной тем не менее поплелся провожать и, подавая в прихожей пальто, наконец решился:

— Простите, а что с Фридой Семеновной?

— Фрида Семеновна на пенсии. Теперь у вас будуй я.

— Вот так, да? А как вас зовут?

— Зовут меня Татьяна Андреевна Хромова. До свидания, выздоравливайте...

И она ушла, оставив в квартире будоражащие флюиды красивой и уверенной в себе женщины, а Шумилин вздохнул, порывшись на полках и, завалившись, как предписано, в постель, стал перечитывать ахматовский «Вечер».

Через неделю, собираясь в поликлинику выписываться, он так долго выбирал галстук, что Галя (они тогда доживали вместе последние дни) хмыкнула и сказала: настоящий мужчина нравятся женщине и без галстука, но раз дело зашло так далеко, то за появившуюся у него пассивность муж должен, во-первых, приклеить отломанную ножку к детскому столику, во-вторых, посадить на раствор отвалившуюся в ванной плитку, в-третьих, выдать сумму на приобретение французских духов. «Это программминимум, над программой-максимум я подумаю», — пообещала она. Как многие люди, не обладающие проницательностью, Галя имела талант предвидения.

Однако галстук не помог.

Татьяна Андреевна узнала пациента, дружелюбно поздоровалась, привычно осмотрела и несколькими росчерками пера вернула его к активной трудовой деятельности. Шумилин вышел из ее кабинета с закрытым бюллетенем в руках и чувством незавершенности в душе. Направляясь домой, он еще строил хитроумные планы продолжения знакомства, но на следующий день приступил к работе, завертелся — и образ нового участкового врача переселился в ту область памяти, которая ведает приятными мимолетными встречами.

Но вот накануне отпуска, делая традиционный вечерний рейд по коридорам райкома, первый секретарь услышал совершенно обыкновенный разговор. Тамара Рахматуллина, курирующая в орготделе медицинские учреждения, с монотонным раздражением объясняла:

— Сверьте список в секторе учета. У вас в ведомости 51 человек, а по картотеке 49.

— Если б мы недоплачивали, а то ведь переплачиваем, — кротко оправдывалась попавшая в неприятную ситуацию решительная Татьяна Андреевна Хромова.

— А я вам говорю: сверьте! Переплата — такое же нарушение, как и недоплата.

— Простите, но я не знаю, как сверять. Меня

просто попросили завезти ведомость — я живу недалеко.

— А где ваш секретарь?

— У нее прием сейчас, а вы обещали главврачу позвонить, если не привезем...

— И позвоню.

— Ну и звоните! — разозлилась докторша и, повернувшись к двери, увидела Шумилина.

Она хотела было пожаловаться, но загнулась (врачи редко помнят имена пациентов) и только пожалала плечами: мол, сами видите, что получается.

— Здравствуйте, Татьяна Андреевна! — обрадовался он. — Комсомольское поручение выполняете?

— Пытаюсь.

Тамара тем временем молча взяла со стола ведомость и с сознанием неудовлетворенной правоты сама отправилась в сектор учета.

— На будущее, пусть взносы все-таки привозят те, кому положено. Передайте, пожалуйста, моему секретарю, — мягко попросил бывший больной и тут же уточнил: — Значит, вы рядом живете?

— Да, в Балакиревском переулке.

— Мы почти соседи. Если вы сейчас домой, нам по пути! — предложил Шумилин и пожалел, что отпустил Ашота. — Мне нужно только взять портфель, пойдемте, посмотрите, как я тут устроился.

И он повел Таню в приемную с законной гордостью человека, которому доверена большая должность и еще больший кабинет.

Позже, по дороге к дому, испытывая острый дефицит тем для разговоров, он поинтересовался, почему его новая знакомая носит обручальное кольцо на левой руке, не католичка ли она? Таня некоторое время внимательно разглядывала асфальт под ногами, потом чему-то про себя улыбнулась и спокойно объяснила: два года назад разошлась с мужем, — и перевела разговор на шумилинскую работу.

Шумилин проводил ее до подъезда и заверил, что если теперь заболит, то к врачам обращаться не станет, она ответила что-то в том же духе и, прощаясь, академично, как принято у медиков, называла его по имени-отчеству. Но Николай Петрович, доказывая, что Татьяна Андреевна, хоть врач, но одновременно и комсомолка, предлагал отчества отбросить. Возвращаясь домой, он всерьез вопрошал, как продолжит знакомство, но на другой день закрутился в райкоме, а потом улетел в отпуск.

...Вдохнув продезинфицированный воздух поликлиники, Шумилин неожиданно почувствовал, что разом исчезли все неприятные симптомы. «Сильная родная медицина!» — недоумевал он, заказывая в регистратуре свою карточку. Прием шел к концу, и очереди совсем не было.

Первый секретарь заглянул в комнату: Таня склонилась над столом и, поправляя челку, быстро заполняла пухлую, с многочисленными вклейками и вкладышами историю болезни. «Вот уж поистине книга судеб!» — грустно подумал Шумилин.

Таня подняла глаза на вошедшего и улыбнулась:

— Заходите. Вы загорели.

— Только не говорите, что поправился. Сейчас, когда хотят сделать комплимент, говорят: похудел. Она оперлась щекой на руку, еще раз внимательно посмотрела на пациента и добавила:

— Волосы выгорели... Я вас слушаю.

А ему стало вдруг неловко пересказывать свои хвори, но делать было нечего, и он по возможности с юмором поведал про то, как, бороздя черноморские воды, чуть не потерпел аварию и не затонул во цвете лет и как после этого его начали посещать не очень-то приятные ощущения. «Умоляю спасти!» — закончил он. Но Таня не разделяла ве-

селья: по ее словам, сначала, видимо, у него было обычное кислородное голодание от длительного пребывания под водой, но потом он сильно испугался, а это уже нервный срыв, хотя, по правде сказать, ничего страшного.

— Жить буду — петь никогда! — неожиданно для себя повторил Шумилин одну из чесноковских прибауток.

— Петь можно, а вот нервничать нужно меньше, полнее отключаться от работы и ни в коем случае не фиксироваться на неприятных ощущениях. Да еще и отдыхать мы не умеем! — вздохнула Таня.

— Вот так, да? А как нужно отдыхать?

— Это индивидуально: одному нужна тишина, а другому — музыка, шум...

— Музыка!.. Хорошо. Я вас приглашаю в дискотеку — научите меня отдыхать!

— Никогда не была в дискотеке, но у меня, к сожалению, сегодня дела.

— Нужно отключаться.

— Усвоили! А вам можно в дискотеку?

— Необходимо!

— Ну, хорошо. Только я маме позвоню. Вы зря улыбаетесь — просто чтоб она сегодня сына из сада забрала... А может, все-таки в другой раз?

Но Шумилин уже доставал из кейса помятые гвоздики.

13

Молодежное кафе «Черемуха», при котором два года назад открылась дискотека, занимало нижний этаж хорошо отремонтированного старого дома и сияло на всю улицу витражными окнами. Дискотека была первой крупной акцией Шумилина в Краснопролетарском районе. «Хотим дискотеку!» — заявили комсомольцы на отчетно-выборной конференции. «Сделаем!» — самоутвержденно пообещал неопытный первый секретарь и потом не раз жалел.

Оказалось, на словах все за правильную организацию досуга молодежи, но попробуй выбить деньги, получить и отремонтировать помещение, купить аппаратуру. Самое трудное заключалось в том, что никто не отказывался помочь, понимая важность райкомовского начинания, но в этом добровольном равнодушии дело вязло, как грузовик в трясине. А тягач на весь районный комсомол один — первый секретарь.

Шумилин постоянно «напрягал» Ковалевского, терпел горько, сам ездил в область выпрашивать на никому не известном заводе мраморную плитку для облицовки, организовывал субботники и воскресники, выбивал в торге хорошую электронику, на общественных началах приглашал знаменитых дизайнеров, а про то, как добыл стекло для зеркального потолка, можно написать фантастический роман с авантурным сюжетом! Наконец почти через два года после обещания первый секретарь обыкновенными канцелярскими ножницами разрезал алулу ленточку, произнес речь, а вечером посмотрел себя по телевизору в городских новостях и убедился, что людям свойственно переоценивать собственную внешность.

Еще несколько недель он вздрагивал при слове «дискотека», но потом новое стихийное бедствие обрушилось на него: начали расширять районный музей истории комсомола и пионерии. О том, что дискотека живет и трудится на благо молодежи, Шумилин помнил: отдел пропаганды принимал участие в подготовке тематических программ, билеты распространялись через комитеты комсомола, в

дискотеке дежурили дружинники. Иногда райком на один вечер абонировал всю «Черемуху» и устраивал аппаратные торжества, скажем, по поводу успешного проведения отчетно-выборной конференции. И тогда, привычно встав во главе стола, словно ведя очередное совещание, краснопролетарский руководитель давал краткий застольный очерк достигнутого, высвечивал перспективу и провозглашал здравицу в честь славной районной комсомолки. Затем, как на хорошем собрании, ораторы сменяли один другого: без вдумчивого, исполненного заботой об общем деле тоста краснопролетарцы бражничать не умели. А потом, охваченные хорошим восторгом, они запевали любимых «Добровольцев» — в собственном, районном варианте:

**Комсомольцы, пролетарцы —
Мы сильны нашей верною дружбой...**

Заглядывал Шумилин в дискотеку и для проверки, про которые заранее откуда-то все знали, но до разговора с инспектором первому секретарю как-то не приходило в голову явиться в «Черемуху» обычным посетителем и насладиться плодами своих же трудов: во-первых, времени постоянно не хватало, а во-вторых, и возраст вроде бы уже недискотечный.

...Возле дискотеки стояла длинная очередь безбилетников — человек сорок. У последних двадцати шансов сегодня попасть в кафе не было, но уж лучше, считали они, провести свободное время в дружественной очереди, чем нигде. Юноши выглядели по-разному, кое-кто напялил свитерок с форменными школьными брюками, зато девушки, как одна, были модно, даже дорого одеты — и Шумилин, вспомнив свою Лизку, вздохнул, предвидя грядущие расходы.

— А как мы пройдем? — простодушно поинтересовалась Таня. — У вас билеты есть?

— Решим в рабочем порядке! — неожиданно для себя ответил он. — Сапожник всегда без сапог...

Билетов, разумеется, у него не было. Направляясь сюда, первый секретарь рассчитывал на служебное удостоверение и на то, что многие дружинники знают его в лицо, но сквозь такую толпу, да еще вместе с дамой продираться как-то неудобно, несолидно, что ли. В конце концов ты всего лишь первый секретарь, а не инвалид, и права проходить без очереди не имеешь. Шумилин остановился в стороне от входа и принялся соображать: можно, пожалуй, позвонить в дискотеку и вызвать на улицу кого-нибудь из дружинников, но номер телефона вместе с записной книжкой остался на работе... Еще можно... Тем временем вертлявый парень в застиранном добела джинсовом костюме несколько раз изучающе прошел мимо, затем приблизился вплотную и спросил напрямик:

— Билеты нужны?

— Нужны! — ответила Таня, с улыбкой посмотрев на своего задумавшегося кавалера.

— Пять.

— За два билета?

— Штука.

— Вы что, обалдели? — возмутился в ней врач-терапевт, получающий сто тридцать рублей в месяц. — Как хотите, — пожал спекулянт плечами и повернулся на мушкетерских каблуках.

— Погоди-ка, — остановил его Шумилин, полез за бумажником и вынул новенькую, будто бы пахнущую типографской краской десятку. — Не обрежься!

Парень хмыкнул и, взяв деньги, передал два пригласительных билета; рядом с ценой «один рубль» стояла отчетливая печать Краснопролетарского РК ВЛКСМ.

— Так сапожник и без штанов остаться может! — задумчиво проговорила Таня.

Показывая билеты, они постепенно протолкались к входу, попросили посторониться прилипшую к стеклянным дверям пару и, помахав в воздухе картонками, привлекли внимание дежурившего за дверью незнакомого (видно, из нового набора) оперотрядника. Дружинник взял билеты, внимательно осматрел, чуть ли не понохал и — тоже мне, сыщик! — спросил как бы невзначай:

— Вы в какой организации покупали?

— Ни в какой, — просто ответил первый секретарь. — Мы здесь, около входа по пятерке штука взяли...

— Что? Я сейчас! Стойте здесь... — выпалил оперотрядник и метнулся к пустому гардеробу, где, облокотившись на барьер, мирно беседовали Иван Локтюков и широкобродый, с купеческим пробормом гардеробщик, рассказывавший, наверное, о своем участии в Брусиловском прорыве.

— Николай Петрович? — удивился заведующий оборонно-спортивным отделом и руководитель районного оперативного отряда. — Проверяешь? А разве сегодня...

— Нет, я отдыхаю. А ты?

— Проверяю.

— Вот так, да? Молодец. Значит, Мансуров с тобой тоже о спекулянтах беседовал.

— Беседовал.

— Ну, тогда с тебя червонец... нет, восемь рублей. В зарплату отдашь...

Вяснив приметы добровольного распространителя билетов, дружинники высыпали на улицу и скоро вернулись ни с чем. А Шумилин тем временем повел Таню в зал, где оглушительно пульсировала музыка и в такт ей мерцал свет: на мгновение вспыхнув, он выхватывал фигуры танцующих из темноты, и от этого их движения казались фантастически резкими. Диск-жокей что-то выкрикивал в микрофон, и прыгающая толпа отзывалась восторженными возгласами.

Перед танцевальным залом располагался бар, а перед баром — столики. На стульях висели и лежали курточки, сумки, полиэтиленовые пакеты — так что сесть было некуда. Наконец они высмотрели столик, одной стороной приставленный к стене: на двух стульях из трех ничего не висело и не лежало. Усевшись, Таня попыталась сначала пристроить гвоздики в пустой стаканчик для салфеток, но потом просто положила цветы возле стены.

Музыка оборвалась, и столики стали заполняться. На экране вспыхнули и начали сменяться один за другим ослепительные слайды, на них рекламно улыбались суперзвезды мировой эстрады, а диск-жокей, захлебываясь, рассказывал о заблиставших недавно новых светилах музыкальной вселенной. С таким же восторгом, наверное, в тридцатые годы чумазные парни рапортовали о том, что ими установлен новый мировой рекорд по добыче угля за смену.

К только-только устроившимся Тане и Шумилину подошла молодая пара, одетая в единообразные вельветовые джинсы и фирменные майки с рисунками. Девушка была рыжеволосая, с веселыми глазами и нежно-розовой, словно обожженной на солнце, кожей. Ее приятель обладал высокомерным взглядом, выполненной, очевидно, в домашних условиях модной стрижкой и физиономией со следами вулканической деятельности молодой плоти. После танца оба глубоко дышали, под мышками распылились темные круги.

— Это наши места! — обиженно сказала девушка.

— Все три? — уточнила Таня.

— Все три,— надменно подтвердил парень.— Мы ждем человека.

— Слушайте, ребята,— миролюбиво предложил Шумилин.— Мы скоро уйдем, а стул себе я сейчас принесу. Договорились?

— Ладно,— легко согласилась девушка.

Ее друг непримиримо промолчал. Но тут снова обрушилась музыка — и они умчались танцевать.

Шумилин между тем притащил стул и отправился к стойке. Незнакомый бармен (прежнего после проверки трудоустроили), мордастый мужчина лет тридцати в массивных очках-«хамелеонах», статью напоминал выпускника института международных отношений, получившего несколько странное распределение. Он дал посетителю внимательно изучить по прейскуранту ассортимент, а когда тот после колебаний выбрал коктейль «Салют» — сообщил, что имеется только «Шампань», и принялся брезгливо что-то перемешивать в стаканах, потом с отвращением воткнул в напитки полиэтиленовые соломинки и метнул сдачу.

Исхитрившись, неопознанный первый секретарь за один раз перенес все четыре стакана на стол и два из них подвинул ребятам, вернувшимся с танца.

— Спасибо! — обрадовалась девушка, которую Таня уже называла по имени — Аня.

Юноша именовался Андреем.

Попробовали коктейль: любимыми ингредиентами бармена оказались вода и лимонная кислота.

— Мы вас тут раньше не видели. Вы кто? Мы из педагогического, с инфака,— легкомысленно начала знакомиться Аня.

— Я — врач, а Николай...

— Учитель... Я учитель! — быстро перебил Таню глубоко законспирированный комсомольский вожак.

— Наш институт оканчивали? Какой факультет? Когда?

— Наш. Исфака. Окончил, когда вы еще в школе учились.

— А кто у вас педагогику читал?

— Шуринов.

— И у нас Шуринов! Здорово! А в школе почему работаете? Распределили?

— Распределили.

— Я сразу догадалась, что вы учитель. По костюму и галстуку!

— Вот так, да? А как у нас в институте с билетами сюда? — осторожно приступил к следствию Шумилин.— В очереди стоять не приходится?

— Бывает! — ответила девушка, щебетавшая и за себя и за своего приятеля.

— Мы здесь в первый раз,— продолжила светскую беседу Таня,— а вам тут нравится?

— Нравится! — сообщила Аня.— Если б еще не эти из райкома — совсем здорово было...

— А что им нужно? — равнодушным голосом спросил подбравшийся первый секретарь.

— Да-а... лезут не в свое дело, программу недавно сняли. Им, понимаете, процент советской музыки подавай!

— Ну и что в этом плохого?

— А вы пробовали под «Три танкиста» танцевать? — прорвало наконец и Андрея.

— Во-первых, танцуют не под все песни, под некоторые и умирают,— патетически начал Шумилин, а закончил с обидой: — И дискотеку, между прочим, для вас райком комсомола выбил!

— А зачем ее «выбивать»? — зло удивился парень.— Если есть спрос, нужно строить, пока очереди не будет, как делают на Западе. Это же прибили! А то, подумаешь, подвиг райком совершил — дискотеку открыл! И вообще комсомол себя изжил...

— Вот так, да? — переспросил первый секретарь.— Это почему же?

— Конечно, изжил! — легкомысленно подхватила Аня.— Представляете, все, кому от 14 до 28,— в комсомоле. И мы с Андреем, наверное, и вы с Таней, и восьмиклассники, которые перед входом толкуются...

— А чем тебе это не нравится?

— А тем, что молодежь нужно по интересам объединять, а не сгонять в одну организацию.

— А ты в какой организации хотела бы состоять? — заговорила Таня.

— Я? Ну, например, Союз Музыки и Танца — СМТ! — полусерьезно заявила Аня.

— А потом? — тихо спросила Таня.

— Что потом?

— Потом, когда ты выйдешь замуж, родишь ребенка, начнешь работать — и будет не до СМТ. Тогда перейдешь в СМЖ — Союз Матерей и Жен? Да? А если, не дай бог, разведешься или совсем замуж не выйдешь, тогда куда? В какой-нибудь СОЖ — Союз Одиноких Женщин...

— Я же к примеру сказала! — обиделась девушка.

— И я к примеру.

— А все-таки,— мрачно вмешался Андрей,— почему комсомол не спрашивает, как мы хотим жить, а вспоминает про нас, когда нужно взносы заплатить, собрание провести или субботник? Почему, например, у комсомола нет своих кинотеатров, где бы только для молодежи фильмы крутили? Почему?

— А почему ты говоришь о комсомоле как о какой-то посторонней благотворительной организации? — профессионально возразил Шумилин.— Ты сам и есть комсомол, от тебя самого и зависит, как жить. И потом, почему ты все время про развлечение рассуждаешь? Комсомол, между прочим, не только собрания или субботники организует — деньги от субботников, кстати, потом на детские больницы идут, эту дискотеку тоже без субботников не построили бы. Комсомол и на БАМе работает и на...

— А вы меня БАМом не пугайте! На Западе не хуже дороги строят, и молодежь этим не попрекают!

— Что ты все: Запад, Запад... Запад не потерял двадцать миллионов на войне, на Западе такой разрухи в глаза не видели!

— Давайте-давайте, теперь про безработицу среди молодежи, но тогда и про пособия надо говорить...

— А ты был на Западе-то?

— А вы были?

— Я-то был,— твердо ответил Николай Петрович, ездивший с молодежными делегациями в Испанию и ФРГ.— А вот ты с разных голосов нахватался.

— У меня своя голова.

— С чужими мыслями. И послушай меня, Андрей, внимательно: если человек заботится не только о том, как бы самому получше устроиться, но думает и о других людях — ему всегда живется непросто. То же самое и со страной. Скажи откровенно: по-человечески тебе кто дороже — жиреющее ворье или честный, но небогатый человек?

— Вы же знаете, что я отвечаю.

— Знаю. Значит, в целом ты сам себя и опроверг, а частности нужно своими глазами рассматривать и не слушать чужую трепотню. Вот так-то.

Парень напустился и молча старался проткнуть гнушейся пластмассовой соломинкой вишенку на дне стакана.

— Вы не учитель,— задумчиво произнесла Аня,— вы тоже из райкома. А мы из педагогического, с инфака, курс вам тоже сказать?



— Это мы сами выясним,— нахмурился Шумилин.— Татьяна Андреевна, запишите и завтра к институту подошлите решетчатую карету и пять мотоциклистов с пулеметами.

Все засмеялись, даже Андрей, продолжая злиться, захмыкал.

— Ой, Татьяна Андреевна,— по-женски ловко смеялась тему Аня.— У вас же гвоздики совсем поумирали! Андрюша, попроси у бармена вазу — букет жалко.

— Мне он не даст...

Шумилин сделал многообещающий жест и отправился к стойке, купил бутылку шампанского и попросил вазу.

— Хрустальную или из чешского стекла можно? — произдевался бармен.— Бутылку разольете и воткнете. Вода в туалете.

— Можно бы и позевливее...

— Иди-иди, перестарок! — громко крикнул вдогонку «выпускник МГИМО».

— Не получилось,— садясь, объяснил Шумилин.— Ладно, давайте выпьем по бокалу, и нам уже пора, тем более мы обещали недолго посидеть.

— Да что вы! — раскраснелась Аня.— Давайте еще поспорим, а?

— Хватит уж,— буркнул Андрей.

А тем временем у стойки разворачивались драматические события: угрожающей походкой, словно собираясь ударить в ухо, Локтюков подошел к бармену и что-то сказал, кивнув в сторону первого секретаря. Лицо укротителя коктейлей окаменело, на нем отражалась борьба самолюбия и расчета, но поскольку у схватившихся сторон оказались разные весовые категории, бармен после колебаний полез под стойку, долго там копался, потом его побагровевшее лицо снова появилось на поверхности. Он аккуратно вытер полотенцем блестящий сосуд, приблизился к столику, с уважительным укором глянул на начальство:

— Вазы, честное слово, нет. Может, это подойдет?

И поставил на середину стола сияющий никелированный кубок городской спартакиады, три дня назад похищенный неизвестными хулиганами.

— Откуда это у вас? — ошеломленно спросил Николай Петрович.

Барменское самолюбие сделало последнюю попытку вырваться из захвата, но было окончательно прижато к коврау.

— Какой-то парень вместо денег впарил: не поднимать же шум из-за полтинника!

— Локтюков! — закричал Шумилин на весь зал.

Посчитав, что первого секретаря бьют, глава оперотряда, расшвыривая стулья, выскочил из вестибюля и замер, увидев знакомый серебряный сосуд, в который ничего не подозревавшая Аня уже поставила понурившиеся гвоздики.

14

Благосклонно глядя на себя в зеркало и пританцовывая, Шумилин ездил по щекам трескущей электрической бритвой. Выпадают редкие дни, когда чувствуешь себя победителем жизни, сегодня у него был именно такой день: он даже проснулся с ощущением легкости, чего с ним давно уже не случалось.

Весь вчерашний день здорово напоминал счастливую концовку плохого детектива: примчавшийся по звонку инспектор Мансуров опросил бармена и нескольких ребят, постоянно пасшихся, чуть не ночевавших в дискотеке, заверил райкомовцев, что

остальное — вопрос техники, и обещал позвонить утром. Прощаясь, он пожимал руку первого секретаря с каким-то особенным уважением.

Шумилин пошел провожать Таню домой. Несколько раз им встречались дружинники; некоторые оперотрядники узнавали первого секретаря и поглядывали на него с тем выражением, какое бывает у детей, вдруг выяснивших во время турпохода, что учительница тоже очень любит сладкое и до смерти боится лягушек.

Потом они сидели на широкой и низкой скамье, передвинутый кем-то с автобусной остановки в глубь заросшего, почти поленовского дворика. Шумилин вновь и вновь рассказывал Тане о происшествии в райкоме, не переставая изумляться, что кубок отыскал именно он.

— А если бы эта Аня не вспомнила про цветы? Представляете? Дарите девушкам цветы!

— Представляю,— отозвалась Таня и добавила: — А ребята мне чем-то понравились, хотя я с ними и не согласна. Но ведь Андрея вы только переспорили, а не переубедили. Правда, половина его слов — всего лишь мальчишеское высокомерие; вспомните себя в его возрасте.

— Я помню. Но есть разница: когда мне в восемнадцать лет что-нибудь не нравилось, я — наивно, конечно, — но рвался переделывать, а не хныкал, почему мне не сделали того и не приготовили этого!

— А может, в чем-то они правы? Может быть, их тоже нужно выслушать и понять? Знаете, я скажу банальность, но у врачей есть клятва Гиппократы — это потому, что от них зависит жизни. Но не только ведь от медицины люди зависят...

— Вот так, да? Срочно введем клятву комсомольского работника! А первой заповедью тоже будет: «Не вреди!» — Шумилин шуткой попытался вернуться в прежнее русло и замолчал, а продолжил совершенно серьезно, словно совсем другой разговор: — Вот вы говорите, мы делаем что-то не так, но разве у вас — если так уж нравятся медицинские параллели — достаточно заглянуть в справочник лекарств, и все будут здоровы? Эти Андрей и Аня — ребята неплохие, но они, возможно, потрудней да же тех, кто в райком забрался...

— А что будет тем, когда их найдут?

— Плохо будет. Статьи я не помню — надо у Мансурова спросить.

— А от вас это будет зависеть?

— Все, что зависело от меня, я сделал.

— Всё? Я думала, вы добрее.

— Что ж поделаешь...

— Наверное, ничего. Я замечала, когда врачи становятся большими руководителями, обычно это отражается на их пациентах. За все приходится платить. Я слышала, вас в горком приглашают?

— Приглашают в гости. Работу в горкоме мне пока никто не предлагал. А за свою карьеру — вас не смущает такое слово? — я расплавляюсь собой... Понимаете, собой, а не другими. Вот так! Шумилин встал, закурил, и они молча пошли домой. У самых дверей Таня остановилась, внимательно и удивленно посмотрела ему в глаза, а потом, улыбнувшись, протянула руку.

Они договорились созвониться и увидеться.

...Шумилин добрился, струей одеколона, как из маленького огнетушителя, немного остудил жар воспоминаний, затем долго одевался перед зеркалом и натер себе шею, подбирая галстук, а когда выглянул в окно, обнаружил, что водитель подал машину с редкой пунктуальностью. Прогая через ступеньку и легкомысленно размахивая кейсом, первый секретарь выпорхнул на улицу и, ослепленный

солнцем, остановился, дожидаясь, пока рассеются синие пятна перед глазами.

— Какого человека катаю! — уважительно покачал головой Ашот, открывая перед начальством дверь «Волги», не пожарной, как обычно, а блистательно-черной, с розовыми занавесочками.

— А где наша машина? — любопытствовал Шумилин, усаживаясь.

— Коробка полетела. Начальник колонны плакал, когда этого орла давал... Слушай, а как ты его нашел?

— Кого?

— Ладно, не притворяйся! Бокал этот...

— А-а, кубок! В общем, случайно...

— Э-э, не надо своим ребятам-то вкручивать!

— Понимаешь, Ашот, — задумчиво начал первый секретарь, — у умного человека, кроме переднего стекла, еще зеркало заднего вида должно быть...

Они так громко захохотали, что гаишник, стерегущий перекресток, долго всматривался в номер их «Волги».

Приехав в райком, Шумилин назначил планерку на одиннадцать часов, передал черный футляр с печатью Комиссаровой и помчался на стройку.

Проспект, переходящий в шоссе, пролетели мгновенно, потом тряслись по бетонке и наконец влипли в месиво, каковое всегда окружает место, где человек вознамерился возвести себе жилье. Ашот затормозил у плаката с надписью «Ударная комсомольская стройка Краснопролетарского района», открыл дверцу, посмотрел на землю и выходить не стал.

Шумилин вылез и по обломкам стройматериалов, как по кочкам, запрыгал к вагончикам, возле которых расселись на бревнах строители. Они курили, грелись на доходящем осеннем солнышке и давали советы таскавшим мусор стройотрядовцам:

— Да ты резче, резче носилки отпущай, а то руку вывихнешь!

Увидев в окно подкатившую «волгу», бригадир вышел из вагончика:

— Николай Петрович! Из отпуска — и прямо к нам! А мы уже штукатурим!..

— А почему только наши бойцы работают?

— У нас, как у Райкина: раствор — йок, сажу курию. А у бойцов — энтузиазм молодых!

— Вот так, да! Тогда придется позвонить в трест и узнать, почему потери рабочего времени должны покрываться за счет энтузиазма молодых... На субботу и воскресенье я к вам сам с активом приеду. Ждите.

Шумилин обошел холодные, пахнущие свежим цементом коридоры почти готового здания, взглядом старого стройотрядовского волка засек парочку «расцветающих» дверных проемов, переговорил со знакомыми ребятами и, уже подходя к машине, увидел, как бригадир размахивает руками и поднимает с бревен свою гвардию. По пути в город им встретилась машина с раствором — значит, в трест можно не звонить. Нет, положительно, день складывался удачно!

С дороги, из автомата, Шумилин пытался дозвониться до Тани, но телефон был занят.

Когда он в сопровождении Ашота вошел в приемную, Аллочка внимательно посмотрела на измазанные ботинки краснопролетарского руководителя, медленно сравнила их с сияющими штиблетами шофера и наконец сообщила, что недавно звонили из РУВД.

Первый секретарь метнулся к телефону.

— Все в порядке, — спокойно доложил Мансуров, — один уже у нас.

— Ну и... Кто он? Из нашего района?

— Объясняю: Семенов Юрий Сергеевич. — В трубку было слышно, как инспектор шуршит бумагами. — 1967 года рождения, русский, учащийся десятого класса 385-й школы нашего района, проживает в нашем же районе: Нижне-Трикотажный проезд, дом 14, квартира 127. В комсомоле не состоит, инспекция по делам несовершеннолетних его, оказывается, знает, уже встречались. Семья нормальная: отец — шофер в НИИ ТД, мать — воспитательница в детском саду. Утром, когда мы зашли, спокойно собирался в школу, но — догадливый! — сразу все понял и даже удивленных глаз делать не стал...

— А второй?

— Второго пока не установили. Семенов говорит, познакомился в магазине, когда покупал портвейн, никогда его раньше не видел и потом не встречался, где живет, не знает, как зовут, не помнит. Наверное, врет, хотя все берет на себя. Сознался, что идея влезть в райком — его. Сначала собралась выпить в скверике перед райкомом, но потом Семенов заметил открытое окно и предложил продолжить в помещении — так сказать, с комфортом! В общем, цепочка, о которой я вам и говорил: безделье — выпивка — хулиганство...

— А где он сейчас?

— Отдыхает.

— Товарищ... — Шумилин быстро полистал календарь и нашел имя инспектора, — Михаил Владимирович, у нас просьба: члены бюро хотели бы поговорить с этим Семеновым, высказать ему свое отношение, может быть, для себя какие-то выводы сделать. Бюро у нас сегодня в два.

— Доставим. Только не думаю, что из разговора с ним толк выйдет. Обыкновенный хулиган! Я спрашиваю: «Зачем же вы в райкоме погром устроили?» А он: «Ничего не помню — пьяный был...»

— Привезите его, пожалуйста, к половине второго. Я сам сначала на него хочу поглядеть.

— Хорошо. Но воспитывать его нужно было раньше.

Планерка прошла быстро и слаженно. Как часто бывает в комсомоле, дело, только вчера казавшееся безнадежно проваленным, вдруг набрало силу. Сообщение о том, что в субботу и воскресенье аппарат вместе с освобожденным активом работает на стройке, восприняли без восторга, но с пониманием.

Шумилин, довольный, вернулся в кабинет и собрался пообщаться с Таней, но по прямому телефону ему позвонил осведомленный Околотков:

— Ходят слухи, что тебя Петровка в кадры забрать хочет?

— Уже заявление пишу, — отшутился Шумилин.

— Не торопись! Первый вернулся и, как утром обо всем узнал, так на тебе зациклился: «Какие люди!» — говорит. Кстати, ты этого налетчика сам-то видел или, как Шерлок Холмс, занимаешься только интеллектуальным сыском, а техническую сторону милиции оставляешь?

— Еще пока не видел, но сегодня на бюро его привезут, хочу, чтоб с ним ребята потолковали — он ведь из нашего района.

— Та-ак... Я сегодня у пищевиков на отчетно-выборной конференции, это рядом с тобой. Обязательно заеду, посижу у вас на бюро, заодно обсудим, как тебе лучше с первым на собеседовании держаться. Потом тут с телевидения вашим детдомом интересовались, режиссер должен тебе звонить. Когда снимать будешь, не забудь причесться. Кстати, ты с Галей помирился?

— Нет.

— А вот это зря. Ты меня понял? До встречи. Шумилин перевел дух и связался с Ковалевским.

— Все уже знаю,— ответил Владимир Сергеевич.— Ну, вы, братцы мои, даете: сами хулиганов разводите, сами ловите. Он из какой школы?

— Из 385-й.

— И школа-то хорошая. Надо разобраться.

— Я хочу, Владимир Сергеевич, чтобы с этим Семеновым члены бюро поговорили, разобрались. Его сегодня к нам из милиции привезут, секретарь горкома Околотков будет. В два начнем.

— Директора школы пригласите обязательно! Постараюсь к вам прийти—погляжу на вашего грому. А второго еще не нашли?

— Нет еще.

— Ну, ты уж, Николай, поднапрягись: у тебя, говорят, это хорошо получается! И вообще загляни ко мне на неделю, пора нам, как говорят в «Кино-панораме», о твоих творческих планах потолковать...

Шумилин положил трубку и, нажав кнопку селектора, попросил Комиссарову пригласить на бюро директора 385-й школы.

— Бедная Ирина Семеновна! — посочувствовала сердобольная Надя.— У них лучшая успеваемость по району...

— Ничего,— сурово ответил первый секретарь.— Теперь дисциплиной займутся.

И опять начал набирать Танин телефон, но тут, гремя развернутой газетой, в кабинет влетел Чесноков.

— Командир! Слава когтистой лапой стучится в дверь!

— Вот так, да? — заинтересовался Шумилин и, положив трубку, расправил газетный лист на столе. Большая, хорошо пропечатавшаяся фотография на первой полосе изображала заседание Краснопролетарского бюро: подретушированный первый секретарь неподвижно уставился на Бутенина и, что-то объясняя, фехтовальным движением направил ему в грудь авторучку. Речь, помнится, шла о своевременной сдаче взносов. Члены бюро старательно демонстрировали внимание. Сбоку, ломая все представления о времени и пространстве, прилепился Чесноков, действительно очень хорошо получившийся на фотографии.

Шумилин вздохнул и позвонил Липарскому.

— Видал? — победно спросил тот.

— Видал. Спасибо. Парню твоему все оформили. А кстати, вам нужен острый материал о работе с подростками?

— Острый материал всегда нужен, но только такой, чтобы не проколоться...

— Мы сегодня на бюро будем с одним несовершеннолетним беседовать...

— С тем самым?

— С тем самым.

— Ну, ты отважен, старик! Это надо бы с главным переговорить. А впрочем... нас ведь Шпартко курирует. Ты меня понимаешь? А? Придет корреспондент. Обнимаю. Отбой четыре нуля...

Закончив разговор, Шумилин глянул на Чеснокова и подумал, что он чем-то похож на Липарского — умеет решать вопросы, как говорят в комсомоле. Заорг стоял потупившись, заранее приготовившись к поощрению.

«А ведь и правда: удачно получилось», — с досадой подумал первый секретарь, а вслух спросил:

— Как там у нас с явкой на бюро? Смотри, Околотков придет, и Владимир Сергеевич обещал...

— Ковалевский?! Вот это да! Гора идет к Магомету...

— Ладно, потом будешь острить. Пусть в комнатах приберутся и не курят. В коридоре надо промести, и чтоб около сектора учета хвоста не было!

— Понял, командир! За кворум не бойся: с такой повесткой дня у нас аншлаг будет! Первый раз за два года олимпийского чемпиона Колупаева увидишь. Я просил его с золотой медалью на шее прийти. Шучу. Еще звонили из Краснопролетарского универмага — есть серые финские костюмы, пятые роста! Такое бывает раз в сто лет. Я беру. Твой размер прихватить?

— Я подумаю,— ответил он Чеснокову.

— Если покупатель станет думать, ему носить будет нечего, хватать нужно, а не думать! И потом думай не думай, сто восемьдесят рублей — не деньги!

— Ладно, пойдем в конце дня, примерим...

— Может, ты еще в список запишешься, недельку на переклички походишь, а потом сутки в очереди постоишь? Эх, Николай Петрович, не умеешь ты своими правами и обязанностями пользоваться. Или не хочешь пока? Шучу.

Олег ушел, а Шумилин связался с Майонезным заводом. Лешутина убеждать по поводу кандидатуры нового секретаря не пришлось.

— Пусть поработает,— согласился он.— Что нужно делать, Бареев знает, сам на собрании об этом кричал. Я-то — «за», но, по-моему, Головка уже успел директора накрутить.

— Вот так, да? А на месте директор?

— В министерство уехал. Там он на месте.

— Ну, ничего, с ним мы договоримся.

— Договоритесь. Он у нас тоже на повышение идет...

«Все всё знают! Парапсихология какая-то!» — удивлялся Шумилин, набирая номер комитета комсомола педагогического института.

— Послушай, Сергей,— спросил он у Заяшников, — кто у нас секретарь на инфаке?

— Медковский. А что?

— Смену планируете в этом году?

— Нет. А что?

— Пусть он ко мне послезавтра в четыре часа подойдет.

— Что-нибудь случилось?

— Пока нет. А ты-то сам доволен, как у тебя инфак работает?

— В общем не очень. А что?

— Ничего. Я с ним хочу в общем поговорить. Не опаздывай на бюро!

— Не опоздаю. У нас уже весь комитет знает, подробностей ждут! Николай Петрович, а можно тебе задать один вопрос, нескромный?

— Если по поводу моего перехода, то ты про это лучше меня знаешь. Вот так-то!

Посмотрев на часы, Шумилин помчался обедать и весь взмок, отшучиваясь от добродушных, насмешливых и злых поздравлений с большой служебно-розыскной победой. Даже девчонки на раздаче смотрели на него восторженными глазами и выбирали кусочки получше.

Ровно в половине второго он вернулся в райком и узнал от взволнованной Аллочки, что звонили из Тынды.

— Кононенко?

— Виктор Иванович! — подтвердила она.— Спрашивал, как у нас дела!

— Ну, и что ты ответила?

— Ответила — «нормально»: вы же предупреждали...

— А телефон свой он оставил?

— Нет, сказал, еще будет звонить...

«Как дела? Как дела?!» — сокрушался Шумилин, за-

ходя в кабинет.— Тут не дела, а целое дело — уголовное!»

Следом в комнату вошла Аллочка и, прикрыв за собой дверь, сообщила, что по телефону Николая Петровича еще спрашивал женский голос.

— Она просила что-нибудь передать? — забеспокоился Шумилин, вспомнив, что так и не поговорил с Таней.

— Нет. Сказала, будет дозваниваться. По-моему, это ваша жена! — скромно добавила секретарша, но по интонации стало ясно, что своеобразие личной жизни руководителя известно ей до мелочей. «Значит, в самом деле решила разводиться», — рассуждал первый секретарь, наблюдая, как к райкому подруливает патрульная машина. — Ну и ладно. А в общем-то странно...»

Звонок действительно был неожиданным, потому что с тех пор, как они разъехались, Галя ни разу не воспользовалась служебным телефоном мужа...

Семенова привезли Мансуров и незнакомый сержант милиции.

На пороге кабинета, озираясь, парень остановился.

— Что, знакомые места? — с суровой насмешливостью поинтересовался Шумилин. — Проходи, побеседуем...

Семенова усадили перед столом-аэродромом, а инспектор с сержантом сели на стулья, расставленные возле стены.

Не зная, с чего начать, первый секретарь разглядывал пойманного с его помощью хулигана. Какой там школьник! Перед ним, откинувшись на стуле, сидел здоровенный мужик, зачем-то одетый в ученическую форму. Широкое темное лицо, бритый наждачный подбородок, равнодушные до наглости глаза и большие красные руки, замком сцепленные между колен. Рубашка расстегнута, и на груди видны густые черные волосы. Акселерат чертов!

Но все-таки по движениям, посадке было заметно, что парень еще не привык к своему стремительно повзрослевшему телу. Так не сразу свыкаются с новым костюмом.

Да и вызывающее спокойствие, если приглядеться, было ненастоящим.

Сначала обличительно настроившийся Шумилин ничего этого не заметил.

— Рубашку застегни, — тихо потребовал он. — Ты все-таки находишься в районном комитете комсомола.

— Для него это не аргумент, — усмехнулся Мансуров.

Парень застегнулся и выжидательно выпрямился на стуле.

— Вот что, Семенов, — медленно и грозно начал Шумилин. — За свое преступление, да-да, именно преступление, ты ответишь по закону, но сегодня тебе придется отвечать перед членами бюро, перед работниками аппарата, перед всеми краснопролетарцами, на которых ты бросил тень своей выходкой. Пригласили мы и директора твоей школы — школу, Семенов, ты тоже опозорил! А сейчас скажи мне — я просто хочу твою логику понять! — почему тебе взбрело лезть именно в райком? Только потому, что было окно открыто, или есть другая причина?

— Нет.

— Вот так, да! Значит, увидел открытое окно и захотел посмотреть?

— Захотел, — угрюмо ответил парень.

— Ну, если ты такой любознательный, мог бы и днем через дверь зайти!

— Я не комсомолец.

— Как же так случилось? — с ехидной участливостью спросил Шумилин.

— Не приняли.

— И правильно сделали — ты бы тогда в райком каждый день стал лазать, может, и ко мне заглянул бы: я иногда допоздна засиживаюсь.

— А я к вам уже заглядывал.

— Что ты говоришь? По какому же вопросу, можно узнать?

— По личному.

«Я же предупреждал вас: наглец он!» — взглядом подтвердил инспектор свои утренние слова.

— Что-то я не припоминаю нашу встречу. Это когда было? — с иронией уточнил краснопролетарский руководитель.

Семенов пожал плечами.

— Молчать проще всего, ты лучше напони, — встревожился Шумилин.

— А зачем? Вы же опять забудете...

— Не морочь людям головы! — по-милиейски повысил голос Мансуров. — Спрашивают тебя — отвечай!

Но настырный парень безмолвно разглядывал в окне тополиную ветку. Капитан тем временем с раздражением барабанил по коленям пальцами. Сержант недоменно смотрел на прикрепленный к стене мамонтовый бивень, подаренный райкому подшефными полярниками. А первый секретарь нутжно вспоминал.

Людская память обладает двумя качествами: человек может забыть очень многое, и вместе с тем он никогда ничего не забывает. Если захотеть, можно вспомнить все, любую мелочь: например, какого цвета были глаза у пассажира, который в позапрошлом году в одном купе с тобой ехал на юг. Конечно, при условии, что ты заглядывал ему в глаза.

И Шумилин вспомнил.

15

В тот день бюро, как всегда, началось с приема в комсомол.

— Триста восемьдесят пятая! — крикнул за дверью дежурный инструктор, и в зал заседаний боязливо вступила группа восьмиклассников — девочки в негнувшихся белоснежных передничках, мальчики в застегнутых на все пуговицы белых рубашках, один даже при отцовском галстуке, широко и коротко, как римский меч.

«Прямо первое сентября, только что без цветов», — подумал Шумилин. — Молодец, Ирина Семенова! А то в последнее время взяли моду являться на бюро в чем вздумается, и он со всей резкостью говорил об этом на недавнем совещании директоров школ в РОНО.

— Садитесь, ребята! — важно пригласила Шнуркова, в ту пору третий секретарь райкома.

Школьники скромно расселись, стоять осталась лишь секретарь комитета ВЛКСМ 385-й Леночка Спиридонцева, аккуратнейшая десятиклассница, хорошо усвоившая, что общественная работа и средний балл аттестата зрелости — сосуды сообщающиеся. Кукольным голоском она читала заявления, скорговоркой пробегала анкетные данные и передавала очередной бланк первому секретарю. Тот проверял правильность заполнения анкет и делал отметки, утверждающие решение о приеме.

А тем временем члены бюро беседовали со вступающими.

— С уставом ознакомился? — доброжелательно спрашивал кто-нибудь из сидящих за длинным столом.

— Д-да,— честно отвечал испытуемый.
— Тогда скажи, что такое принцип демократического централизма?

И вступающий говорил, иногда бойко, иногда с паузами, в которые был слышен отработанный на уроках шепот подсказок. Если ответ оказывался неуверенным, человека оставляли в покое, если же он проявлял твердое знание предмета, то могли еще поинтересоваться успеваемостью или правами и обязанностями члена ВЛКСМ. Но основательно расспрашивали только в самом начале двух-трех ребят: за дверьми ждали своей очереди учащиеся других школ, а в повестке дня значилась еще масса проблем.

Если группа вступающих оказывалась небольшой, каждому члену бюро доставалось по одному вопросу, знакомому, что называется, до слез, но когда — как в тот день — в зале заседаний случилось сразу человек по двадцать, надо было спрашивать по второму и третьему кругу. Приходилось с помощью вступающих выяснять политическую обстановку в мире, углубляться в историю комсомола, выпытывать, что же это за такое общественное поручение в восьмом классе — «консультант», в крайнем случае интересоваться, какую последнюю книгу прочитал испытуемый. Для ребят уж совершенно спортивного вида приберегали спасительную задачу: «Какие у комсомола ордена?» И вот удивительно: вместо того, чтобы пересчитать тут же на стене развешенные фанерные макеты, некоторые, уперев глаза в потолок, тужились вспомнить награды, изображаемые на первой полосе «Комсомольской правды».

В безнадежных случаях, когда вступающий молчал так упорно, будто хотел сберечь военную тайну, ему рекомендовали серьезно подготовиться и прийти в другой раз. Но шли на такое нечасто, ибо цифра приема — как говорится, лицо любого райкома.

В тот день, пока шел разговор со вступающими, Шумилин, не поднимая головы, визировал анкеты, подписывал уже готовые билеты и персональные карточки тех, кого утвердили полчаса назад: сектор учета трудился бесперебойно. Обработав очередную партию документов, он оглядывал членов бюро и просил, например, Гуркину: «Светланочка, поздравь, пожалуйста!». Та незаметно выходила из зала, в кабинете кого-нибудь из секретарей пожимала руки новым членам ВЛКСМ, вручала билеты и тихонько возвращалась.

В тот день 385-я школа постаралась и прислала на прием гораздо больше, чем планировалось, поэтому к тому времени, когда Спиридонцева вызвала Семенова и передала первому секретарю последнюю анкету, каждый задал уже по три вопроса, дошло дело и до орденов. Наступила пауза, какие бывают на собраниях, если докладчик перепутает странички выступления.

Семенов испуганно вскопил и, ожидая, взволнованно гнул длинные прозрачные пальцы.

Удивленный тишиной, Шумилин поднял глаза, сразу уловил ситуацию и задал самый простой вопрос, какой только пришел на ум:

— А почему ты вступаешь в комсомол?

— Я? — переспросил паренек.

— Ну, не я же!

— Я... Так ведь все вступают.

— Что значит «все вступают»? Ты-то сам почему решил стать комсомольцем?

Испытуемый молчал.

— Как ты учишься? — зашел с другого бока первый секретарь.

— Без троек.

— Общественные поручения есть?

— Есть. Стенгазета.

— А кто тебя рекомендовал?

— Елена Александровна... Классный руководитель.

— Ну, вот видишь, все у тебя в порядке, а ты не можешь повторить то, что сам же в анкете написал! — улыбнулся Шумилин.

— Могу повторить... Но это ведь все написали! — вернулся в исходное положение паренек, видимо, убежденный, будто от него ждут какого-то особого, исповедального ответа.

— Вот так, да? Опять — «все». Вы под диктовку, что ли, писали?

— Н-нет, — ответил Семенов, оглянувшись на застывшее лицо Спиридонцевой. — Нет, нет!

— Кто у тебя родители? — резко вмешалась в разговор Шнуркова.

— Папа — шофер, мама — воспитательница в детском саду...

— Интеллигентная семья! Что же они тебя мыслить самостоятельно не приучили? «Как все» — не ответ. Пойми, комсомол — это огромное событие в твоей судьбе, это шаг, который нужно продумать, прочувствовать, пропустить через сердце, через душу! Комсомолец — не звание, не красивый алый билет, это жизненная позиция! Ты понял меня?

— Понял...

— Я предлагаю отложить. Пусть молодой человек обдумает хорошенько свой шаг, подготовится! — директивно закончила третий секретарь, решив, наверное, что сегодня и так приняли достаточно.

— Подождите! — остановил ее Бутенин и обратился к побледневшему пареньку. — Ты хочешь быть комсомольцем?

— Хочу... — проглатывая слезы, ответил Семенов.

— Ты читал речь Ленина на III съезде комсомола?..

— Читал! — ожил он и, не дожидаясь уточнения вопроса, довольно бойко принялся пересказывать содержание речи.

— Хватит... Хорошо! — остановил его Бутенин. — Учится нормально, общественное поручение есть, документы знает... Одним словом, я считаю: можно утверждать...

— Я категорически против! — непримиримо возразила Шнуркова. — Это же формализм! А говоря о задачах Союза молодежи, между прочим, Владимир Ильич предостерегал именно от начетничества! Если человек не знает, зачем идет в комсомол, — хорошая память ему не заменит убежденности. Я против!

Все посмотрели на Шумилина.

Он поднял праздную скрепку, поднес ее к настольному магниту, напоминавшему металлического ежа, усеянного продолговатыми канцелярскими колечками. Скрепка скользнула из пальцев и смешалась с другими, секунду он еще различал ее, но потом навсегда потерял из виду.

Шумилин думал о том, что на паренька от волнения напал обыкновенный столбняк, хотя Семенов наверняка подготовлен не хуже своих уже утвержденных одноклассников. Но, с другой стороны, как ни в чем не бывало принять человека, не ответившего, почему он вступает в комсомол, тоже нельзя. Да еще эта Шнуркова... Надо бы не Кононенко, а ее на актив сегодня отправить. Вот тоже третьего секретаря бог послал: чуть что — в Новый дом бежит! Ладно, через месяц примем парня, а ему впредь наука: мужчина всегда себя должен в руках держать.

— Голосуем. Кто за то, чтобы отложить? — призвал он и сам поднял руку.

Против проголосовал Бутенин. Полубояринов воздержался.

— Мы, Юра, не можем сегодня утвердить решение собрания о твоём приеме,— отечески объяснил первый секретарь.— Но ты не расстраивайся: мы тебе не отказываем, через месяц ждем на бюро. До свиданья, можешь идти...

После того, как Семенов, словно выгнанный вон из класса, вышел за дверь, Шумилин поднялся, попросил встать ребят и привычно поздравил их со вступлением в комсомол, пожелал хороших дел, отличной учебы и посоветовал не забывать, что членами ВЛКСМ они стали на славной земле Краснопролетарского района. Потом буднично пояснил, когда можно получить готовые документы, и попросил задержаться Спиридонцеву.

— Что же вы так готовите вступающих! — возмущенно спросил он поникшую Леночку.— Анкеты — я потом посмотрел — как под копирку написаны. Если и другие у вас так же знают, зачем им комсомол, то грош цена всему вашему комитету!

Умненькая Спиридонцева давно усвоила, что смиренное молчание — лучший довод в споре с руководством.

— Я предлагаю,— возвысила голос неутомимая Шнуркова,— строго указать комитету ВЛКСМ 385-й школы на недопустимость формального подхода к подготовке вступающих. Через два месяца заслушать отчет о принятых мерах... А еще я с Ириной Семеновной отдельно поговорю!

После затянувшегося приема женская часть бюро и некоторые из мужчин взмолились о перекуре. Проходя в кабинет второго секретаря, где обычно собирались, чтобы подышать, Шумилин заметил, как непривычно угрюмая Леночка Спиридонцева придвинула осунувшегося Семенова к стене и что-то шептала ему в лицо.

В задымленной комнате он застал громкий спор. — Что же получается! — возмущался Бутенин.— Прокатили парня только за то, что он честно ответил. Выходит, сами мы можем конвейерным способом принимать, а от детей требуем глубоко личного отношения?

— Я ему этот вопрос не задавала,— спокойно возразила Шнуркова.

— Да я тебе про другое говорю. Вопрос можешь любой задать. Одним словом, парня мы через месяц примем, а вот что у него в душе останется: мол, правду говорить себе дороже? Так?!

— Останется, что нельзя быть начетчиком! — отрубил третий секретарь и ввинтил в пепельницу искуренную до фильтра сигарету.

— Да сама ты начетчица! — взорвался Бутенин.— Для мальчишки же это трагедия, он просто растерялся...

— Если человек знает, зачем ему комсомол, он не растеряется. А принимать людей, идейно не подготовленных, нам никто права не давал. Комсомолу случайные люди не нужны — ты ведь сам об этом все время кричишь!

— А-а-а... Тебя не переспоришь!

— Очень хорошо, что ты наконец понял...

В тот день домой Шумилин вернулся совершенно расстроенный, традиционно поссорился с Галей и ушел с чувством совершенной несправедливости. Наутро он рассказал о вчерашней нелепице Кононенко, и тот очень расстроился, ругал Шнуркову, да и первого тоже.

— Пойми, это не нелепость,— повторял он.— Бутенин абсолютно прав: мы в этого парня замедленную мину положили! Давай я позвоню в школу...

— Не надо, Шнуркова уже позвонила — директора валерьянкой отпавляли. Через месяц мы Семенова примем — и все будет нормально.

— Ну, смотри...

Потом Шумилин еще долго помнил про тот случай и, когда через месяца три Спиридонцева взволнованно докладывала о принятых мерах, поинтересовался, как там Семенов, почему его не приводят на бюро.

— А он не хочет! — обиженно сообщила Леночка.— И вообще последнее время он учиться стал хуже, безобразничает. Родителей в школу вызывают...

— Работать нужно с несоюзной молодежью,— нахмурился первый секретарь.

— А мы работаем!

— Вот так, да?... строго переспросил Шумилин, но тут его соединили с городом, и он начал ругаться из-за стенов для расширяемого районного музея истории комсомола и пионерии.

А потом он забыл. Так вылетает из головы номер ненужного телефона или имя случайного знакомого. Забыл на два года. А теперь вспомнил...

— Михаил Владимирович! — попросил Шумилин.— Я хотел бы поговорить с молодым человеком с глазу на глаз. Извините.

Инспектор пожал плечами, взглядом показал серванту на открытое окно, и они вышли.

— Значит, говоришь, по личному вопросу приходил? — спросил первый секретарь после того, как дверь закрылась.

— Приходил.

— А что же ты потом не пришел? Обиделся?

— Мне подачек не надо,— ответил парень, удивленный, что его все-таки вспомнили.

— Обиделся! А жизнь самому себе испортил. Вот так-то! Да-а, Юра, Юра, ты даже не понимаешь, что натворил!

Первый секретарь почувствовал себя мудрым и добрым человеком из какого-то очень знакомого, шедшего недавно по телевизору фильма. Насколько запомнилось содержание, Семенов должен был расплакаться, как мальчишка.

И он заплакал. Но не по-ребячьи, распустив юнни, а по-мужски, без слез, закусив губы и сотрясаясь всем телом.

— Успокойся! — строго сказал Шумилин и опять же, как в том фильме, налил парню воды.— Приведи себя в порядок. Я сейчас вернусь...

Он вышел в зал заседаний и подсел к нетерпеливо ожидавшемуся инспектору:

— Сколько же ему могут дать?

— Ну, это уж суд решать будет,— удивленно ответил Мансуров.

— А по вашему опыту?

— Смягчающих обстоятельств нет. Сначала в колонию для несовершеннолетних отправят — может быть, и со взрослыми досиживать придется. Вы же за него ходатайствовать не собираетесь?!

— Нет... Не знаю... Спасибо. Можете забрать его из кабинета.

Шумилин дождался, пока капитан уведет Семенова, вернулся к себе и снова почему-то решил позвонить Тане, но, задумавшись, так и замер, прижимая к уху гудевшую трубку. Нужно было решать.

...Допустим... Допустим, даже если кто-то и узнает в этом взрослом парне того растерянного мальчишку или вспомнит давнюю историю с Семеновым из 385-й (что в присутствии Ковалевского и Околоткова очень некстати) — все равно ничего страшного не произойдет. Кашу заварила Шнуркова, бюро, в сущности, поддержало; в крайнем случае райкому придется разделить, как говорится, с семьей и

школой вину за одного из упущенных подростков. А персонально первого секретаря вслух не сможет упрекнуть никто! Никто, кроме...

В дверь заглянула Аллочка:

— Николай Петрович, члены бюро собираются.

— Пусть рассаживаются. Я иду.

...Так вот... Никто, кроме самого же первого секретаря, который, как известно, не привык расплачиваться за свою карьеру чужими судьбами. Так он, кажется, вчера заявил Тане? Не привык... Но тогда...

В кабинет ворвался энергичный, как паровой молот, Чесноков:

— Командир! Ковалевский и Околотков...

— Где?! — бросив трубку, вскочил Шумилин.

— У подъезда, друг друга вперед пропускают. Если ты сегодня с ними обо мне договоришься, вопросов не будет.

— Очень ты суетишься.

— А у меня нет папы-начальника, чтобы я не знал, куда руки от скромности девать, пока он бы мне по «вертушке» жизнь устраивал!

Торопясь к двери, Шумилин хотел возразить, но тут грянул прямой телефон, и он быстро вернулся.

Звонила Галя. По-семейному, как ни в чем не

бывало, только немного заискивающе, она просила привезти от свекрови Лизку «к нам домой» и, если можно, освободить вечер, чтобы поговорить...

Такого поворота событий первый секретарь не ожидал.

— Алло, что ты молчишь? — тревожно спросила жена.

— Подожди, — ответил он и закрыл трубку ладонью: в дверь шумно входили Ковалевский и Околотков.

— Ну, братцы мои, заработались! — улыбался Владимир Сергеевич. — Городское начальство встретить некогда.

— Ничего, это болезнь роста! — в тон ему шутил Околотков.

— Командир! — одними губами умолял Чесноков.

— Алло, Коля, что ты молчишь?! — ладонью, зажимающей трубку, слышал Шумилин голос Гали.

Он встал навстречу вошедшим, шагнул из-за стола и увидел вокруг окаменевшую и накренившуюся зыбь моря. Вверху, на фоне безоблачного, цвета густой грозовой тучи неба сияло зеленое с кровавым ободком солнце. И еще человек на мгновение почувствовал, что больше не умеет плавать...

ЮРИЙ
РЯШЕНЦЕВ



ПОСЛЕ
ДОЛГОЙ ЛЮБВИ

Тогда мы были
втроем

В пятьдесят втором по светлой Волге,
ох, да мимо низких берегов,
долги гривой, да умом недолги,
плыли трое вольных дураков.

Первый подымал кривые брови,
красный бант гитаре поправляя
и к узорным ставням в Конакове
страшную частушку устремлял.

У второго руки отдыхали —
подбивали капли весельем.
Третий и воскрес бы, да едва ли
проживешь с растерянным лицом.

Ели колыхались еле-еле
слева, над впадением Сучка.
Леска шла. Но у прибрежной мели
вдруг сходило облако с крючка.

И клевало. И брало приманку.
Удилище гнуло. Все — туфта!..
Жизнь, как молодую хулиганку,
все втроем любили мы тогда.

Мыс Канайя

Шофер Марсиаль из Марселя,
хоть сказочный город Марсель,
давай унесемся отселе
в простор, незнакомый досель.
Я встану, судьбу заклиная,
отвагой и страхом влеком,

на краешке мыса Канайя —
каналья, другим языком.
Внизу Средиземное море
застыло волной слюдяной.
Коль брошусь отсюда — не вскоре
сомкнется оно надо мной:
лететь хоть и камнем, но — долго.
И нет для полета причин.
А были б — Нева или Волга
подхватят такой мой почин.
Но что за расчет без помарок,
какого неверья кольцо,
чтоб жизнь — этот грозный подарок! —
дарителю кинуть в лицо!
И чашечкой дрогну коленной,
и тихо ответит гора..
Ах, все равнодушие вселенной —
лукавая только игра..

☆☆☆

На островах Рублевского карьера —
лимонницы, капустницы, шмели.
И весла городского кавалера
на хлипкой шлюпке шлепают вдали.
Куда-то разбежались кучевые,
а перистые светлы облака..
За много лет пожалуй что впервые
моя весна беспечна и дика.
Давным-давно мое забыто детство.

Но путаным законам вопреки,
получено огромное наследство:
травы, стрекозы, веточки, жуки.
И гусеница темно-голубая,
ползущая из детства моего,
ползет по черенку, не доползая
до школы, до зениток — до всего.
И девочка — без имени, без мамы,
без адреса, без старших, без судьбы —
мой утренник, за сорок лет до драмы,
поет в канун бомбежек и пальбы.

☆☆☆

По окнам и по крышам —
снег, дождь. Сойдешь с ума!
Как белый клоун с рыжим,
так — с осенью зима.
Но мы не на манеже,
не в зале. Где — бог весть...
И смех звучит все реже.
И громыхает жуть.
Гадай, слепой рассудок,
покуда не оглох,
что это: смена суток!
Сезонов ли! Эпох!

Начало зимы

Снегопадами ранними в этом году
удивила Европа.
Как глядят где-нибудь
в Люксембургском саду
на явление сугроба!

А у нас на Девичке
и малая пташка, лишившись прокорма,
лишь перо распушит да чирикнет с душой,
ибо все это — норма.

Над московскими крышами
низко висит пелена снеговая.
И душа отвергает любой реквизит,
на любовь уповая,
все прощая любви:
и неверность шагов,
и ничтожность предмета,
и слепое единство друзей и врагов,
понимающих это...

Опускается снег
там, где стынет фонарь и проходит эпоха.
И два выдоха белых, возникнув,
висят и скрывают, два вдоха.

И всю ночь три блажные сестрички
гуляют вдоль сквера:
за Надеждой пойдешь —
напугаешь Любовь, а привяжется Вера...

☆☆☆

Ни божества, ни смертного, ни твари
не встретишь на ноябрьском тротуаре.
А ночь — как дама пик:
надежды нет на «тройку» и «семерку» —
измерь, тащась пешком в свою каморку,
весь евроазиатский материк.

...Работает сюжет неутомимый:
и честное предательство любимой,
и частный детектив,
всегда живущий хоть в одном знакомце,
с утра начнут стучать в твоё оконце
и позовут на помощь коллектив.

И убежать от сущего — нелепость.
Не в Англии: твой дом — какая крепость!
Готовься ко всему:
к гостям — без них какой же одинокий! —
к напору аргументов, аналогий —
к бездомной жизни в собственном доме.

И, дух счастливых лет превозмогая,
поверив в то, что будет и другая,—
возненавидь ее:
зачем она вернее той и чище,
и вся — костер, коль мило пепелище,
вся — правда, если дорого вранье!..

Взревел мотор. Две капли прозвенели.
Промерзший лист прошаркал по панели.
Сегодня важен слух.
Он знает то, что зрению невятно.
А очевидное — невероятно:
горел, горел очаг наш и — потух!..

Еще недели две до снегопада,
и так темно, что света и не надо:
не разглядишь судьбы,
которая — как верхняя соседка —
слышна всегда, а вот видна так редко,
вся — в звуках: от угрозы до мольбы.

Хамовнический романс

Бежит студент
по древней почве сада.
Как он бежит —
какая там Эллада!
Все группы мышц —
в прекрасном единенье.
Так отчего
в глазах его — сомненье!

Он пролетел
над парой лебединой —
не обронил
хотя бы взгляд единый.
Так отчего
протяжный хрип вороний
он вдруг вдохнул,
как дым непосторонний!

Нет, ничего
не объяснит нам тело,
хотя б рвалось,
хотя бы и хотело...
Так для чего
бежать в тени усадьбы
под стон ворон
и клич лебязьей свадьбы!

Носитель зла

«Носитель зла»!.. Ну, что за ампула,
хоть в критике сей термин плодоносит!
Наивен этот цех: у-а! у-а!
Немодно зло. Его никто не носит.

Гляди, доцент, авось да разглядишь,
как мудро зло растит свои посевы,
не избегая и ученых крыш,
вплетаясь и в народные напевы...

Есть сотня кадров в фильме «Кабаре»,
когда немецкий мальчик, чистый, нежный,
по безмятежной утренней поре
поет толпе, опять же — безмятежной.

Несложный и пленительный мотив
объединил селян без камертонов,
незнамо как, но явно превратив
баварцев славных — в бешеных тевтонов.

Да-да, толпа зверела и росла,
и светлый мальчик пел, исполнен пыла,
а камера по рукаву ползла
и свастику у локтя находила...

Не убивал, не жег. Наоборот,
дитя хорейнов, тянущихся к свету,
он песенкой растрогал свой народ...

А мой народ запомнил песню эту.

ФАЗИЛЬ
ИСКАНДЕР



ЧИК НА ОХОТЕ

РАССКАЗ

Ч

ик проснулся рано утром. Он тихо встал, чтобы не разбудить спящих. Он надел майку, потом натянул поверх трусов короткие штаны с карманами и продел в них пояс брата, который Чик еще ночью выдернул из его брюк и положил возле своей кровати.

Он собирался идти на охоту за перепелками и в случае удачи рассчитывал, что перепелок можно головками засовывать за пояс и они будут держаться. Как миленькие будут держаться, только пояс затягивай потуже! Хотя было тепло, Чик влез в рубашку. Он сообразил, что перепелки иногда могут падать в колючий кустарник и тогда в майке все тело исцарапаешь. Поэтому лучше в рубашке. Чик надел на ноги сандалии, застегнул пряжки и вышел на веранду.

Чик открыл кран и умылся. Когда Чика не видела мама или тетушка, он умывался очень быстро. Если бы проводились всесоюзные соревнования по быстроте умывания, Чик мог бы стать чемпионом страны. Умывался он молниеносно. Со стороны можно было подумать, что он проверяет воду на влажность. Мазанул мокрыми руками по правой и левой щеке, и все. Да, вода продолжает оставаться влажной. Чик воду любил в виде моря. Или море или ничего.

На столе стояла миска с грушами. Над ними уже кружились осы. Осы были желтые, как груши. Чик взял со стола свой учебник по истории древнего мира и стал убивать ос. Две осы он убил, а одна улетела, хотя и была тяжело ранена. Уже убитых ос Чик окончательно раздавил на столе тем же учебником истории. Сгреб их спичечной коробкой на учебник и выкинул за окно. Чик знал, что даже мертвой осе нельзя доверять. Чик по опыту знал, что осу можно раздавить, но она и после этого сохраняет способность жалить. Жить уже не может, но жалить еще может. Вот что такое оса.

Расправившись с осами, Чик тихонько отворил дверцу буфета. Дверца сладостно скрипнула, потому что там лежала любимая еда Чика. Когда в буфете ничего, кроме хлеба, не лежало, дверца скрипела скучно.

Чик отрезал от буханки самую поджаристую горбушку, намазал ее маслом, а сверху еще размазал повидло. Можно было повидло размазать так густо, что масла не будет видно. Но Чик так не любил. Он любил есть хлеб с маслом и повидлом так, чтобы одновременно видеть и масло и повидло. Поэтому он повидло размазал как бы небрежно, волнами. Когда сразу стоят перед глазами и хлеб, и масло, и повидло, получается гораздо вкусней. Чик это точно знал. Про самую любимую еду в мире всегда все точно знаешь.

Вообще Чик ел все, кроме помидоров. Помидоры не лезли. Какая-то противная слизь. Но Чик не терял надежды с годами преодолеть свою неприязнь к помидорам. Иногда, когда его никто не видел, Чик тренировался, чтобы привыкнуть к помидорам. Успехи были, но небольшие. Чик заметил, что после моря помидоры как-то легче идут. Чик решил, что дело в медузах. Медузы слизистые, и помидоры слизистые. Когда наглядывшись на слизистых да еще трясских медуз и подумаешь: «А если бы тебе пришлось есть медуз?» — помидоры легче идут.

Рисунки А. Остаева.

В голодном состоянии Чик мог съесть целый помидор, густо осыпав его солью. Конечно, приходилось проявлять большую силу воли. Зимой, когда по утрам мама заставляла его выпивать ложку рыбьего жира, тоже приходилось проявлять большую силу воли. У Чика была сила воли, и он надеялся с годами привыкнуть к помидорам. Но не все сразу.

Поев, Чик напился из-под крана, хотя пить ему не хотелось. Но он знал, что идет на охоту, а там, кто его знает, скоро ли напешься. Проявляя силу воли, Чик постарался как можно больше выпить прохладной утренней воды. Везде нужно было проявлять силу воли. Чик знал, что сила воли у него есть, но проявлять ее не всегда хотелось.

Боясь, что его не пустят, Чик никого не предупреждал, что собирается на охоту. Взрослые — странные люди. Когда, бывало, уйдешь на море или в горы, они потом ругаются и говорят: «Ты хотя бы предупредил!» А когда предупреждаешь — не пускают. Чик сегодня решил пойти средним путем. Он решил не предупреждать, но оставить записку. Он вырвал из старой тетради неисписанный кусок листа, махнул ручку в чернильницу и, подумав, написал: «Иду на охоту с Белкой. Ждите к обеду с перепелками».

Чик перечитал написанное, и ему показалось, что он напрасно хвастался перепелками. Он почувствовал, что это нехороший признак. Чик только собирался на охоту, но уже проникся охотничьим суеверием. Он тщательно замазал чернилами ненужное слово. Положил записку посреди стола и придавил ее чернильницей, чтобы не снесло порывом случайного ветерка.

Он достал из-за буфета свой лук и три стрелы с жестяными наконечниками, заточенными напильником. Чик проверил на пальце наконечники, словно за ночь их могли притупить мыши. Нет, наконечники в порядке. Он надел на плечо лук тетивой вперед, как ружейный ремень. Заткнул за пояс стрелы. Наконечниками вверх, чтобы не царапали ноги. Потом стал старательно шевелить животом, прислушиваясь, где и как они упираются. Приладил так, чтобы не упирались. Теперь он себя чувствовал не хуже, чем те воины, что изображены в учебнике древней истории.

Чик взял из миски две груши, глазами выбрав те, что получше. Одну себе, другую своей собаке Белке. Только он хотел вонзить зубы в ту грушу, что была особенно крутобокой, как мелькнуло: «Нечестно! Себе берешь ту, что получше, а любимой собаке ту, что похуже». Чик все-таки вонзил зубы в лучшую грушу и, уже вонзив, разозлился на Белку. Нечего баловать, сурово подумал Чик, другие собаки вообще не знают, что такое груша!

Он отрезал от буханки еще одну горбушку. Белочка тоже любила горбушку. Чик вышел во двор.

— Белочка! — позвал он не очень громко, чтобы не будить соседей.

Она спала посреди двора возле виноградной лозы. Услышав его голос, Белочка приподняла голову и посмотрела на Чика, словно удивляясь спросонья: «В такую рань?!»

— Белочка, Белочка, — снова позвал Чик и издала показал ей грушу.

Белочка вскочила и подбежала к нему. Но Чик бросил ей сначала горбушку. Белочка не очень охотно ее ела, то и дело подымая голову и завистливо прислушиваясь к Чику, сочно чмокавшему своей грушей. После того, как она съела весь хлеб, Чик поставил возле нее грушу.

Белочка ела все фрукты. Чик ее давно приучил к этому. Она даже ела виноград. Было бы странно сказать, что она выплевывала шкурки. Виноградины она глотала целиком. Она даже отличала на вкус

белый виноград от черного. Черный виноград «изабелла» Белочка предпочитала любому белому винограду.

Чик много раз делал такой опыт. Он подзывал Белку и клал перед ней две кисточки — черный и белый виноград. И Белочка всегда сперва съедала черный виноград, а потом, в зависимости от настроения, могла съесть и белый. Если, конечно, она была голодной и ничего другого под рукой не имелось, она тут же могла слопать кисточку белого винограда. Но если была возможность выбирать, она всегда начинала с черного.

Самое смешное, что Чик тоже всегда черный виноград предпочитал белому. Нет, он, конечно, Белочку нисколько не приравнивал к своему вкусу. Она сама поняла, что черный виноград приятней белого. Взрослые утверждали, что надо больше любить белый виноград, потому что это столовый сорт, а черный виноград «изабелла» любить не так уж культурно, потому что это не столовый сорт. Мало ли что надо! Надо, но неохота! Чик так считал: что вкусней, то и культурней. И Белочка это понимала.

Только самый наивсостыжливый человек мог сказать, что Белочка любит черный виноград, потому что он похож на мясо. Нет, просто Белочка была умнейшая собака и знала толк во вкусных вещах.

На ее необыкновенную сообразительность Чик и надеялся, беря на охоту. В эти теплые осенние дни охотники возвращались из-за города с перепелками, до того аппетитно телепавшимися вокруг пояса, что Чик прямо замирал от неведомой охотничьей страсти. И Чик решил во что бы то ни стало сходить с Белкой на охоту.

Раньше они никогда не бывали на охоте. Белочка была дворняжкой. Она была дворняжкой среднего роста, вся белая, особенно после купания, с темно-коричневым пятном на левом ухе и левом боку. Как будто кто-то лил сверху коричневую краску, а Белочка пробежала вниз. Кап, кап — и два коричневых пятна. В отличие от охотничьих собак, которые бывали или очень лохматые или неприлично голые, у Белочки была ровная приятная шерстка.

Чик давно приучил Белочку искать еду или какую-нибудь спрятанную вещь. Сначала приучил искать еду, а потом уже, дав понюхать палку, спичечный коробок, карандаш или учебник, вообще любой предмет, достаточно удобный для зубов, он прятал его, а потом говорил: «Белочка, ищи!»

Белочка искала и находила. Еду можно было и не давать нюхать, она ее и так находила. Белочка была умнейшая собака. Если ей сказать: «Белочка, ищи!» — и ничего не давать нюхать, она искала особенно азартно, она уже знала, что ее ждет еда.

Нюх у нее был исключительной силы. Котлету, например, она вынюхивала за тридцать шагов. На этот нюх Чик и надеялся, беря ее на охоту. Правда, Чик слышал, что охотничьи собаки при виде перепелки делают стойку. Он думал, что они подымаются на задние, а то и передние лапы — как цирковые. Нет, Белочка этого не умела. Чик ее никогда не приучал стоять на задних лапах.

Чику почему-то всегда было не по себе, когда собака стоит на задних лапах. Собака, становясь на задние лапы, делалась похожей на униженного человека. Возвышаясь до двуногого существа, она каким-то образом становилась жалкой и униженной. Может быть, эти передние лапки, опущенные, как тряпочки, может, неустойчивость всей ее позы вызывали в Чику ощущение униженности? Чику было ужасно неприятно, когда кого-нибудь унижали. Особенно ему было неприятно, когда унижали животное. Поэтому Чик никогда не учил Белочку стоять

на задних лапах и выклянчивать сахар. Ищи! И тогда ты его сама заработала!

Три дня тому назад, когда Чик окончательно решил во что бы то ни стало сходить на охоту, он срезал хорошую ветку кизила в соседнем школьном саду. Он и раньше делал лук и стрелы и всегда на лук вырезал кизилевую ветку. Считалось, что кизил — самое подходящее дерево для лука. Стрелы Чик сделал из прутьев молодого ореха. Он их вырезал в том же школьном саду. Сад, который охранял старик Габуния, отличался исключительным многообразием фруктовых деревьев. К тщательно обработанным стрелам Чик прикрепил наконечники, вырезанные из крышки консервной банки.

За три дня Чик так натренировался в стрельбе из лука, что в пятнадцать шагах запросто попадал в ту же многострадальную консервную банку, уже до этого лишенную своей крышки.

Вчера Сонькина мать принесла с базара перепелок. Чик попросил Соньку тайком взять одну перепелку из дому с тем, чтобы натаскать на нее Белку, а потом бы вернуть. Сонька принесла перепелку, Чик дал ее понохать Белке и спрятал.

— Белочка, ищи перепелку! — говорил Чик, нажимая на последнее слово, чтобы выработать в ней условный рефлекс.

И Белочка великолепно находила перепелку и приносила ее в зубах.

— Но, Чик, — говорили ему во дворе, — это же мертвая перепелка, а надо, чтобы она находила живую!

— Пока потренируется на мертвой, — бодро отвечал Чик, — а потом будет находить и живую.

Белочка восемь раз находила перепелку и приносила ее Чик в зубах. А на девятый раз, когда она из сада несла перепелку, Сонькина мать вошла во двор и увидела Белку с перепелкой во рту.

— Чик, — радостно обернулась она на Чика, — твоя Белка перепелку поймала!

И тут все дети и жена старого Алихана начали хохотать. Им показалось смешным, что она так сказала. Сонькина мать, хотя и вполне справедливо считалась глупой женщиной, подозрительно посмотрела на Соньку. Сонька, не выдержав ее взгляда, опустила глаза. Потом женщина так же посмотрела на Чика, но Чик проявил силу воли и не дал сбить своего взгляда. Но она все равно догадалась. Очень уж ехидно хохотала жена старого Алихана.

— Моя перепелка! — крикнула Сонькина мать истощенным голосом и, набросившись на Белочку, вырвала у нее из пасти перепелку.

Она подняла ужасный шум и, держа в вытянутой руке перепелку, обращалась к тетушке Чика. Тетушка в это время сидела на веранде второго этажа на своем обычном месте. Она попивала чай и, покуривая, следила за жизнью двора. Сонькина мать кричала, протягивая в сторону тетушки перепелку, словно предлагая ее немедленно обменять на более свежую.

— Ваша Белка мне всю перепелку ислюнявила, — кричала она, — это все Чик! Ваша Белка мне всю перепелку ислюнявила! Зачем мне такая перепелка!

Тетушка спокойно дождалась паузы в ее криках, отхлебнула чай, затагнулась папиросой и, выпуская дым, громко сказала:

— А ты, эфиопка, думаешь, охотничьи собаки в перчатках приносят перепелок?

Хорошо ей тогда тетушка сказала. Конечно, Белочка не только ислюнявила перепелку, она ее слегка поджевала зубами и вымазала в пыли. Но ведь Чик собирался после натаски хорошенько вымыть перепелку под краном и высушить на солнце.

Никто не ожидал, что Сонькина мать так рано вернется домой. Несмотря на это препятствие, Чик считал, что Белка достаточно хорошо натренировалась.

Чик с Белочкой вышел на улицу. Чик всем телом чувствовал бодрую свежесть сентябрьского утра. На востоке прямо над Чернявской горой золотилось облачко, радуясь, что оно раньше всех поймало солнечные лучи.

Чик надо было идти в противоположную сторону. Он знал, что там, где кончается город, но еще не начинается деревня, есть огромная поляна, выходящая к морскому берегу. Он слышал, что там городские охотники охотятся на перепелок и диких голубей.

Не успел Чик дойти до конца своего квартала, как его обогнал фазтон. Лошади, выбивая из мощеной улицы легкую пыль, шли ровной рысцой. Кузов фазтона мерно покачивался. Было бы величайшей глупостью не воспользоваться попутным транспортом. Чик быстро догнал фазтон и уцепился за его задок.

Фазтон проехал мимо греческой церкви и мимо школы, где учился Чик. Ему вдруг пришло в голову, что было бы смешно, если бы директор школы, Акакий Македонович, побежал за фазтоном, чтобы выяснить: это Чик бесplatно катается или он обогнал? И было бы еще смешней, если бы при этом Белочка, не зная, что Акакий Македонович — директор школы, стала бы яростным лаем отгонять его от Чика.

Но, конечно, ничего такого не могло случиться, потому что день был воскресный и в школе никого не было. Почему-то Чик всегда было грустно за школу, когда она стояла вот такая пустая-пустая. Без звонка и детей. Сам-то Чик очень любил выходные дни и каникулы, но ему было грустно смотреть на пустую школу. Ему казалось, что она скучает без детей. Тем более, что его школа и раньше, до революции, была гимназией и за всю свою долгую жизнь здорово привязалась к детям. Чик почему-то это чувствовал.

А между тем Белочка стала волноваться. Она не привыкла, чтобы Чик ехал, прицепившись к фазтону, а она бежала бы рядом. Она несколько раз требовательно взлаяла возле Чика, предлагая ему немедленно слезть. Потом она, по-видимому, решила, что Чик не виноват, что его насильно тащат на этом чуде. Она храбро выбежала вперед и стала облаивать фазтонщика.

— Пошла вон! — услышал Чик хриплый голос фазтонщика и звук щелкнувшего кнута.

Белочка залаяла сильнее, но Чик знал, что кнут ее не достал. Иначе бы она завизжала.

Фазтон ехал все дальше и дальше, и Белочка, делая непродолжительные передышки, упорно его облаивала.

**Скатерть белая залита вином,
Все гусары спят непробудным сном,
Лишь один не спит...**

— красиво спел седок и вдруг добавил: — Свежая барабулька под гудаутское вино хорошо идет. Больше ничего мне в жизни не надо. Не надо мне никакие чебуреки, никакие пенерли. Свежая барабулька, жаренная в собственном соку, и гудаутское вино — больше ничего не хочу!

— Ты не прав, Боря, — мягко возразил второй седок, склоняя его к миролюбию, — я тоже уважаю свежую барабульку под гудаутское вино. Но горячее пенерли — это горячее пенерли. Наши отцы и деды не были дураками, когда любили горячее пенерли...

— Что хочешь со мной делай! — воскликнул первый седок. — Свежая барабулька, вот только что из моря, еще играет, зажаренная в собственном соку, и гудаутское вино!

Чик услышал, как он при этом чмокнул, и понял, что любитель гудаутского вина послал вину воздушный поцелуй. По-видимому, гудаутское вино все еще находилось в достаточно обозримой близости.

— Пенерли, чебуреки, шашлыки — даром не хочу, — продолжал первый, — а, между прочим, хорошо провел стол наш вчерашний тамада! Находчивый! Отвальную, говорит, буду пить из вазы! Крепко сказал! И не только сказал, но и выпил, сукин сын! Интересная личность!

— Что ты, что ты, Боря! — одобрительно зацокал второй седок. — Он вообще застольный, хлебосольный парень! У него и отец был такой же и дед такой! Но ты напрасно обижаешь пенерли. Горячее пенерли...

— Никакого пенерли мне не надо! — весело перебил его первый седок. — Свежая барабулька и гудаутское вино!

**Скатерть белая залита вином,
Все гусары спят непробудным сном,
Лишь один не спит...**

Опять он так красиво запел, что Чик замер от удовольствия. Чик обожал русские романсы, но не знал, что они так называются. Любителей объяснять такие вещи генетической памятью он мог прямо-таки поставить в тупик. Если во времена предков Чика гусары и забредали в горы, то им, конечно, было не до романсов. Да и навряд ли предки Чика, стоя с кремневкой за каменным укрытием, прислушивались, не раздадутся ли со стороны русского лагеря звуки любимых романсов.

Но только Чик сладостно настроился узнать, что же делает этот единственный неспящий гусар, как поющий седок опять оборвал песню. Чик от возмущения чуть не свалился. Нельзя же так!

— Сейчас покушаем жирный хаш, — оборвал песню поющий седок, — выпьем по стопаря и домой! Отдых! Отдых!

— Все же ты напрасно обижаешь пенерли, — проворчал второй седок, — наши деды не были дураками, когда любили горячее пенерли.

— Костя, — грозно воскликнул первый седок, — если ты идешь на принцип, я тоже иду на принцип! Я голову наотрез даю за свежую барабульку, жаренную в собственном соку, и гудаутское вино!

Лошадь цокала копытами, фазтон уютно поскрипывал, а Белочка время от времени лаем напоминала фазтонщику: «Отпустите Чика! Отпустите Чика!»

— Слушайте, — обратился фазтонщик к седокам, — я с ума сойду от этой собаки! Впервые в жизни так долго гонится!

— Не обращай внимания, бичико! — бодро воскликнул тот седок, что пел про гусар. — Собака лает — караван идет! Прекрасная половица!

— Да, но совсем голову заморочила, — проворчал фазтонщик, — лошади тоже нервничают!

Теперь Чик знал, куда они едут. На окраине города был один дом, где по утрам можно было опохмелиться и съесть хаш. Дядя Чика хаживал в этот дом. Да, хаживал.

Наконец фазтон остановился. Чик быстро соскочил с задка и перебежал на тротуар, не замеченный фазтонщиком. Белочка, увидев соскочившего Чика, перестала лаять и побежала к нему. Было похоже, что она гордится своей победой: заставила фазтон остановиться и отпустить Чика.

— Пацан! — крикнул фазтонщик.

Чик сделал вид, что не слышит, и продолжал ров-

ным шагом идти вперед, но уши держал на макушке на случай, если фазтонщик погонится за ним. Белочка семенила рядом.

— Эй, пацан! — еще громче окликнул его фазтонщик.

— Вы меня? — спросил Чик, остановившись.

— А разве здесь есть другие пацаны? — спросил фазтонщик, кивая на пустынную улицу.

— Откуда я знаю, — сказал Чик, голосом показывая, что степень безлюдности улицы его как-то не занимала.

— Чья это собачка? — грозно спросил фазтонщик и издал кнутовищем ткнул в Белочку.

Чик взглянул на Белочку, как бы обнаружив ее только благодаря точной указке кнутовища.

— Первый раз вижу! — сказал он.

По взгляду фазтонщика было видно, что он смутно догадывается, что Чик катался у него на запятках. Чик показалось, что тот не прочь дотащить его до того места, где Чик прицепился к фазтону, но никак не мог вспомнить, в каком месте начала облаивать его Белочка.

— Тогда чего она за тобой пошла? — мрачно спросил фазтонщик.

— Не знаю, — удивился Чик и, взглянув на Белочку, поднял глаза на фазтонщика, — а разве она за мной идет?

— Ладно, бичико, — сказал один из седоков, выходя из фазтона и разминаясь, — береги нервы! Эта собака за тобой тоже бежала! Сейчас покушаем один жирный хаш, выпьем по стопаря и споем «Аллаверды»!

Чик по голосу понял, что это был тот седок, который пел про гусар. Чик пошел дальше, как-то спиной чувствуя, что фазтонщик все еще смотрит ему вслед. Белочка мерно семенила рядом.

Через десять минут Чик вышел на огромный приморский луг, озаренный восходящим солнцем. Местами луг был изрезан овражками, над которыми кустились ежевика, сассапариль и облепиха, выбрасывающая вверх длинные прутья, унизанные желто-маслянистыми ягодами. То там, то здесь виднелись выжженные солнцем коричневые заросли папоротников. Посреди луга угадывалось болотце, обросшее камышами и деревьями.

По лугу ходили охотники, время от времени окликавая своих петляющих в кустах собак. Слышались то одинокие, то взалб, как бы догоняющие друг друга выстрелы.

Чик пошел в сторону болотца, то и дело приговаривая:

— Белка, ищи перепелку!

Белка бежала впереди, иногда принимаясь к травам и кустам.

Они прошли заросли папоротников, и вдруг совсем близко Чик увидел двух охотников. Один из них был с ружьем, а другой держал на руке серого ястреба. Охотники переговаривались.

— Здесь упал, я точно знаю, — сказал тот, что был с ружьем. — Дик, ищи!

И сразу же в колючих зарослях что-то усердно затрещало. Чик понял, что там собака.

— В такие колючки собаку нельзя пускать, — заметил тот, что был с ястребом на руке. Он погладил птицу свободной рукой, показывая, что он-то своего ястреба в такие колючки не пустит.

Ястреб сверкнул желтым глазом, взмахнул крыльями, и колокольчик на его ноге громко взбрыкнул.

— Подумаешь, костюм порвет, что ли, — небрежно ответил тот, что был с ружьем, и опять крикнул: — Дик, ищи!

В зарослях опять усердно затрещало.

— А твоя собака перепелку надыбала,— сказал тот, что был с ружьем, кивая второму охотнику.

Чик заметил рыжую собаку, медленными шагами приближающуюся к зарослям конского щавеля. Она шла, словно с трудом отрывая ноги от земли. Наконец в нескольких метрах от зарослей остановилась, вытянув отвердевший хвост и чуть приподняв переднюю лапу. Чик понял, что это и есть стойка. Охотник теперь держал ястреба, слегка заломив руку за спину. Он тихо подошел к своей собаке и замер, всматриваясь в заросли. Чик показалось, что тот неимоверно долго ждет. Наконец Чик услышал: — Пиль!

Собака бросилась в заросли конского щавеля. Оттуда вырвалась какая-то птица и метнулась в небо. Охотник кинул ястреба вслед, но тот, как-то презрительно пролетев мимо, стал удаляться в сторону моря, быстро и мощно взмахивая крыльями. Чик, напрягая глаза, следил за ним и увидел, что ястреб ушел на далекую чинару.

Потрясенный хозяин ястреба так и застыл с открытым ртом. Второй охотник стал хохотать.

— Вот тебе и «пиль»,— сказал он сквозь хохот,— ястреб ни при чем! Твоя собака стойку делает на трясогузку!

— Ладно тебе! — огрызнулся хозяин ястреба и с ненавистью посмотрел на свою собаку.

Она пробежала метров десять за ястребом, вернулась и сейчас, виновато виляя хвостом, глядела на своего хозяина. Хозяин нагнулся, поднял сучковатую палку и швырнул в собаку. Собака отскочила. Хозяин пошел в сторону чинары, громко ругая свою собаку. Когда он отошел шагов на тридцать, собака снова побежала за ним, но он опять сделал вид, что собирается кинуть в нее камень. Собака отскочила и села, тоскливо глядя на удаляющегося хозяина. Чик стало жалко неудачливую собаку.

Вдруг кусты рядом с Чиком затрещали, и оттуда выпарапалась собака второго охотника, держа в зубах трепыхающегося голубя.

— Ко мне, Дик! — радостно крикнул охотник и сам быстро подошел к своей собаке. — Молодец, мой Дик, молодец, — урчал он, наклоняясь к ней и вынимая у нее изо рта все еще трепыхающегося голубя, — я же знал, что он там упал!

Он разогнулся с голубем в руке и вдруг, небрежно тряхнув рукой, размозил ему голову о приклад ружья и сунул в ягдташ. Чик увидел это было неприятно, но он, сдерживаясь, не выдал своего чувства.

— А ты что, мальчик, пришел охотиться? — неожиданно спросил охотник, как бы на радостях позволяя себе заметить Чика.

— Да,— сказал Чик.

— А разве стрелой можно попасть в перепелку? — удивился охотник.

— Не знаю,— сказал Чик, — с пятнадцати шагов бьет по консервной банке.

— Ну, если твоя собачка получше той, — кивнул он в сторону второго охотника, — может, что-нибудь возьмешь. Попробуй на болоте. Там бывают водяные курочки.

— Хорошо,— сказал Чик, польщенный, что охотник говорил с ним без насмешки.

— Пошли, Дик! — сказал тот и, прошумев сапогами в папоротниках, стал удаляться, но вдруг обернулся и, кивнув в сторону второго охотника, добавил: — Еще часа два провозится со своим ястребом!

Он деловито стал удаляться, и Чик даже по его походке почувствовал, до чего он доволен надежностью опоздания второго охотника.

Чик пошел в сторону болота, время от времени повторяя:

— Белочка, ищи перепелку!

И Белочка усердно искала, петляя впереди и пригнувшись к кустам и траве. Чик вдвигал в тетиву слегка раздвоенный конец стрелы и, не натягивая лука, шел за собакой. Кузнечики так и стреляли из-под ног. Белочка усердно искала перепелок, хотя один раз глуповато подпрыгнула, пытаясь схватить стрелнущего кузнечика, а другой раз погналась за вспыхивавшей бабочкой.

— Белочка, ищи перепелку! — напоминал Чик, нажимая на последнее слово.

И Белочка бежала, нюхом своим прочесывая траву. И вдруг... Чик даже не успел опомниться. Прямо откуда-то у него из-под ног вылетела перепелка и низко-низко полетела над травой трепыхающимся коричневым комом. Чик все-таки успел натянуть лук и навскидку пустить ей вслед стрелу. Он видел, как стрела, сверкнув на солнце, стала догонять перепелку, но через несколько мгновений сбавила скорость и вонзилась в землю. А перепелка улетела, и не думая сбавлять скорости.

Как только Чик выстрелил, Белочка помчалась за перепелкой и стрелой. Стрела вонзилась в землю, Белочка подскочила к ней, выдернула из земли и победно принесла ее Чикю с таким видом, словно все получилось, как они с Чиком задумали.

Чик был ужасно огорчен и неудачей такого хорошего выстрела и тем, что Белочка, не заметив перепелку, пробежала мимо нее, а Чик сам вспугнул ее своими шагами.

— Что ж ты, эфиопка, не почуяла перепелку, — упрекнул Чик, небрежно вырвав у нее из пасти стрелу.

Белочка посмотрела на Чика, приподняв одно ухо, как бы выражая полное недоумение: разве я не принесла тебе стрелу?

— Не стрелу,— сказал Чик сердито и внятно, — как ты могла пропустить перепелку? Пропустить!

Белочка на секунду призадумалась и вдруг весело тряхнула головой и замахала хвостом в знак того, что она ничего не понимает и даже не хочет понимать, но ей все равно хорошо с Чиком. Повернулась и побежала вперед!

— Белочка, ищи перепелку! — говорил Чик, быстро шагая за Белкой и голосом приказывая ей не отвлекаться на мелочи.

Сейчас Белочку нервировали наглые сороки, взлетающие у самых ног и тут же рядом садящиеся на землю. Это, конечно, задевало самолюбие Белки: или ты боишься и тогда улетаешь совсем, или ты не боишься и сидишь на месте. Нет, взлетит и тут же сядет в трех шагах. Наглость!

Иногда Белочка, словно внезапно оглохнув и не слыша окриков Чика, вытянув морду, сентиментально внюхивалась в какие-то якобы родимые запахи, исходящие от якобы знакомых кустов, хотя у Белочки не могло быть никакого знакомства с местными кустами. В такие минуты она напоминала Чикю некоторых тетушкиных подруг (да и тетушку!), которые точно с таким же выражением лица нюхали пустые флаконы из-под духов.

Примерно через полчаса перепелка выпорхнула справа от Чика, но полетела не вперед, а в сторону моря. Чик успел повернуться и пустить ей вдогон стрелу. Стрела красиво взлетела гораздо выше перепелки, но летела точно в ее направлении, так что можно было надеяться, что она сверху накроет перепелку, но, когда стрела пошла вниз, перепелка уже вылетела из-под нее.

Стрела вонзилась в траву возле белого камня, похожего на череп человека, и, покачнувшись, застыла торчком. Белый камень, похожий на череп, и стрела, торчком стоящая возле него, напоминали



поле древней битвы. И Чик уже стал осторожно приискивать глазами, что бы напоминало заржавленный меч, полусгнившее копьё или щит. Но тут на поле древней битвы влетела веселая Белка, схватила зубами стрелу и принесла ее Чик. На этот раз, вынимая у нее из зубов стрелу, он ничего не сказал. Перепелка вылетела в стороне от Белки, и собака имела право ее не унюхать.

Перед самым болотом Белочка подняла ворону, и та летела над землей, лениво колыхаясь, как большая волшебная тряпка. Чик сгоряча принял ворону за коршуна, но вовремя спохватился и мягко отпустил уже натянутую тетиву.

Солнце вовсю сияло, когда Чик подошел к болоту. Его поверхность во многих местах была покрыта грязно-зеленой ряской. Ряска стояла на поверхности болота, как сливки на молоке. Чик ужасно любил сливки, но ряска не вызывала у Чика никакого аппетита. Она унижала сливки этим глупым сходством. Если болотную воду принять за болотное молоко, то ряска — его сливки. Какое молоко, такие и сливки.

Бывало, тетушка вскипятит молоко и оставит его в кастрюле остывать. Чик, если тетушка куда-нибудь отходила, подойдет и ложкой, а то и пальцем снимет сливки с молока и слижет их. Ничто в мире так охотно не снимается, как пенка с молока. Чик чувствовал, что пенка так и ждет, кто бы ее снял с молока. Вот Чик ее и снимал.

А тетушка потом, бывало, подойдет к кастрюле и горестно усмехнется:

— Современное молоко! Разве такое молоко было раньше? Бывало, ложкой не проткнешь сливки!

Чик понимал, что насчет протыкания ложкой — это чистая липа. Хотел бы он посмотреть на сливки, которые нельзя проткнуть ложкой или, скажем, пальцем. Чик до того любил сливки, что готов был сломать палец во время протыкания сливок, лишь бы они были такие плотные. Но Чик прекрасно знал, что такие сливки в природе не существуют.

Но вот что интересно. Если Чик не успевал снять сливки с молока, потому что тетушка все время крутилась где-нибудь рядом, и она, в конце концов, переливала молоко из кастрюли в банки, чтобы сделать мацони, она при этом ничего не говорила. Сливки на месте, а она молчит. Хотя бы она один раз при этом сказала:

— Оказывается, и современное молоко иногда бывает жирным!

Нет, молча переливает себе, и все. Если приглядеться, ничего в мире нет смешнее некоторых взрослых. Только не ленись приглядываться.

Там, где не было ряски, в болотной воде отчетливо отражался противоположный берег, обросший ежевичником, восклицательными знаками камышей и ольховыми деревьями. Рядом росли мускулистый самшит и мускулистый дубок. Было похоже, что они, напрягая узловатые ветви, соревнуются, кто из них



покрепче. Но Чик знал, что самшит — самое крепкое дерево в мире. Дуб занимает не то второе, не то третье место.

Чик удивился, что отражение кустов и деревьев в воде выглядит красивей, чем они сами на берегу. Чик призадумался, но не понял, почему это происходит.

Вообще Чик задумывался над многими вопросами, на которые взрослые ему не могли ответить.

Вот что его волновало в последнее время. Чик знал, что подсолнух всегда следит за солнцем своей золотистой шапкой, и это хорошо. Но вот что делает подсолнух, когда начинается солнечное затмение? Опускает головку, думая, что солнце уже закатилось, или ждет, когда затмение кончится? Если ждет, откуда он знает, что это затмение и оно скоро кончится? Это же страшно интересно!

Но ни один из взрослых не мог ему ответить на этот вопрос. Некоторые добродушно смеялись, когда Чик задавал им этот вопрос, а некоторые тоскливо замыкались, думая, что Чик хочет поймать их в ловушку. И какая тут может быть ловушка, и чего они все время боятся какой-то ловушки? Глупо!

Чик этой весной вырастил у себя на огороде три великолепных подсолнуха. И все три дружно повора-

чивали свои золотые шапки в сторону солнца. И тут все было правильно. Но как проверить их на солнечное затмение? Где его взять? Это уже от Чика не зависело.

Когда Чик подошел к самому илистому берегу, в воду посыпались лягушки. Точно так же пловцы во время соревнования шлепаются с мостков в воду. И точно так же некоторые из них шлепаются с опозданием.

Чик шел вдоль илистого берега и все время смотрел на противоположный, где кусты ежевики и сас-сапарили иногда ниспадали к воде. Ему все время мерещилась курочка, выходящая из воды, хотя Чик очень трудно было совместить курицу с водой. Так как Чик никогда не видел водяной курочки, он ее представлял в виде обычной курицы.

И вдруг не из воды, а из ежевичника вышла замызганная птица величиной с цыпленка. Чик и не знал, что подумать, но он понял, что это дичь и надо в нее стрелять. Замызганная птица ходила по бережку, что-то выклеивая из земли и то и дело вскидывая головку, кажется, тоже замызганную, и к чему-то прислушиваясь.

Чик вдруг подумал, что Белочка ее заметит и лаем испугнет. Поэтому он, стараясь скрыть от Белоч-

ки свое охотничье волнение, осторожно прицелился, натянул тетиву до отказа и, уже чувствуя, что у него все начинает плыть перед глазами, выстрелил.

Стрела перелетела болотце и вонзилась в землю в нескольких сантиметрах от водяной курочки, которая ничуть не испугалась. Она посмотрела на стрелу и, обратив внимание на блеск верхней части наконечника, высовывавшегося из земли, клюнула его. После третьего клевка стрела повалилась, и курочка, потеряв к ней интерес, снова стала искать на земле корм. Чик был несколько уязвлен таким неуважительным отношением к его стреле. Он выхватил из-за пояса вторую стрелу и только вложил ее в тетиву, как курочка вошла в заросли камыша. Чик ждал, ждал, ждал, но она больше не вышла.

Надо было достать стрелу. С того берега к ней невозможно было подойти, настолько он был заключен. Чик посмотрел на Белку, Белка посмотрела на Чика. Чик стал осторожно подходить к Белке, чтобы схватить ее и заставить плыть за стрелой. Чик не был уверен, что она, доплыв до того берега, догадается вернуться со стрелой. Все-таки слишком много времени прошло с тех пор, как он выстрелил. Но надо было попробовать. Чик решил, что если Белка все-таки не догадается взять стрелу, то он на ее глазах пустит вторую стрелу, которая вонзится в землю рядом с первой, и тогда, возможно, Белка догадается прихватить и первую стрелу. Чик самому было ужасно неприятно лезть в болотную воду.

Чик поймал Белку и сразу же по ее сопротивлению почувствовал, что она не хочет лезть в болотную воду. Но до чего же умная собака! Он ей еще ничего не сказал, а она уже все знает. Чик подошел с ней к самой воде, поставил ее в воду и приказал:

— Белка, плыви!

Белка стояла в воде, раздумывая, плыть или не плыть.

— Плыви, плыви! — взбадривал ее Чик.

Белка постояла, постояла, потом неохотно лакнула несколько раз болотную воду и, решительно повернув, вышла на берег и села в стороне от Чика. Она посмотрела на Чика и с отвращением стряхнула с морды капельки воды, словно сказала Чик: «По такой воде не то что плыть, ее даже пить неприятно!»

Чик опять поймал Белку и, разувшись, внес ее в воду и подтолкнул в направлении того берега. Белочка покорно проплыла несколько метров и вдруг свернула, стараясь выйти на землю подальше от Чика. И Чик понял, почему она проплыла вглубь на несколько метров. Если бы она сразу повернулась, Чик ее остановил бы. А так, отплыв на несколько метров, она уже могла маневрировать. Дьявольски умная собака!

Чик понял, что она не поплывет, и разделся сам. Он стал входить в теплую неприятную воду, и, чем глубже входил, тем труднее было выдирать ноги из илистого дна. Чик слышал, что ил может всосать человека, и поплыл, не дожидаясь, пока вода дойдет ему до горла. Чик быстро переплыл болото, даже внутри воды стараясь как можно меньше соприкасаться с водой. Один большой остров ряски он брезгливо оплыл, а другой, маленький, собрав всю свою волю, отплеснул от себя. Ничего себе сливки!

Чтобы ил при выходе из воды не всосал его в свои недра, Чик доплыл до самой кромки болота, уже животом чувствуя бархатистое коварство мягкого дна. Он вылез из воды, весь измазанный илом. Чик поднял стрелу и уже хотел плыть назад, когда заметил, что ежевичник усеян крупными спелыми ягодами. Такого огромного количества ежевики Чик

никогда не встречал на одном месте. И вдруг он догадался, что стоит на такой земле, где никогда не ступала нога человека. Кроме первобытного, который тоже мог переплыть болото, чтобы достать свою стрелу.

Чик отмыл руки и приступил к ежевике, думая: до чего приятно ее есть там, где ни разу не ступала нога человека. Кроме первобытного. Но его можно не считать. Время от времени он вспоминал о водяной курочке и поглядывал в камыши, но ее не было видно. Срывая и стряхивая на ладонь мягко-увесистые и уже теплые от солнца ежевичины, Чик поглядывал на тот берег, где возле его одежды сидела Белка. Она поняла, что Чик что-то ест, и начала проявлять беспокойство. Чик набрал горсть ежевики и очень аппетитно отправил ее в рот, при этом громко и сладостно чмокая, чтобы Белка слышала, как он наслаждается. Он и к ежевике ее приучил, она ее очень любила.

Белочка несколько раз нетерпеливо подвыла, давая знать, что она чувствует себя обделенной. Наконец не выдержала и подошла к воде. Она зашла по колено в воду и посмотрела на Чика. И Чик, чтобы придать ей больше смелости, высыпал в рот полную горсть ежевики и громко зачмокал, показывая неимоверность своего наслаждения. И Белка уже хотела поплыть, но опять два-три раза лакнула воду, сразу поскущела и, забыв про ежевику, вышла на берег. Она посмотрела на Чика, словно хотела сказать: «Как можно плыть по воде, которую даже пить противно!»

— Ну и сиди там! — ответил Чик сердито и, уже больше не оглядываясь, продолжал есть ежевику.

Солнце слегка припекало, глинистый ил на теле Чика высох и как-то забавно стягивал кожу. Наевшись ежевики и жалея, что ее еще так много здесь остается, он взял в руки стрелу, подумав, переложил ее в рот, прикусив за середину древка, вошел в воду и сразу поплыл, чтобы не иметь дело с болотным илом, всасывающим живых людей. Выйдя на берег, он бросил стрелу и отмыл тело.

Чик сел возле своей одежды и Белочки. Было приятно высушаться на солнце, слушая далекие выстрелы. Они раздавались так странно. Вдруг лихорадочно: шлеп! шлеп! шлеп! — и все тихо. Потом редкие, одиночные, как бы из последних сил: шлеп! и еще раз еле-еле: шлеп! И ни звука. Кажется, все навсегда кончилось. А потом опять. И снова тишина. Только теплое солнце, запах болота и вянущих трав. Чик было хорошо.

Чик так любил море и всегда жалел народы, у которых нет теплого моря, чтобы летом купаться. Он, конечно, знал, что многие приезжают к ним купаться, но он прекрасно понимал, что все приехать не могут. И он жалел их. А теперь после купанья в болоте, высушая на теплом солнышке, он подумал, что, пожалуй, в болотной воде тоже можно купаться. Особенно, если очистить ее от ряски. Чик подумал, что если поверхность болота очистить от ряски, посыпать берег песком и немного подсолить болотную воду, чтобы она имела вкус морской воды, то, пожалуй, получится неплохо. Конечно, болото с морем никак не сравнишь, но если очистить его от ряски, посыпать берег песочком и посолить воду, вполне можно купаться все лето.

После дождей, сообразил Чик, вода, конечно, будет не такой соленой. Значит, после дождей надо ее снова подсаливать, но нельзя пересаливать. А то от этого будет в глазах резь. Чик иногда уставал жалеть народы, не имеющие близости теплого моря, и сейчас рад был найденному выходу. Главное — начать с ряски, которая мозолит глаза похо-

жестью на сливки, а на самом деле никакой похоти нет.

Чик обратил внимание на мошкар, столбиком стоящую над водой и толкующую внутри своего столбика. Чик вдруг почувствовал, до чего им весело. Гreet солнышко, кругом все свои, и они толкуются себе и при этом сами из своего столбика не выходят.

Иногда невидимым дуновеньем снесет их в сторону или приподымет, и они все внутри столбика перемешиваются. И вот что забавней всего — сама мошкар не замечает, что все перемешалось, что рядом с одними мошками уже танцуют совсем другие мошки, а они толкуются себе, как будто ничего не изменилось! Глупышки, толкуются себе, и все!

Вдруг Чик заметил, что по болотцу гуськом плывут утки. Они плыли в узком проходе между двумя большими кусками ряски. Казалось, караван судов плывет между ледовыми полями, рассеченными ледоколом.

Чик встрепнулся от волнения, решив, что это дикие утки. Их было семь штук. Они были серые, и из хвоста каждой торчало белое перышко. Но они плыли так спокойно и так беззаботно, что Чик сказал себе: «Не будь смешным! Это домашние утки».

Доплыв до воды, свободной от ряски (ряска всем мешает), они стали нырять, смешно переваливаясь и мелькая красными лапками. Казалось, они изо всех сил вкапываются в воду, а вода их не пускает. Вкапываются, вкапываются в воду, вот-вот докопаются до корма, а вода их не пускает, и они вытягивают голову из воды, чтобы отдышаться.

Чик здорово удивился, что утки так далеко забрели от жилого дома. Продолжая за ними поспешивать, он вытряхнул из сандалий травяную труху и стал одеваться. Вдруг одна утка встрепенулась, взмахнула крыльями и полетела над водой, медленно набирая высоту. Следом — остальные, и через минуту они летели в сторону моря.

Тут-то Чик докумекал, что прохлопал диких уток. Если б он знал! Ведь они так спокойно проплыли мимо него. Он мог запросто стрелой попасть в любую из них! Но теперь они черными точками мелькали над морем.

Чик горестно повздыхал, приладил две стрелы к поясу и, взяв на изготовку лук с одной стрелой, пошел дальше. На охоте, подумал Чик, всегда надо ожидать дичи, нельзя расслабляться и думать о народах, живущих вдали от теплых морей, и соображать, как бы их приспособить к болотам. Всему свое время!

— Белка, ищи перепелку! — говорил Чик, стараясь сам не отвлекаться и не давать отвлекаться Белочке.

Они довольно долго шли и шли, но перепелки почему-то не попадались. Становилось все жарче и жарче, и уже чувствовалось дыхание разогретого моря.

Чик остановился под ореховым кустом и стал наблюдать за двумя охотниками, стоявшими под сенью дикой яблони. Чик понял, что они ждут голубей, потому что они не выходили из-под дерева и время от времени посматривали в ту сторону, откуда налетали перелетные голуби.

Чик долго из-за орешника следил за ними. Ему хотелось посмотреть на голубиную охоту. Один из них был высоким и красивым. Другой был маленький и черненький. Высокому, наконец, надоело высматривать голубей, которые все не налетали, и он, как палку, положил ружье на плечи и лениво подвесил руки с обеих сторон.

Он о чем-то стал переговариваться со вторым охотником, и разговор постепенно оживлялся, и голоса делались все громче и громче. По некоторым

словам, долетавшим до Чика, он понял, что они говорят совсем не об охоте. Но о чем они говорят, Чик не мог понять.

— Честное слово, — вдруг громко сказал высокий и красивый, — был бы у меня кусок золота, ушел бы работать простым прорабом. Каждый месяц отрезал бы кусочек к зарплате... Так же нельзя работать! Присылают безграмотных инженеров! Как я им могу доверять!

Чик ужасно удивился, что инженеры могут быть безграмотными. В той среде, где жил Чик, считалось, что инженеры — самые культурные люди. Детям говорили: «Учись хорошо, инженером будешь!» Но чтобы инженер не мог ни читать, ни писать, такого Чик и не слыхивал. И в то же время по голосу этого высокого охотника Чик точно знал, что он не шутит. Неужели вредители? Конечно, вредители! Они везде вредят! Но почему же, мелькнуло у Чика в голове, прежде чем принимать инженера на работу, не сказать ему: «А ну прочти эту страницу! Только громко и с выражением!»

И липовый инженер сразу засыпается! Но, может быть, вредители не разрешают проверять безграмотных? Непонятно.

— Летят! — вдруг спохватился маленький, и оба, вскинув ружья, плотнее прижались к яблоне.

Чик посмотрел в ту сторону, откуда должны были лететь голуби, но ничего не увидел, кроме дуги залива, белого столба маяка и сизо-золотистых холмов. И вдруг заметил над холмами какие-то точки, которые приближались, дрожа и сдвигаясь то вправо, то влево. Но почему, уже волнуясь, подумал Чик, охотники уверены, что голуби пролетят именно над ними?

Дрожащие в небе точки, дрожа и непрерывно перемещаясь, приблизились и приблизились. Когда они были уже метрах в ста от яблони, вдруг раздалась пальба, и голуби сперва заметались на месте, а потом, не долетев до яблони, резко свернули на север, но и там их встретили лихорадочные выстрелы, и птицы опять заметались на месте и вдруг всей стаей пошли в сторону яблони.

Только они долетели до яблони, как из-под нее раздалась близкие, оглушающие выстрелы: «Бах! Бах! Ба-бах! Бах!» Голуби опять заметались в небе, и Чик натянул лук и выстрелил в того из них, что был поближе к нему. Не успела стрела подняться до той высоты, на которой трепетал голубь, как он плеснул в сторону, а другой голубь рванулся на стрелу. На миг стрела и голубь слились в одной точке, но в следующее мгновение голубь пролетел, не задетый стрелой, и она, повернувшись, пошла вниз, сверкая на солнце наконечником.

Снова из-под яблони раздалось несколько выстрелов, и один голубь кувыркком пошел вниз.

— Мой! — крикнул маленький охотник и вслед за своей собакой побегал к зарослям папоротника, куда хлопнулся голубь.

Стая пролетела дальше, и через несколько минут послышалась отдаленная пальба. Высокий красивый охотник стоял под яблоней, озираясь. Он явно пытался понять, откуда взялась эта взвизгавшая стрела. Чик вышел из-за кустов, чтобы успокоить его.

— Ах, вот кто это! — сказал он, улыбувшись Чикку. — Ты, кажется, стреляешь лучше меня. А ну, покажи свой лук!

Чик подошел к нему и по дороге, нагнувшись, поднял свою стрелу. Она на этот раз не смогла вонзиться в сухую, твердую землю. Было бы, конечно, красивей, если б она торчала из земли.

— Ты что, всегда так охотишься? — спросил он, улыбаясь.

Сейчас он прислонил свое ружье к стволу яблони

и стоял, заложив руки за ремень патронташа, свободно висевший у него на поясе. Чик заметил, что из ягдташа у него ничего не торчит.

— Нет,—сказал Чик, подавая ему лук,—в первый раз.

— В первый раз?—удивился он, рассматривая лук.—Я видел, с каким точным опережением ты послал стрелу. Ты будешь настоящим охотником. Как тебя зовут?

— Чик,—сказал Чик.

— Чик?—удивился охотник.

Началось, подумал Чик. Дело в том, что многие удивлялись его имени. И это было неприятно. И даже больно, когда начинали насмешничать и говорить, что такого имени на свете вообще не существует. Чик потихоньку наводил справки насчет своего имени и однажды в пионерлагере даже встретил мальчика, которого звали тоже Чик.

Чик захотелось иметь его под рукой, и он попытался переманить его в свою школу, обещая показать на горе такое место, где можно раздобыть мастичную жвачку и где есть дикое семейство рыжих, живущее в пещере. Чик даже слегка преувеличил дикость семейства рыжих, назвав их семейством первобытных людей. Но это был до того вялый Чик, что он даже не удивился семейству первобытных людей.

Потом, убедившись, что этот мальчик бегают плохо, еле-еле плавают и ни разу не залез ни на одно дерево, Чик решил, что даже лучше, что тот остается в своей школе. Подальше, подальше. Еще будут путать с ним и спрашивать: «Это какой Чик?» Но все-таки Чик был рад, что встретил его. Мальчик-то плохой, зато он может служить доказательством из самой жизни, что такое имя существует на свете.

— Да,—сказал Чик, стараясь говорить просто, непринужденно,—я знал одного мальчика, его тоже звали Чик.

— Чик!—вдруг крикнул высокий красивый охотник своему товарищу.—Твой тезка пришел к нам в гости!

В это время маленький чернявый охотник, взяв из зубов своей собаки голубя, совал его в ягдташ.

— Не может быть!—обернулся он и быстро взглянул на Чика узкими китайчатыми глазами.

— Да,—посмеиваясь, сказал высокий,—иди покажись.

Он передал Чиклу лук, чтобы тот встретил второго Чика в полном вооружении. Так показалось Чиклу. Второй охотник подошел к Чиклу и серьезно протянул ему руку.

— Будем знакомы, Чик,—сказал он просто.

— Чик,—сказал Чик, протягивая руку и внимательно глядя ему в глаза.

Глаза у него были хоть и китайчатые, но вполне серьезные.

Чик взглянул в глаза высокого охотника, но тот, как и раньше, продолжал посмеиваться. Так что Чик никак не мог понять, разыгрывают его или нет. Все-таки было странновато, что взрослого человека называли Чиком.

— А на работе как вас зовут?—осторожно спросил Чик.

— На работе?—переспросил он и задумался.—Порядочные люди называют меня Чичико Теймурович. А вот такие испорченные люди, как этот дядя, пользуясь тем, что они учились со мной в школе, прямо на собрании говорят: «Чик, у нас план горит!»

Тут высокий, что-то вспомнив, начал хохотать.

— Ох, Чик,—сказал он, обращаясь к Чиклу,—ес-

ли б только я один! Я тебе сейчас расскажу такой смешной случай, что ты просто обхохочишься...

— Нечего ребенка портить!—строго перебил чернявый. Ему было неприятно, что товарищ хочет выставить его в смешном виде.

Чик очень хотелось узнать про этот случай.

— При чем тут ребенок!—хохотал большой красивый охотник.—Просто интересный случай. Слушай, Чик, ты поймешь, в чем соль. Если уж ты пускаешь стрелу с таким точным опережением, ты поймешь, в чем соль. Однажды к Чичико Теймуровичу, нашему главному инженеру, пришла на работу жена. Секретарши не было, и она прямо вошла к нему в кабинет. Сидит, разговаривает с мужем. И вдруг влетает секретарша...

— Не порть мальчика!—перебил его чернявый, но Чик показалось, что его китайчатые глаза маслянисто улыбаются.

— При чем мальчик!—сквозь хохот воскликнул рассказчик и, взглянув на Чика, продолжил:—Вбегает секретарша и, не заметив жены, прямо с порога кричит: «Чик, главбух наотрез отказался!» И тут жена, услышав такое, хватает графин и швыряет в секретаршу со словами: «Какой он тебе Чик, финтифлюшка!»—и еще кое-что добавила. Графин, слава богу, в стенку и вдребезги. Шум, гам! Я прибегаю и еле успокаиваю его бедную жену. Она в предобморочном состоянии. «Воды!»—кричу секретарше. А она мне кивает на его жену: «Она графин разбила! Нет воды!» Ты представляешь, Чик?—Да,—сказал Чик,—очень смешно... Это был последний графин?

Тут оба охотника стали хохотать, как сумасшедшие, а большой сквозь хохот кивал Чиклу головой: дескать, ты прямо в точку попал. Продолжая смеяться, большой охотник присел, прислонившись к столу яблони и знаками показывая, чтобы Чик сел рядом. Отсмеявшись, он стал вытаскивать из ягдташа бутерброды, помидоры и огурцы. Присел и маленький охотник, осторожно положив рядом с собой двустолку и сняв с пояса флягу.

— Когда я увидел, с каким опережением летит его стрела,—сказал большой охотник, протягивая Чиклу бутерброд,—я сразу понял—у этого парня есть на плечах голова. Ты видишь, как он тебя раскусил?

Все стали есть бутерброды с колбасой. Чиклу всякая колбаса казалась очень вкусной, потому что в доме Чика по мусульманскому обычаю не ели никакой, подозревая всякую колбасу в связях со свининой. Чик ел бутерброд и хрустел огурцом, а помидоры не брал как бы по рассеянности.

— Ты что не берешь помидоры?—заметил большой охотник.

— Сегодня не хочется,—сказал Чик как можно проще.

Чик все хотел спросить у него насчет безграмотных инженеров. Но пока ему это было как-то неловко. Потом, когда оба охотника несколько раз приложились к фляге, Чик осмелился.

— Вы говорили,—обратился Чик к большому охотнику,—что вам присылают безграмотных инженеров. Их присылают вредители?

Охотники переглянулись.

— Эх, Чик,—сказал большой охотник,—если бы вредители! Безграмотных балбесов нам присылают некоторые институты.

— И они не умеют ни читать ни писать?—поразился Чик.

Охотники опять переглянулись, и большой спросил у маленького:

— Как ты думаешь, наш новый начальник участка может читать и писать?

— Не знаю,— задумчиво пожал плечами маленький,— под зарплатой подписывается аккуратно. Может, он ее рисует?

— Пожалуй, рисует,— согласился большой охотник.

И вдруг Чик понял, что они его разыгрывают. Как-то сразу понял, и все! Он понял, что инженеры на самом деле умеют читать и писать. Тогда в чем дело?

— Значит, вредители ни при чем? — спросил он, стараясь не раздражать взрослых назойливостью, но и не дать им увильнуть от правды.

— Запомни, Чик,— сказал большой охотник и взглянул на него печально и серьезно,— невежество и недобросовестность — вот самые страшные вредители.

— Как так? — поразился Чик.

Он понял из его слов, что настоящих вредителей как бы и нет совсем, а есть глупость и лень. Чик и сам прекрасно знал, что есть глупость и лень. Но он считал, что есть и страшные вредители. А если вредителей нет, а есть только глупость, получалось как-то неинтересно, негероично, скучно получалось.

— Да, да, милый Чик,— сказал большой охотник и приобнял его,— невежественный инженер, не справляясь со своей работой, любит поговорить о вредителях. А недобросовестный рабочий ворует цемент, доски, все, что плохо лежит, и тоже любит поговорить о вредителях. Мы же строители, у нас все как на ладони.

— Как так,— снова удивился Чик,— а кто отравляет консервы?

— А ты ел отравленные консервы? — спросил большой охотник.

— Нет,— сказал Чик,— но я слышал, что многие люди отравлялись.

— Я тоже не ел, но слышал,— сказал большой охотник,— и никогда не видел людей, отравленных консервами.

Чик тоже не видел людей, отравленных консервами. Он напряг все свои способности к здравому соображению и сказал:

— Отравленные умерли, поэтому мы их не видим.

— Что-то я не слышал,— улыбнулся Чик большой охотник,— чтобы кто-нибудь из умирающих в своем завещании написал: умираю от консервов.

Слово «завещание» Чик встречал в книгах. Он знал, что это заявление, которое пишет умирающий человек. Когда человек в последний раз перед смертью пишет заявление, оно называется — завещание.

— Выходит, совсем нет вредителей? — спросил Чик, чувствуя, что жить становится довольно скучно.

Чик надеялся разоблачить хотя бы одного вредителя и притом в недалеком будущем. Он даже знал кого — собаколова.

— Ну, как тебе сказать, Чик,— проговорил маленький охотник, вставая и подзывая собак, чтобы раздать им остатки бутербродов,— наверное, встречаются отдельно взятые вредители...

— Но мы их не видели,— скучновато закончил маленький охотник.

Чик незаметно, но очень внимательно проследил за ним, чтобы убедиться, честно он собакам раздает еду или обделяет Белочку. Нет, он поровну раздал собакам остатки хлеба и колбасы, и Чик стало стыдно за свои подозрения.

— Дай-ка я попробую выстрелить из твоего лука,— сказал маленький охотник, и Чик с удовольствием вручил ему лук и стрелу.

Как хорошо, что он не заметил его подозрительные взгляды, как хорошо!

— Тугая,— уважительно сказал маленький охотник, натянув тетиву.

— С пятнадцати шагов в консервную банку бьет без промаха,— доложил Чик.

Маленький охотник вложил стрелу в тетиву и стал поводить луком, не зная, во что ударить. Но вот он поднял лук и нацелился в самое красное яблоко на вершине яблони. Чик сразу понял, что он целится именно в это яблоко. Стрела просверкнула, впилась в яблоко, хищно качнувшись, словно хотела поглубже в него впитаться, и, не отпуская его, вместе с ним полетела на землю. Она даже на земле его не отпустила!

— Вот это выстрел! — сам себя похвалил маленький охотник и, подскочив к стреле, приподнял ее и в шутку откусил яблоко прямо со стрелы, как с вилки.

Но тут большой охотник подскочил к нему и отнял стрелу и лук. Он выбрал глазами яблоко, нацелился и, хотя благодаря своему большому росту был гораздо ближе к нему, чем его товарищ к своему яблоку, промахнулся.

Маленький охотник, доедая свое яблоко, стал хотеть над ним, но большой охотник, наконец, с третьего выстрела сбил яблоко. И тут маленький охотник отнял у него лук и стрелу и снова сбил яблоко с первого выстрела.

И Чик было так приятно глядеть, как эти взрослые дяди вырывают один у другого лук и веселятся, как дети. И Чик знал, что они любят друг друга, хотя все время подтрунивают друг над другом. Они уже сбили много яблок, и Чик хрустел яблоком, и сами они хрустели яблоками, и Белочка грызла яблоко. И только охотничьи собаки, обиженные и напуганные падающими яблоками, уселись в сторонке, неодобрительно поглядывая на своих хозяев.

Наконец, они насытились игрой (яблоками тоже), и большой охотник, возвращая Чиклу лук и стрелу, сказал:

— Спасибо, Чик. Удовольствие — лучше всякой охоты.

Чик был тронут.

— Чик, твоя собака яблоко ест! — удивился маленький охотник, только что заметив Белку, грызущую яблоко.

Поздновато заметил. Белка уже грызла второе яблоко, придерживая его одной лапой. На земле, конечно.

Это были зрелые, вкусные яблоки. Если яблоко было зеленое, Белка от силы съедала одно. А зрелых яблок она могла съесть несколько. Из этого Чик заключил, что у собаки, как и у человека, бывает оскомина.

— Да,— сказал Чик,— она ест все фрукты. Яблоки, груши, инжир, виноград.

— Ну и собака! — удивился маленький охотник, и вдруг его маслянистые, китайчатые глаза лукаво залучились. — Ах, Чик, если б ты знал, какая у меня была охотничья собака! В мире больше нет такой собаки. И однажды на охоте я ее потерял. Зову, зову, ищущу, ищущу — нет, затерялась. И вдруг через три года охочусь в тех же местах и встречаю ее! — Она одичала, но узнала хозяина! — воскликнул Чик.

— Нет,— печально признался маленький охотник,— все было гораздо хуже. Я увидел, ты представляешь, Чик, скелет моей любимой собаки, делающий стойку на мертвую перепелку! Оказывается, когда я ее потерял, она нашла перепелку, и, сделав стойку, три года ждала меня!

— Это... это гениальная собака! — воскликнул Чик, пораженный неимоверной красотой верности своему долгу.

— Да, Чик,— повторил маленький охотник,— три года она ждала, когда я подойду с ружьем и возьму перепелку.

Чик так живо и так любовно представил картину неимоверной красоты верности своему долгу, что ему захотелось внести в нее точность.

— Нет,— сказал Чик уверенно,— ждала она дней десять, а потом умерла с голоду... Так, бывает, часовой замерзает на часах...

Чик на мгновение подумал, что умершая от голода собака должна была свалиться. Но потом решил: вполне возможно, что она продолжала стоять на ногах. На четырех, хоть и мертвых ногах, вполне можно устоять. Еще живая, столько дней стоя на одном месте, она нашла самую лучшую точку равновесия. Чик до того был захвачен неимоверной красотой подвига собаки, что ему не приходило в голову подумать: а чего, собственно, ждала перепелка?

— Да, Чик, вот какие бывают собаки,— вздохнул маленький охотник, а потом добавил: — Ты своей стрелой доставил нам столько удовольствия, что я хочу дать тебе поохотиться с ружьем.

У Чика захватило дух. Воздух прямо застрял в груди.

— Ты когда-нибудь стрелял из ружья?

— Только в тире,— выдавил Чик застрявший в груди воздух.

— В тире это не то,— сказал маленький охотник и подал Чику свою двустволку.

Чик впервые взял в руки охотничье ружье и сразу же почувствовал его нешуточную, смертоносную тяжесть.

— Только вот что,— предупредил его маленький охотник,— все время держи ствол подальше от себя. Целиться ты умеешь. Увидишь дичь, нажимай на спусковой крючок... Новичкам везет. Недаром ты диких уток заметил на болоте. Здесь они редко садятся...

Чик успел рассказать охотникам о том, как он стрелял в водяную курочку и увидел диких уток.

— В этих местах иногда появляется черный лебедь,— продолжал маленький охотник,— он прилетает с моря... Это очень осторожная птица... Но новичкам везет, кто его знает...

— А куда идти? — спросил Чик, балдея от счастья и уже уверенный в глубине души, что ему повезет.

— Прямо в сторону моря,— сказал маленький охотник,— он иногда тут появляется... Особенно в папоротниках...

Чик пошел вперед. Он с трудом держал тяжелое ружье. Белочка выскочила вперед. Чика это нервировало, но сейчас прогонять ее было бы слишком суетливо. Он боялся, что Белочка, не зная, как себя вести с черным лебедем, вспугнет его. Или, чего доброго, сам он сгоряча заденет ее какой-нибудь дробинкой.

Чик шел и шел и все время думал о том, чтобы помнить о местонахождении Белочки во время выстрела в черного лебеда. Не горячиться!

И вдруг он увидел черного лебеда. И главное, в стороне от Белочки. Высунув длинную шею из папоротников, лебедь стоял в тридцати шагах от Чика и прислушивался к чему-то.

Чик нагнулся и, еле удерживаясь на ногах — тяжесть ружья так и тянула ткнуться носом в землю, — сделал еще шагов десять и распрямился. Лебедь все еще стоял над папоротниками, вытянув шею и к чему-то прислушиваясь. Чик приложился к ружью, прицелился, взял пониже шеи лебеда, там, где в папоротниках скрывалось его тело. И одновременно думая о том, что нельзя торопиться, чтобы не промазать, но и нельзя медлить, потому что Белочка

может набежать, стал нажимать спусковой крючок. Он нажимал, испуганно удивляясь, что выстрела все нет и нет, а потом вдруг как бабахнуло!

Вместе с выстрелом раздался лай Белки и хохот бегущих к нему охотников. Чик ничего не мог понять. Лай, хохот, бегущие шаги, а лебедь как стоял, так и стоит! И вдруг Чик вспомнил, что есть еще и второй ствол, и заторопился, чтобы выстрелить до того, как прибежит Белка. И он прицелился еще раз и, уже ничего, кроме пьянящего азарта, не испытывая и уже совершенно не чувствуя тяжести ружья, бабахнул второй раз.

И опять лебедь стоит, как замороженный. Прибежала Белка, неистово лая на ружье, прибежали хохочущие охотники, а Чик ничего не мог понять и только повторял:

— Вон лебедь! Два раза! Не улетает!

— Пойдем посмотрим,— сказал маленький охотник, и они подошли к тому месту, где стоял лебедь.

И вдруг сквозь расступившиеся папоротники, как в бредовом сне, Чик увидел, что нет никакого лебеда, а есть старая перевернутая коряга, торчащая в небо одним корневищем, изогнутый конец которого Чик издавна принял за шею лебеда.

— Не обижайся, Чик,— воскликнул маленький охотник, пригибаясь к коряге и ища на ней следы его выстрелов,— все охотники покупаются на этом. Ты не первый!

— Но ведь корень совсем не похож на шею черного лебеда,— закричал Чик, пораженный такой необъяснимой ошибкой,— он даже не черный, а коричневатый!

— Все охотники покупаются на этот розыгрыш,— повторил маленький охотник, показывая Чику на следы свежих дробинок.— Четыре дробинки. Неплохо!

Чик смотрел на корягу, всю изрыбленную дробинками, и никак не мог отрешиться от мысли, что с ним сейчас случилось какое-то чудо. И хотя в первую минуту он как-то смутился и даже обиделся на обман, но теперь, узнав, что многие охотники стали жертвой этой шутки, перестал обижаться. Он и раньше слышал, что охотники подшучивают друг над другом. Но ощущение пережитого чуда не проходило. Как, как он мог ошибиться?!

И когда они пошли назад, Чик оглянулся с того места, откуда он стрелял, и поразился, что теперь в корневище, торчащем над папоротниками, он никакого сходства с лебедем, и тем более черным, не видит. Чик подумал, что если бы у него спросили, какую птицу напоминает вот это корневище, он в лучшем случае ответил бы: страуса! И то если бы спросили, какую птицу, а не зверя!

У яблони Чик подобрал свой лук и стрелы, распрощался с обоими охотниками и пошел дальше.

— Чик! — крикнул ему вслед большой красивый охотник.— По воскресеньям мы всегда здесь. Приходи!

— Хорошо,— сказал Чик и пошел дальше, все еще думая о том, как было здорово стрелять и какое странное он пережил чудо, приняв обыкновенное корневище за шею лебеда.

Чик шел и шел и все время заставлял Белку искать перепелок. Белке надоело искать, и она теперь, слышав голос Чика, небрежно нюхает траву, нюхает кустик и бежит дальше. Еще одна перепелка, опять пропущенная Белкой, выскочила у Чика из-под ног, но он на этот раз так поздно спохватился, что даже не успел ей вслед пустить стрелу.

Травяная труха набилась в сандали Чика, и он снял их и тщательно вытряхнул, прислушиваясь к отдаленным выстрелам. Теперь он легко отличал выстрелы в перепелок от выстрелов в голубей. В перепелок стреляли один или два раза. А в ме-



Р. ДОМИНОВ. Ленинград.

Папа вернулся.

По залам выставок художников России. 1984 г.



А. СМОЛИН, П. СМОЛИН. Москва. **Полярники.**

В. ПАВЛИКОВ. Пенза. **Заседание сельсовета.** (Автолитография).





А. УЧАЕВ. Саратов.

Портрет мальчика.



В. СМІРНОВ. Москва.

Встреча. (Автолитография).

чущихся голубей сразу раздавалось множество как бы тоже мечущихся выстрелов.

«Теперь нас трое с именем Чик,— подумал он.— Конечно, у этого дяди имя Чик уменьшительное. Но это не так важно. Важно, чтобы люди почаще слышали его и привыкали к нему». Чик иногда месяцами забывал о своем имени. Живет себе и не думает, как и все. Но иногда кто-нибудь начинал удивляться, и портилось настроение.

Было жарко, и дыхание близкого моря становилось все слышней. Тянуло выкупаться. Но Чик решил не купаться в море. Нельзя путать два таких больших дела, как купание в море и охота. Одно из двух. Пришел на охоту — будь верен охоте до конца.

Вдруг Чик увидел совсем недалеко от себя человека с ястребом. И как раз в это время его собака сделала стойку. Чик, непроизвольно подражая собаке, замер. Собака с хвостом, затвердевшим, как замерзшая веревка, сделала несколько шагов и остановилась. Чик тоже с затвердевшими от волнения ногами сделал несколько шагов и остановился. Охотник приподнял ястреба на ладони и крадущей походкой пошел за собакой. Остановился. Он постоял возле собаки и вдруг приказал ей по-абхазски:

— Возьми!

Собака рванулась вперед, перепелка вылетела из травы, и Чик подумалось, что охотник слишком медлит со своим ястребом. Но вот он швырнул его, и ястреб, сверкая на солнце рыжими крыльями, с такой мощной скоростью стал догонять перепелку, что, казалось, она неподвижно трепещет в воздухе, а он неотвратимо налетает. Ястреб ударил перепелку и, сразу отжелев, опустился в кусты. Охотник побежал за ним и через несколько минут разогнулся над кустами, держа в одной руке ястреба, а в другой живую перепелку, которую он сунул в большой, самодельный ягдташ, висевший у него на поясе. Теперь Чик заметил, что ягдташ шевелится от живых перепелок.

— Что, мальчик, интересно? — улыбаясь, спросил у него охотник.

По его одежде Чик понял, что это деревенский человек. Он был одет в серую рубаху, перехваченную тонким кавказским поясом, в брюки-галифе и резиновые сапоги. На вид ему было лет семьдесят. У него было красное обветренное лицо и голубые, молодые глаза.

— Да,— сказал Чик, не скрывая восхищения.

— Хочешь попробовать? — улыбнулся охотник, и глаза его засияли, радуясь за Чика. Чик понял, что это очень добрый человек.

— Держись рядом,— сказал охотник наставительно,— я тебя научу охотиться с ястребом.

Чик подошел к охотнику. Ястреб, сидевший у него на руке, взбрыкнув колокольцем, сразу же повернулся в сторону Чика, стремительно наклонив голову и глядя на него желтыми ненавидящими глазами. Чик устал немного не по себе. Он незаметно перешел и стал по левую руку от охотника. И теперь ястреб, еще более стремительно наклонив голову, уставился ненавидящими глазами на Белочку, словно хотел сказать: «А ты что, шавка, тут делаешь?!» Белка тоже перешла на другую сторону и зашевелилась рядом с Чиком. Ястреб все еще сердито поглядывал на них.

— Чужого сразу узнает,— сказал охотник, блаженно улыбаясь, и, несколько раз встряхнув рукой, заставил ястреба смотреть вперед.— Снежок,— окликнул охотник свою собаку, ища ее глазами.

Чику показалось трогательным и смешным, что охотник своей абхазской собаке дал русскую кличку Снежок.

Узнав, что Чик — абхазец, охотник поощрительно кивнул головой и сказал ему по-абхазски:

— Во всем мире ястребиною охоту знают только турки и мы. Другие народы и слыхом не слыхали об ястребиной охоте.

Чик почувствовал, что если бы охотник не узнал, что он абхазец, он бы ему этого не сказал.

— А я читал, что в Средней Азии охотятся с беркутом,— осторожно, чтобы не сердить его, заметил Чик.

— Да,— неожиданно легко согласился охотник,— я тоже слышал. Они у нас научились. Но первыми в мире с ястребами начали охотиться турки. Из чего это видно? Это видно из того, что все названия ястребов турецкие: кызылгуш, лачин и другие. Ястреб — птица с характером. Гордая птица. Ты видел там болото? Ястреб будет умирать от жажды, но из этого болота не выпьет. Только свежую, ключевую воду пьет... Снежок, где ты? Сюда, сюда!

— А что он ест? — спросил Чик.

— Что он ест? — загадочно улыбаясь, переспросил охотник.— Только яйца, сваренные вкрутую! Некоторые глупые охотники дают ему перепелку. Он, конечно, ее съест. Почему не съест? Перепелку каждый слопает. Но такой ястреб во время охоты, зазевавшись, и сам сожрет перепелку. Надо с самого начала приучать его к яйцам, сваренным вкрутую.

— А как ловят ястребов? — спросил Чик.

— О,— кивнул охотник, блаженно заулыбавшись и одновременно ища глазами свою собаку,— ловить ястреба самое интересное в мире занятие. Сначала ловишь на кузнечика сорокопутьку. Знаешь сорокопутьку?

— Да,— сказал Чик, чтобы не мешать плавности рассказа.

— А теперь ты спросишь, почему ястреба ловят на сорокопутьку, а не на воробья или, скажем, дрозда? А потому ловят на сорокопутьку, что ни одна птица в мире так хорошо не играет, как сорокопутька. Делаешь шалашик на высоком месте, чтобы издали было видно. Укрываешь его листьями, травой, чтобы ястреб сверху не понял, что рядом человек. Натягиваешь возле шалаша сетку, а под сеткой сорокопутька на шпагате. И вот ты видишь — далеко в небе ястреб кружится. Ты дерг за шнур, и сорокопутька заиграла под сеткой. И ястреб ее замечает. Не может не заметить. Бьет с километровой высоты, аж испугаться можно, если не привык. Так и свистит крыльями — шша! — и с размаху в сетку! Сетку он не видит, до того его раздражила играющая сорокопутька. Ты мигом его накрываешь сеткой, и он твой. Сперва покусается, а потом смирится. Привязываешь к его ноге крепкий шпагат, вбиваешь планку в дерево возле своего дома и держишь его там. Первые два-три дня он все время так делает...

Чик посмотрел на лицо охотника и вдруг увидел, что тот сделался похожим на ястреба. Охотник с горделивой осторожностью повернул голову направо. Потом с такой же горделивой осторожностью повернул голову налево. Потом опять направо и опять налево.

— Смотрит, чтобы никто к нему не подошел,— продолжал охотник,— но через два-три дня привыкает к хозяину. Ты ему даешь крутое яйцо, и он его ест. Если не сразу, то на второй или на третий день съест. А потом приучаешь к охоте. Живую перепелку привязываешь к шпагату, подбрасываешь

и следом пускаешь ястреба на шпагате. Он ее хватить и хочет съест. Но ты отнимаешь у него перепелку: знай свой паек! Крутое яйцо! Некоторые слишком гордые ястреба сперва отказываются охотиться. Тогда ты его переставишь кормить. До шести дней можно не кормить ястреба. Не умрет! Рано или поздно голодный ястреб погонится за перепелкой. Он ее ловит, ты у него отнимаешь перепелку и сразу же даешь крутое яйцо: вот твой паек! Заслужил! За десять дней я любого ястреба могу приучить к охоте!

— А для чего колокольчик на ноге? — спросил Чик.

— Ага, колокольчик, — с удовольствием повторил охотник и опять блаженно улыбнулся, — я же сказал: ястреб гордая птица. Бывает, ястреб летит на перепелку, но промахивается. И тогда от стыда он улетает и прячется в кустах или на дереве. В листьях его не видно, но только шевельнулся, и ты слышишь колокольчик. И находишь его. Иногда он сам слетает к тебе на руку, потому что поостыл. Иногда приходится лезть на дерево и доставать его. Теперь, скажем, он ударил перепелку и сел в такие кусты, что его не видно. Сливается с травой и листьями. Опять же колокольчик выручает. Дзинь-дзинь! — и ты его находишь. Вот для чего колокольчик. Где мой Снежок? Это бродяга, а не собака! Снежок! Снежок! Сколько ястребов, столько характеров!

— А когда кончается сезон перепелок, — спросил Чик, — вы их отпускаете?

— Да, вздохнул охотник, — отпускаем. Но иногда ястреб так привыкает к человеку, что никуда не улетает. Или прилетит и сядет на руку: давай яйца вкрутую! Привыкает к человеку. Я несколько раз оставлял у себя зимовать таких ястребов. Жалко, не хочет улетать.

— И потом на следующий год опять охотились с ним?

— Нет, — сказал охотник и снова улыбнулся, — на следующий год он уже для охоты не годится. На следующий год он уже капет.

— Как? Как? — не понял его Чик.

— Капет, — повторил охотник, — так говорится на нашем охотничьем языке. Ястреб, который презимовал в человеческом доме, он уже окапел. Для охоты не годится. Сам себе для корма кое-что добывает, но для охоты не годится. Капет. Вот так же, бывает, деревенский человек два-три года поработает в городской конторе, а потом вернется в деревню, но он уже для сельской работы капет. Ноги окапелись, руки окапелись и душа окапелась. Так и ястреб, который зимовал в человеческом доме, он уже на следующий год капет. До срока одряхлел: капет. Ястребиная охота такая: охотник может быть старый, но ястреб всегда должен быть молодой... Куда делся мой Снежок? Снежок, Снежок, Снежок!

Снежок не показывался.

— Перепелку учуял, — кивнул охотник и плавно побежал в ту сторону, где, как он догадывался, была его собака. Во время бега он держал руку с ястребом на весу, а ястреб, стараясь не потерять равновесие, взмахивал крыльями и перебирал ногами, как цирковой канатоходец. Глядя на ястреба, Чик бежал за охотником. И вдруг показался Снежок. Он стоял от них шагах в двадцати, вытянув все свое тело и хвост.

— Я тебе сейчас дам ястреба, а ты иди на собаку, — тихо сказал охотник и снял ястреба с руки. Только Чик потянулся за ним, как охотник обиженно отстранился:

— Кто же ястреба, как мочалку, берет? Снизу надо! Вот так!

Чик заломил руку, и охотник вложил в нее ястреба. Чик приятно почувствовал мускулистую легкость и сухой жар ястребиного тела. Чик сразу же показалось, что у ястреба температура тела выше, чем у человека. Чик много болел малярией и считал себя большим знатоком по части определения температуры без градусника. Сам того не желая, он неверно определил, что у ястреба температура примерно тридцать девять градусов.

— Слишком не сжимай, задушишь, — сказал охотник, — и главное — кидай вперед. Некоторые глупцы сгоряча разбивают ястреба о землю. Кидай вперед!

Чик до этого уже бросил свой лук и сейчас держал ястреба в заломленной руке над плечом. Ястреб шевелил царапающими когтями, но Чик терпел и медленно приближался к собаке.

Чик близко подошел к собаке и смотрел вперед, стараясь выглядеть в траве перепелку, но ее не было видно. Он хотел дать собаке команду — и pokrылся холодным потом. В последний миг он догадался, что собирается ей давать команду по-русски, а она скорее всего не знает русских слов и получится какая-нибудь глупость.

— Возьми! — крикнул Чик по-абхазски, и собака рванулась вперед.

Перепелка взлетела, и Чик швырнул ей вслед ястреба. Сверкая на солнце мощными рыжими крыльями, ястреб помчался по воздуху, с неимоверной быстротой догоняя перепелку. И опять Чик показалось, что перепелка неподвижно трепещет в воздухе, а ястреб налетает. Он сбил ее с лету и, отяжелев от добычи, опустился в кусты.

— Беги отнимай! — крикнул охотник.

Чик побежал сломя голову, и стрелы, торчавшие за поясом, стали больно царапать живот, но он, не сбавляя скорости, вырвал их из-за пояса, отбросил, подбежал к кустам и шлепнулся на траву. Он всматривался в самые запутанные хитросплетения ежевичных плетей, ореховых и кизильных веток и ничего не видел. Вдруг совсем рядом взбрыкнул колокольчик, и Чик открылась такая картина.

Ястреб сидел на перепелке, жадно растопырив крылья, и с какой-то тупой яростью долбил перепелку по голове своим крючковатым клювом, и головка перепелки так обреченно отскакивала от неумолимого клюва и перепелка была такой беспомощной, что Чик содрогнулся от ужаса и возмущения. В следующий миг он рванулся в кусты, дотянувшись до ястреба и выволок его вместе с перепелкой.

— Молодец, — сказал подросший охотник, — это твоя первая перепелка.

Он взял у Чика ястреба, уже из рук хозяина рвущегося к перепелке и бешено глядящего на нее.

— Возьми ее себе, — сказал охотник, видя, что Чик ему протягивает перепелку.

— Нет, нет, — решительно сказал Чик, отдавая ему испуганную птицу, — я просто так, я хотел только посмотреть.

Чик был потрясен, но он знал, что это надо скрывать, это стыдно показывать, и старался скрыть свое потрясение. Он никак не мог соединить свое восторженное восхищение могучим ястребом, неотвратимо налетающим и бьющим перепелку, и тем же ястребом, грузно сидящим на маленькой перепелке и, сверкая беспощадным желтым глазом, продавливающим ее бессильную головку.

Чик еще не понимал, что и то и другое зрелище в своем соединении и есть истинная жизнь, но он чувствовал, что ему раскрылась какая-то горестная

правда, и как бы предугадывал, что в будущем от этой правды будет много печали.

— Выучишься охотиться с ястребом, — улыбаясь, сказал охотник, засовывая перепелку в ягдташ, — никакой другой охоты не захочешь. Когда хорошая высыпка, бывает, так намахаешься, что плечо болит.

— Да, да, конечно, — отвечал Чик, изо всех сил сдерживаясь и в то же время с надеждой и завистью глядя на улыбающегося охотника и думая, что раз он, старый, добрый охотник, все это видел и улыбается, значит, со временем и Чик привыкнет и не будет придавать этому значения.

Чик собрал все свои стрелы, поднял лук, и они с охотником пошли дальше. И Чик постепенно успокоился.

— А как тебя зовут, мальчик? — спросил охотник.

— Чик, — сказал Чик, вздохнув.

— Хоть бы и Чик, — ответил охотник, не глядя. И Чик устроился так, что охотник не споткнулся о его имя, а тут же нашел ему свое местечко. — Так вот, Чик, слушай, что я тебе расскажу, — продолжал он, — человек — это такой зверь, что любого зверя перезверит. Я вот ястребов приручаю. Это что!.. У нас в деревне был один крестьянин. Звали его Миха. Так он ворона приручил. Я тебе сейчас расскажу не то, что выдуманно людьми, а то, что было на самом деле. Так вот, у этого Михи всегда на плече сидел ворон. Иногда взлетит, полетает и снова на плечо. Или Миха идет на мельницу. Впереди ослик, а сзади Миха с вороном на плече. Или на лошади куда едет. Он верхом на лошади, а ворон верхом на нем. Надоест сидеть, полетает, полетает и снова садится на плечо. Иногда ворон у него на голове сидел. Куда захочет, туда и сядет. Они любили друг друга. Жить друг без друга не могли. Если Миха уезжал в город на машине арбузы или орехи продавать, он ворона с собой не брал. Кто же арбузы продает с вороном на плече? Нескладно. Да и милиция не разрешит. Миха его оставлял дома, и ворон скучал. Если Миха два-три дня не приезжает, ворон два-три дня не ест. А жена Михи не любила ворона, стыдилась перед людьми. Вечно проклинала мужа: «Чтоб я тебя с этим вороном в один гроб положила!» А он смеется и поглаживает своего ворона. А жена еще больше злится. И вдруг его ворон стал подолгу исчезать. Улетит и не прилетает. Иногда полдня его нет, а иногда и на всю ночь улетает. Бедный Миха беспокоится, ничего не может понять. И тогда он решил выследить его. Однажды ворон улетел, а Миха потихоньку за ним. И выследил. Смотрит, на опушке леса его ворон сидит на ольхе рядом с воронихой. Оказывается, его ворон нашел себе подружку и они теперь как муж и жена. Вот куда отлучался его ворон. Миха подошел к ольхе и стал звать его. Ворон забеспокоился: «Кар! Кар!» — и слетел к нему на плечо. А ворониха с дерева: «Кар! Кар!» — и она снова слетела с плеча и села на ветку рядом с воронихой. Хозяин опять его звать. Бедный ворон с ума сходит. То к нему на плечо, то к воронихе. И все-таки в последний раз сел к нему на плечо, и они ушли. И Миха был рад, что победил. Он нам об этом случае много раз рассказывал... Но потом ворон опять стал улетать к своей воронихе. То полдня его нет, а то и на всю ночь пропадает. И бедный Миха заскучал. Бывало, к вечеру выйдет на пригорок и стоит, ждет. Люди к вечеру ожидают свой скот, а он своего ворона. Добрые люди, видя такое, посмеивались. А дурные, есть же и дурные люди, злились. Они говорили, что это позор для нашего села. По нашим законам мужчина может держать на плече ружье, ястреба, орла. Или, скажем, мешок с кукурузой. Но никак не

ворона. Но и против ворона в законе тоже ничего не сказано. Вот они и злятся, не знают, как быть... А бедному Михе надоело, что его любимый ворон так часто от него улетает, а иногда и на всю ночь. И Миха снова выследил его и увидел, что тот опять сидит на дереве рядом со своей воронихой. Но теперь уже в другом месте. Миха был с ружьем. Подкрался, выстрелил и убил ворониху. А бедный ворон места себе не находит. Летает над своей воронихой: «Кар! Кар! Кар!» Час летает, два летает. То сядет рядом с ней, то опять взлетит и плачет на дереве: «Кар! Кар! Кар!» Не по себе стало Михе. Взял он мертвую птицу за крыло, отнес в самые густые чащобы и забросил туда: лисица подберет. А ворон за ним: «Кар! Кар!» — но уже к нему на плечо не садится. Опечалился Миха и пошел домой. Проходит день, два, три. Ворон не прилетает. Месяц прошел — не прилетает. Жена от радости сама летает лучше ворон. И вдруг на второй месяц ворон прилетел и сел к нему на плечо. Миха не радуется, а жена снова за свое: «Чтоб я вас обоих в один гроб положила!» И они снова зажили, как раньше. И годы прошли, и мы все забыли о той воронихе, а некоторые даже и не знали. И вот однажды мы работаем на табачной плантации. Мотыжим табак. Ворон, как всегда, сидит у Михи на плече. И вдруг гром, молния, гроза. Недалеко был табачный сарай, и мы все туда. А ворон Михи слетел у него с плеча и сел на большой бук, что рос возле плантации. Вижу — Миха повернул к буку. «Ты что, — кричу ему сквозь грозу, — побежали в сарай!» «Нет, — отвечает он, — я под буком пережду! Он поближе!» «Опасно, — кричу ему, — слишком большое дерево! Молния может ударить!» «Ворон, — кричит он, — никогда не сядет на дерево, в которое молния ударит!» Мы и побежали в сарай, а он под дерево. Гроза! Земля слилась с небом, гром, молния! И один раз гром ударил так близко, что мы думали — сарай обрушится. Аж запахло. Так только молния пахнет. «Никак молния ударила по буку!» — сказал кто-то. «Нет, — смеется другой, — у Михи ворон ученый. Он любую молнию ответит!» И вот проходит полчаса, и, как это летом бывает, ливень смолк, тучи разошлись, брызнуло солнце. Мы — в поле. А где Миха? Нет Михи. Смотрим на бук — стоит, как стоял. А Михи нет. Куда делся? Подходим к буку и видим: Миха с той стороны сидит на земле, привалившись спиной к стволу. Вот так сидит... Охотник слегка откинулся, прикрыл глаза, и лицо его стало важным и неподвижным.

— Мертвый? — ужаснулся Чик.

— Мертвее не бывает, — кивнул охотник и продолжал: — Ну, тут, конечно, шум, крик. Смотрим на бук и видим: по всему стволу идет черная трещина. Значит, молния ударила, но бук не загорелся, слишком сильный ливень был. А беднягу Миху убило. Кричим в деревню, сбегались люди, и вдруг один из них находит в траве мертвого ворона. Подвились сельчане, а некоторые вспомнили, как Михи жена проклинала: «Чтоб я вас обоих в один гроб положила!» Так и получилось, хоть в один гроб клади. Покойника тут же взяли домой, а родственники его зарплатили: жена накликала, ведьма. Но потом мудрые старики успокоили их и сказали: наши женщины, что поделаешь, издавна так ругаются. Нет такого абхазского мужичины, чтобы жена ему не сказала: «Чтоб я тебя с твоей лошадкой в один гроб положила!» А тут просто случайно совпало.

— И их вместе похоронили? — не выдержал Чик.

— Нет, — улыбнулся охотник, — кто же ворона положит в гроб с человеком? Насмешка получится. Но главное не это. Ты понял, Чик, почему ворон полетел на этот бук?

Чик словно хлопнулся в муравейник: мурашки так и побежали у него по спине!

— Не может быть! — воскликнул он, ужасаясь такой мести и как бы в глубине души желая, чтобы так оно и было, но чтобы ему это точно доказали.

— Да, Чик, — сказал охотник, загадочно улыбаясь, — ворон ему отомстил за воронику. Шесть лет он вынашивал эту месть! Шесть лет!

— Случайное совпадение! — воскликнул Чик, в глубине души желая, чтобы так оно и было, но чтобы ему это неопровержимо доказали.

— Ты когда-нибудь слышал, — спросил старый охотник и хитро взглянул на Чика, — что молния убила человека?

— Конечно, — сказал Чик.

— А я, как видишь, не только слышал, но и видел. А теперь ты мне скажи, ты когда-нибудь слышал, что молния убила козу, собаку или буйвола?

— Нет, — ответил Чик, порывшись в памяти, — а что?

— А то, что животные чувствуют, где ударит молния, — уверенно сказал охотник. — Скажем, в горах гроза. Козы в загоне. На самом возвышенном месте, как всегда, старый козел. Вожак. Если молния должна ударить в то место, где он сидит, знаешь, что он делает?

Когда Чик жил в горах в доме дедушки, он часто видел таких козлов. Они всегда шли впереди стада. Важный вид, огромные рога и длинная пожелтевшая борода. И сейчас Чик ясно увидел такого старого козла. Кругом гроза, а он сидит на возвышенном месте, мокрой бородой тыкаясь в траву. И у Чика в голове вдруг мелькнула гениальная догадка.

— Он мокрой бородой заземляется, — воскликнул Чик, — и рога служат громоотводом!

— Нет, — сказал старый охотник, улыбкой оценивая затейливость Чика, — если в то место, где сидит старый козел, через минуту должна ударить молния, он... — Тут охотник придал своему лицу глуповато-величественное выражение и стал похож на старого козла. Он застыл на несколько секунд, изображая на своем лице правильную догадку тупой головы. — ...Он тихонько встанет с места и переседет вон туда, — показал рукой старый охотник на то место, куда пересел козел, — а молния ударит в то место, где он сидел.

— А-а-а, — вспомнил Чик, — это как землетрясение. Наукой доказано, что животные чувствуют землетрясение.

— И без твоей науки, — сказал старый охотник, — народ это всегда знал. И не только землетрясение. Животные все чувствуют. Вот что было со мной в моем доме. Это было лет восемнадцать, двадцать назад. К вечеру завывала собака, и вся скотина забеспокоилась. Мы приуныли. Что-то нехорошее должно случиться. Соседи перекликаются. У них то же самое. Старики советуют не ложиться, дежурить всю ночь. Мы ждали, ждали, но ничего не случилось, и, немного успокоившись, легли. И вдруг я просыпаюсь, сам не знаю отчего. Вроде что-то скрежетнуло. Открываю глаза, не дай бог тебе, Чик, увидеть такое!

— Что случилось? — спросил Чик.

— Открываю в постели глаза, — сказал охотник и слегка запрокинул голову, показывая, как человек просыпается среди ночи, — звезды над головой! Оказывается, нет ничего страшнее, как в собственном доме открыть глаза и увидеть звезды над головой. Женщины в крик! Все повскакали с постелей и во двор. Дурной ветер прошел над нашим селом, вот что случилось. Налетел — и нет его! У нас крышу, как

бритвой, срезало! У других и скот погиб, и много всякого убытка имели люди от этого ветра. Никого не убило, но кое-кого поранило. И вот скотина за пять-шесть часов это почувствовала. И то же птицы. Ты можешь сказать, что ворон случайно полетел на этот бук. А я тебе скажу — за двенадцать лет, пока он жил у бедного Миши, сколько раз дождь заставлял нас на табачной плантации. Один аллах знает! И мы всегда уходили в табачный сарай, и ворон с нами. Иногда он даже раньше нас туда влетал. Видит — дождь. Мы побросали мотыги — значит, туда. Мы в табачный сарай, а он уже там сидит на сушильной раме и смотрит, сморит. Отчего же он только в этот раз полетел на бук? Потому что уже почуял, что молния тянется к буку, и он понял, что пришел его час. Сам погиб, но отомстил за воронику.

— А если б молния промахнулась? — спросил Чик.

— Молния бьет без промаха, — сказал старый охотник, — ястреб еще может промахнуться, а молния никогда. Если уж чего наметит, бьет без промаха.

— А если б Миша все же побежал с вами, что тогда? — спросил Чик.

Охотник удивленно взглянул на Чика.

— Нет, не мог он побежать с нами, — сказал охотник задумчиво, — потому как его срок пришел. Не мог он побежать с нами.

— А если б все-таки побежал? — допытывался Чик.

— Ну, если б он с нами побежал, — сказал старый охотник, — ворон прилетел бы к нам и ждал другого случая. Ворон ждать умеет. Знаешь, сколько он живет?

— Триста лет, — подсказал ему Чик.

— Вот какие чудеса бывают в жизни, — сказал охотник, блаженно улыбаясь, и, взглянув на своего ястреба, добавил: — А мой ястреб сейчас слушает и злится: чего ты не охотишься, чего ты разболтался, старый? Да и тебя, бедняга Чик, я словами заморил, ты уж прости старика!

— Что вы, что вы! — поспешно ответил Чик, умиляясь покаянию старого охотника. — Я никогда ничего такого интересного не слышал!

Чик взглянул на ястреба, и тот полыхнул на него глазами с такой ненавистью, что Чик стало немного не по себе. Может, еще отомстит?

— Ну, я пойду, Чик. Вон уже где солнце, — сказал старый охотник, — мне еще кукурузу ломать надо. Заходи! Видишь наше село? Спроси Бадру, все тебе скажут, где я. Я много чего видел на охоте... Снежок! Снежок! Куда ты провалился?

Чик распрощался со старым охотником, снова потряхнул из сандалий травяную труху и пошел назад. Очень уж он далеко зашел. Солнце стояло все еще высоко, хотя Чик казалось, что прошло страшно много времени. Он и в самом деле успеет домой к обеду.

Чик шел назад, уже не останавливаясь и не ставляя Белку искать. Он насытился охотой и все время думал о вóроне и его мести. Конечно, жалко этого беднягу Мишу, но все-таки он был большой эгоист. Зачем он убил воронику? Ворон иногда улетал бы к своей воронихе, иногда прилетал бы к хозяйну. Так бы они и жили. Почему он хотел, чтобы ворон любил только его? Если бы Миша ради любви к ворону ушел бы от своей крикливой жены и жил отдельно, тогда другое дело. Тогда все было бы честно.

Теперь выстрелы раздавались гораздо реже, и Чик видел, что многие охотники бредут в сторону

города. Вдруг он услышал слева от себя сразу много беспорядочных выстрелов. Он взглянул в ту сторону и увидел далеко в небе мечущихся голубей.

Один из них отделился от стаи и полетел в сторону моря. Чик решил во что бы то ни стало держать его глазами, пока он совсем не исчезнет в далеком струящемся мареве. Голубь летел в сторону моря, то сливаясь с воздухом, то выблескивая из него, и Чик напрягал зрение, чтобы как можно дольше не упускать его, а он все летел и летел в сторону моря. И вдруг он повернул, исчез, появился гораздо ближе. И все ближе, и ближе, и ближе и внезапно, примерно в двадцати метрах от Чика, опустился и сел на ветку дикой хурмы.

Силуэт голубя был такой отчетливый, что Чик решил попробовать выстрелить в него, хотя тот сидел все-таки далеко. Чик снял лук с плеча, вставил в него стрелу, совсем не волнуясь, прицелился и пустил стрелу повыше голубя, чтобы она долетела. Описав в воздухе плавную дугу, у самой хурмы стрела пошла вниз и ударила голубя. Чик за несколько мгновений до удара почувствовал, что стрела летит удивительно точно, и, когда она стала снижаться, сам слегка присел, как бы помогая ей правильно снизиться. Стрела слилась с голубем, и он на глазах у Чика упал в кусты под хурмой.

Чик побежал, и Белка, чувствуя удачу, с радостным лаем помчалась за ним. Чик подбежал к хурме, шлепнулся на живот и заглянул в кусты. Голубь трепыхался, попав в рогульку между ветвями лещины. Зажмурив глаза, чтобы не наткнуться на колючку, Чик вполз в кусты. Только он хотел схватить голубя, как тот вывалился из рогульки и, упав на землю, сделал несколько шагов в сторону от Чика и остановился, озираясь. Это был голубь пепельного цвета, и Чик увидел на его клюве капельку крови.

Видно, стрела попала ему в голову и слегка оглушила его. Чик осторожно дотронулся до него, но в последний миг голубь ловко увернулся, отошел и снова остановился. Видно, он плохо понимал, что происходит. Белка радостно лаяла, но в кусты, между прочим, не лезла. Хорошо тебе лаять снаружи, думал Чик, принаравливаясь проползти между колючими ветками ежевики. На этот раз Чик сумел схватить голубя и, стараясь не раздавить его в ладони, вылез из кустов.

Увидев голубя, Белка стала бесноваться от радости и в прыжке пыталась схватить его за хвост. Чик прикинул на Белку и внимательно осмотрел клюв голубя. Капля крови все еще держалась на нем. Чик осторожно оттер ее пальцем. Он подождал, не появится ли на клюве новая капля, но она, слава богу, не появилась. Это был красивый, светло-пепельный голубь.

Чик был радостно возбужден. Он надел на плечо лук и вспомнил о стреле, ударившей голубя. Под кустами ее не было. Видно, она застряла в зеленой шапке кустов. Чик ухватился за ветку лещины и стал изо всех сил трясти ее, но стрела так и не упала. Ладно, примирился Чик с потерей стрелы, на охоте всякое бывает. Ему было особенно жалко эту стрелу, потому что именно она вонзилась в землю совсем рядом с водяной курочкой, а теперь ударила в голубя. Конечно, ребятам можно было показать на другую стрелу и сказать, что она поразила голубя. Но ведь самому себе не скажешь. Ладно, подумал Чик, другие на охоте даже собаку теряют.

Не замечая ни жары, ни усталости, Чик радостно шел через поле.

— Неужели вот этой стрелой сбил? — спросил первый охотник, встреченный Чиком.

— Да, — сказал Чик, — с двадцати шагов взял.

— Молодец, пацан, — похвалил его охотник, — на жаруху себе заработал.

Чик и в голову не приходило, что можно этого голубя зажарить. Он уже решил приручить его, как тот Миха своего ворона. Но Чик не будет эгоистом. Если голубь со временем найдет себе подружку — пускай! Чик не станет ее убивать. Дело не в мести. Голубь, конечно, не ворон. Пусть живут, пусть наживают деток, пусть его голубь иногда улетает, а иногда прилетает. Чик был уверен, что в один прекрасный день голубь навсегда прилетит к нему во двор со своей подружкой и голубятами.

Встречные охотники удивлялись, как это Чик стрелой взял голубя, но никто не удивлялся, что он попал в него с двадцати шагов. Так что Чик, пока пересекал поле, довел количество шагов до тридцати. Его просто вынудили. Люди такие непонятливые. Иногда приходится кое-что преувеличивать, чтобы они удивились так, как сами должны были удивиться непреувеличенному. А раз сами не удивились, сами виноваты — глотайте преувеличение!

...К сожалению, Чик не удалось приручить дикого голубя. Два дня он жил во дворе под ящиком. И два дня он ничего не ел. Воду пил, если насильно окунуть головку в блюдечко с водой. А есть не хотел. Чик теперь знал, что ястреба могут жить без еды до шести дней, но сколько может жить дикий голубь, он не знал.

Поэтому к концу второго дня он его выпустил. Чик посадил голубя на ладонь, и тот с минуту скучно сидел у него на ладони. А потом почувствовал свободу. Чик это понял за несколько секунд до того, как голубь взлетел.

Он как-то подобрался и уперся коготками в ладонь Чика. А до этого не упирался. А тут уперся коготками в ладонь Чика, уперся, поерзал, уперся, поерзал, как будто проверял Чика, отпустит он его или нет. Поверил и взлетел! Он быстро исчез из глаз, потому что в городе много домов и они закрывают небо. Голубь улетел, а Чик еще не знал, что ему в награду остается длинный, сказочный, охотничий день.

ВАЛЕРИЙ ШУМИЛИН



Фото 1944 года.

СТИХИ О БЛОКАДЕ

Бабушка на санках

На глаза напаяна ушанка.
Не смахнуть замерзшую слезу.
Вместе с мамой бабушку на санках
Вдоль Невы по городу везу.
Мерзнут в рваных варежках ладошки.
Свирипея, ветры щеки жгут.
Стали вдруг свинцовыми подошвы,
Коченея, ноги не идут.
Я молчу, и тяжело дышит мама,
Низко-низко голову клоня.
Год назад на санках этих самых
Здесь катала бабушка меня.
Вслед неслась ребят лихая стайка,
Был у всех у нас беспечный вид.
А сегодня бабушкина пайка
На столе нетронутой лежит.

Земля моя

Ремни варили, ели клей конторский,
как постный суп, спасаясь в ту войну.
Ах, в этот суп немножко бы картошки,
всего бы две картошинки, одну!
Мы землю из Бадаевского склада,
как сахар, берегли для кипятка.
И чай с землею был на редкость сладок,
хотя земля блокадная горька.
В тревожный час земля по нашим жилам
струилась, и бодря, и веселя.
И, может, потому остались живы,
что в сердце свято теплилась земля.



И с той поры земля во мне осталась,
она в душе, как рекем, звучит,
а если вдруг почувствую усталость,
то метрономом в сердце постучит.
Земля моя, ты стала мне судьбою
и приковала к невиским берегам.
Я очень остро чувствую с тобою
любовь к друзьям и ненависть к врагам.
Всем лучшим я родной земле обязан,
вошла в меня, велела мне — живи!
Мой Ленинград, с тобой я кровно связан:
земля твоя течет в моей крови.

г. Ленинград.

ИОСИФ РЖАВСКИЙ



Позывные

В упор по казематам били танки.
И все ж горящий камень не был нем.
В эфир ворвался дробный звук морзянки,
И этот звук стал слышен всем, всем, всем...

Как будто реял стяг родной над Брестом,
Наперекор пожарам и стрельбе,
Во всеуслышанье, открытым текстом
Заговорила крепость о себе.

Нуждались люди в правде, а не в чуде.
И души, опаленные огнем,
В суровый час настраивали люди
На грозный голос боя, на прием.

И враг не заглушил те позывные,
Не сжег их смерч отравы и свинца.
Как будто не морзянка, а земные
Бесстрашные стучат, стучат сердца.

Понятно это людям в целом мире,
Не только тем, кто выжил на войне.
Прислушайтесь: звучат они в эфире
В любое время, на любой волне.

☆☆☆

Вспомни, друг, как, вернувшись из боя,
Фронтная нам пела гармонь.
Все играет, не зная покоя,
Вечной памяти вечный огонь.
Вздохнет сердце от внятного зова
Старой хромки — светло станет нам.
Выпьем мы, пусть нальет только снова
Старшина боевые сто грамм.
Вечно с нами, пока мы на свете,
Те, кого схоронила война.
До сих пор откликаются дети
На бессмертные их имена.

Отчий дом

Узнав разлуку и потери,
Я здесь. Судьбы замкнулся круг,
И прежде чем стучаться в двери,
Я приглушаю сердца стук.
Вот предо мною, как в поклоне,
Прогнулось ветхое крыльцо.
И запотевшею ладонью
Я трижды дернул за кольцо.
Чужой ответил голос. Вести
Грустнее нет... А где родня!
В каком искать на свете месте
Тех, кто мне мил, кто ждет меня!

После грозы

Утром в поле слышен отзвук грома.
Хлебным духом тянет от земли.
И до боли в сердце так знакомо
Коростели вновь скрипят вдали...
Как у дяди Вани костыли.

ЮРИЙ МЕЛЬНИКОВ



☆☆☆

В который раз я вспоминаю снова
Его — спустя десятки лет — не вдруг.
Был писарем он штаба полкового,
Высок, и бледнолиц, и близорук.

Он, с нами огневые версты меря,
Бывал не раз у смерти на краю.
В свою тетрадь записывал потери,
Что не однажды мы несли в бою.

В землянке после каждого сраженья,
Осколком не задетый, невредим,
Писал он о погибших извещенья
В далекий тыл их близким и родным.

...Пошел с пехотой вместе в наступленье
Однажды он, как рядовой стрелок...
В далекую деревню извещенье
О гибели своей послать не смог.

☆☆☆

Волнение затая,
Смотрю через окно
Сквозь ночь, туда, где я
Бывал давным-давно.

Где поднимал с утра
Нас орудейный гром...
Мелькают хутора
И рощи за окном.

В ту пору от врага
Освобождали мы
Латгалии луга,
Долины и холмы.

Теперь отрадно мне,
Держа на запад путь,
Хотя бы при луне
На этот край взглянуть.

Подвиг

Гремели бои в мелкоколесе,
Вокруг всё дырявил свинец...
Бутылку с горючею смесью
Держал наготове боец.

А танки ползли вдоль кювета
С крестами, ползли без конца...
Но пуля попала, и эта
Бутылка зажглась у бойца.

Вцепился огонь в него хватко
Тем жарким, удушливым днем.
И вспыхнула вмиг плащ-палатка,
И все загорелось на нем.

В огне, сохраняя осанку,
Он вдруг из окопчика встал,
И бросился факелом к танку,
И вражеский танк подорвал.



МОРИС
ПОЦХИШВИЛИ



Тишина

Выведать
непознанную тайну
Можно лишь
У тишины великой.

Вновь,
Подобно женщине покорной,
Тишина
Лепечет неустанно.

Вслушайся!
Она одна глаголет:
Все иное —
Безъязыкий шум.

Арагва,
еще над стремниной
твоею походим

Арагва,
еще над стремниной твоею походим.
Еще понесу узелок свой дорожный
в Архоти.

Еще Датвисджвари¹,
простор рассекая хребтиной,
Закружит мне голову
синей вершиною-льдиной.

Арагва,
еще над стремниной твоею походим!

Еще я осмелюсь войти
в океанские бури.

И снова в Сванети
измерю высоты Ушгули².

Еще с соловьем я померяюсь
в главном уменье—
В счастливом безумье,

В полуночном сладостном
пенье.

Ты — мой виноградник!
А солнца сияют высоко.
Их — девять.

И ты наливаешься силой и светом.
Еще соберу твои грозди, отведаю сока
И снова поспорю с тобою, как некогда летом.

Крепчайшей стеною тебя опояшу в надежде,
Что ты сохранишься, мольбами моими хранима,
Еще я взойду на вершину высокую, прежде
Чем с этой вершины спуститься туда,
где равнина.
Еще я пройду по ущелью кипящей Арагви.

Поединок

В царстве своей мечты
Я облачился в доспехи
И, Дон-Кихоту подобно,
За смертью — драконом невидимым —
Погнался на Росинанте.
Битвы немедленной, скорой
Жаждал я, но дракон
Бежал от меня упрямо —
Похоже, страшился меня.
Одни надо мной потешались,
Другие считали безумцем...
Потом я уразумел
Горькую мудрость притчи,
Доставшейся нам от предка:
«Гнался — не смог догнать.
Сел я и подождал».
На перепутье терпенья
Стою с открытым забралом —
К скорой и неминуемой
Битве готовлюсь спокойно.
Знаю: рано иль поздно
Будет наш поединок.
Я или смерть —
Обратно с этого острова битвы
Вернется один из нас...

☆☆☆

Он так и умер —
Никого не полюбил.
И никого
Не смог возненавидеть:
Любить необходимо,
Чтоб иметь
На ненависть
Нелегкие права.
...Но никого
Не смог он полюбить.

☆☆☆

Если бы плакать могли бы
Эти платаны и липы —
Смыло бы лесорубов...

Перевел с грузинского
Я. ГОЛЬЦМАН

¹ Датвисджвари — перевал в Хевсуретии.

² Ушгули — селение.

ТАТЬЯНА
БЕК



☆☆☆

А мой не дальний предок —
Седой военный врач —
Был в разговорах едок
И, видимо, горяч.
В усы усмешку спрятав,
Любил кормить коняг.
Гремел на весь Саратов
Его чеканный шаг.
— Не оседая в кресле,
Рискуйте головой! —
Следы его исчезли
На первой мировой...
Двоюродная бабка,
Не поднимая век,
Поеживалась зябко
В тиши библиотек
И презирала бусы,
Осуществляя сдвиг —
В эпоху «Синей блузы»
И телеграфных книг.
...Остались — горстка пепла
И глинистая пядь.
Чтобы листва окрепла,
Заглядываю вспать.

☆☆☆

— Моя дорогая, моя золотая столица! —
...Еще на Арбате живут «престарелые лица».
Такого полета живут старики и старухи —
Их думы и хлопоты, нет, не о супе — о духе!
Люблю их вечерние речи о высях и безднах,
Их были и басенки о временах затрапезных:
Как молодо держат газету негибкие пальцы!
...Мои погорельцы, скитальцы, но нет,
не страдальцы!

Неуживчивый гений

Причудлив и строптив
Язык его точный.
Он, недоговорив,
Ушел ожесточенный,—

Оставив тяжкий том
Не просто сочинений,
А памяти о том,
Как неуживчив гений.

Не глина, а кремнь.
Отдельно, а не в свете.

— О, вы, на черный день,
Пожалуйста, прочтите!

☆☆☆

Я тебя разлюбила — глотатель
Новостей, пирогов и сердец!
Не творец, а бумагомаратель,
Остроумец, домашний мудрец.

А тебя полюбила — ваятель
Пирамиды, баллады, лыжни!
Путник, первопроходец, искатель,
Нелюбитель моей болтовни.

Посему обрываю признанья,
Принимая решительный вид.

...А в окно, как больничная няня,
Ледяная рябина глядит.

☆☆☆

Рот от жадности разинув,
Старится —
и поделом —
Завсегдатай магазинов,
Где торгуют барахлом.

Бедолага! Жалкий жребий:
Столько хлама перерыв,
Проворонить меж отрепий
Счастье, облако, обрыв.

☆☆☆

По свидетельству простолюдинки,
Находившейся у простыней,—
При рождении мальчишка Глиники
На дворе засвистал соловей.

...Я люблю твои трюки, Природа,
Твой лукавый и точный замах!
Снегопад очищает, как сода,
Жир и накипь на наших сердцах.

Дальше — больше. Разбуженным взглядом
Изумлюсь, объяснений прося:
— Снег и радуга!
— Видимо, рядом
Небывалый талант родился!

МОСКВА ЖДЕТ ПОСЛАНЦЕВ ПЛАНЕТЫ



В

Москве 27 июля откроется XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он станет важным этапом в борьбе за мир, дружбу и антиимпериалистическую солидарность. Будет проведен на родине великого Ленина в год 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в год, объявленный ООН Всемирным годом молодежи.

Спустя 28 лет после VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов столица нашей Родины вновь примет посланцев юности земли. История фестивального движения свидетельствует, что они стали мощным и эффективным средством выражения сокровенных надежд и чаяний молодых людей всех континентов, их решимости предотвратить ядерную катастрофу, добиться избавления человечества от голода, нищеты, неграмотности. Девиз фестиваля — «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу!»

Подготовка фестиваля не просто организация праздника, хотя, безусловно, это будет большой праздник. Необходимо сплотить все силы прогрессивной юности мира в борьбе против агрессии, войны.

В начале ноября в Москве состоялось III заседание Международного подготовительного комитета XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Слова «война» и «мир» звучали здесь особенно часто, ведь подготовка к Московскому фестивалю проходит в резко обострившейся международной обстановке.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНОЕ НЕВЫГОДНО

Читатель
продолжает разговор

В майском номере нашего журнала за 1984 год
был опубликован очерк Владимира Морозова

«Почему выгодное невыгодно».

Напомним вкратце содержание очерка.

В центре его — судьба астраханского
фрезеровщика Александра Григорьевича Стаханова.

Сорок с лишним лет работает он
в производственном объединении

«Астраханская судовой верфь имени Кирова».

Стаханов — известный рационализатор,
на его счету восемь изобретений.

Имеет правительственные награды.

Он член горкома партии и депутат
областного Совета. Словом, человек на виду.

Однако сам Александр Григорьевич
отнюдь не склонен считать
свою биографию удачной во всех отношениях.

Например, в делах изобретательских
удача ему явно изменила. На «пробивание»

каждой новинки у Стаханова
уходит гораздо больше времени,
чем на ее разработку.

На многие годы растягивается переписка
с Государственным комитетом СССР
по делам изобретений и открытий.

Не лучше обстоят дела и с внедрением
и с оплатой новшеств.

Александра Григорьевича
на верфи все знают, его успехи и неудачи
у всех перед глазами. И неудивительно поэтому,
что молодые коллеги Стаханова

с неохотой приобщаются к изобретательству,
хотя среди них немало способных людей.

Но, может быть, подобная ситуация —
исключение? К сожалению, нет.

Об этом говорят поступающие
в редакцию многочисленные отклики
на очерк В. Морозова. С некоторыми из них
мы и познакомим вас сегодня.

Наших читателей в основном волнуют те же проблемы, что и Стаханова и его молодых коллег.

«Попробуйте подойти сейчас к молодому токаря, фрезеровщику, слесарю, который хорошо знает свое дело и нередко имеет среднее специальное, а иногда и высшее образование, и скажите ему, что он может стать изобретателем, он только посмеется, приняв все за шутку». Это строки из письма, которое прислал нам электрослесарь А. Листопад из Богуславского района Киевской области. С ним вполне солидарен Б. Копелев, автослесарь из Магадана: «Многие рабочие, в том числе молодежь, смотрят на мытарства новаторов, и у них, естественно, пропадает всякое желание заниматься изобретательством. Как же при этом растить нам молодых?»

Вопрос резонный. Та же неподдельная тревога звучит и в письме нашего читателя И. Ярославцева из Чимкента: «Изобретатели были, есть и будут. Только вот многие из них, испортив свои нервы на волокиту с оформлением заявок, на многолетнее проталкивание и внедрение изобретений, получая за это гроши, бросают это неблагодарное дело. Остаются «железные мужики» вроде Стаханова. Но и железо тоже устает. Вот и Стаханов, какой он упорный ни будь, а тоже надоедает ему воевать. Про молодежь уже и не говорю. Словом, если не принять срочных мер, то недалеко то время, когда изобретатели совсем исчезнут, вымрут, как динозавры».

Конечно, автор этого письма излишне драматизировал ситуацию. Изобретатели не исчезнут и не вымрут. Напротив, число их растет. Растет и польза, которую они приносят стране. Это многие и многие миллионы рублей. Достижений в сфере технического творчества у нас достаточно. Мы не станем упоминать о них сейчас, потому что наш разговор о другом — о проблемах. Если бы эти проблемы удалось решать, то и достижений и тех самых миллионов было бы больше. Что для этого нужно? Казалось бы, очень немного. Убрать помехи с пути изобретателя. Основные из этих помех в последнем процитированном письме названы достаточно точно. Первая — это долгая и сложная процедура получения авторского свидетельства. Вторая — почти неизбежные трудности с внедрением. Третья — часто неудовлетворительная оплата изобретательского труда.

Начем с первой. Наш читатель Г. Герасимов из Чимкента сетует, что «на получение авторского свидетельства уходят долгие годы. Происходит это потому, что работники Всесоюзного научно-исследовательского института государственной патентной экспертизы (ВНИИГПЭ) раз за разом отвергают заявку. Причем используют для этого самые пустячные поводы».

Герасимову вторит инженер Н. Тарасенко из Москвы: «Очень жалко времени и сил, истраченных на бесплодную переписку с ВНИИГПЭ. Это драгоценное время можно было бы использовать для создания новых изобретений, но оно потрачено зря. Потеряли на этом и я лично и вся страна». Вот так! Не о мелких личных обидах речь, а об интересах страны. И так рассуждают не только Тарасенко, но и многие другие читатели. В этом основная мысль их писем — хотим

принести больше пользы! Хотим, но, к сожалению, можем далеко не всегда. Почему?

Большинство авторов писем обвиняют в этом упомянутый ВНИИГПЭ. Именно с этой организацией им приходится иметь дело больше всего. Но при всей нашей симпатии к вечно юной армии изобретателей мы вполне допускаем, что ошибаться могут не только работники института, но и сами новаторы. Тут возможна и неправильно составленная заявка и заново изобретенный велосипед. Мы не сомневаемся в компетентности и добросовестности экспертов. Но вот что удивляет. Игра «изобретатель — эксперт» идет как бы в одни ворота. Силы здесь заведомо неравные. Изобретатель, даже если он и выигрывает, то часто это пиррова победа: слишком дорого за нее заплачено. Причем, подчеркиваем это еще раз, платит не только сам автор, но и вся страна. Вполне понятно недоумение, которое высказывает в своем письме тот же Тарасенко: «Получается довольно странная картина. Автор на протяжении длительного времени доказывает свою правоту, затрачивая уйму сил и времени. И когда, наконец, правое дело побеждает, те, кто волею или неволею ставил палки в колеса, не несут никакой ответственности за допущенные ошибки».

Еще об одной помехе, стоящей на пути изобретателя. Страсти особенно накаляются, когда дело доходит до внедрения. А оно может растянуться на неопределенно долгий срок. В печати нередко высказывается о таких случаях. В чем тут дело? Кто виноват? Наш читатель Р. Чулков из города Георгиев Воронежской области считает, что виноваты «безответственные люди, бюрократы, волокитчики, и против них надо ужесточить меры воздействия». Не возражаем, за волокиту надо строго наказывать. Но одних ли бюрократы здесь виноваты? Боимся, что нет. Дело гораздо сложнее. Вот что пишет об этом московский изобретатель, токарь-лекальщик Б. Данилов:

«Когда речь идет о рацпредложении, о небольшом усовершенствовании, то внедрить его несложно. Больших затрат труда и материалов не надо. Новатор сам или с товарищем за день-другой может воплотить свою «рацуху» в металл. Если она приглянется другим рабочим, то они тоже сделают ее без особого труда. Другое дело — серьезное изобретение. Как правило, чтобы его внедрить, нужна помощь конструкторов, технологов, иногда экономистов. Часто необходимы дефицитные материалы. Не обойтись без участия высококвалифицированных рабочих разных специальностей. Иногда в одном цехе всех этих людей не сыскать. Надо обращаться к соседям. Такой крупномасштабной операцией должен руководить начальник цеха или другой командир производства более высокого уровня. Но у этих людей и так забот выше головы. Они бы, может, и рады помочь, но у них план горит, снабженцы их подводят. Где уж тут отвлекать людей на внедрение изобретения. Вот и получается, что изобретение часто никому не нужно. Как в нашем очерке: выгодно невыгодно».

Вот такая картина. Вроде бы никаких бюрократов, а дело ни с места. Но, может быть, токарь Данилов преувеличивает? Нисколько. За его плечами большой опыт изобретательской деятельности. Он много занимался внедрением не только своих собственных разработок, но и новшеств, предложенных другими. Выполнил это как общественное поручение, будучи членом Центрального совета БОИР и председателем Московского городского совета новаторов. О своем богатом жизненном опыте, о делах своих товарищей-изобретателей он рассказал в нескольких книгах, опубликованных издательством «Московский рабочий».

Мнение Б. Данилова достаточно определено — система плановых показателей цеха и предприятия по-

строена таким образом, что энергично внедрять новое никому невыгодно. Подобные мнения так или иначе высказывают и некоторые другие читатели. Та же мысль прозвучала и в материалах пюньского (1983 г.) пленума ЦК КПСС: «Хозяйственник, который пошел на «риск» и ввел на предприятии новую технологию, применил или произвел новое оборудование, нередко остается в проигрыше, а тот, кто чурается новшеств, ничего не теряет».

Предпринимаются различные шаги, чтобы изменить положение. В частности, по условиям проводимого сейчас в нескольких отраслях промышленности широкомасштабного экономического эксперимента заинтересованность предприятий во внедрении новшеств должна значительно повыситься. Было бы очень интересно, если бы наши читатели, имеющие отношение к эксперименту, рассказали о сути происходящих перемен, о том, какие проблемы уже удалось решить, какие нет.

А пока читатели напоминают о возможности ускорить продвижение изобретения с помощью специальных хозрасчетных подразделений — фирм внедрения. Об этих фирмах написано и говорено немало. Однако вопрос с их созданием решается робко. Инженер М. Ханназов из Стерлитамака пишет: «Пример функционирования таких подразделений в Союзе уже есть: это азербайджанский «Новатор» и эстонский «Эффект» — чисто внедренческие организации. Надо создавать больше таких фирм, вначале, может быть, в порядке эксперимента в наиболее развитых экономических районах, обеспечив таким подразделениям законные права советского предприятия».

И, наконец, последнее. Оплата труда изобретателя. Интересно, что наши читатели уделяли ей сравнительно немного внимания. Если они и говорят о ней, то, как правило, в последнюю очередь и достаточно коротко. Почему так? Скорее всего потому, что изобретатели — люди, в основном страстно увлеченные своим делом, любящие его до полного самозабвения. Высшей наградой за творческий труд служит для них возможность заниматься этим трудом. Хотя и такие энтузиасты тоже заходят иногда в магазин, и товар им там продают не за «спасибо», а за обыкновенные рубли. Кто из этих людей станет возражать, если за интенсивную творческую работу им и заплатят соответственно! Это было бы справедливо. И полезно не только отдельным людям, но и всему обществу. Хорошее материальное поощрение побуждало бы новатора трудиться с еще большей отдачей, привлекало бы к изобретательству много способных людей.

К сожалению, на практике сплошь и рядом бывает по-другому. Платят изобретателям немного и не очень охотно. В нашем очерке, опубликованном в № 5 журнала за 1984 год об этом сказано достаточно. Поэтому новых примеров приводить не будем. Пропитируем лишь одно письмо. Его автор инженер В. Ефимов из Свердловска считает, что для улучшения изобретательской работы «нужно прежде всего пресечь крохоборство с оплатой изобретений». Сказано резко. Но по сути верно. Менее категорично, но то же самое говорят и авторы других писем. Как выполнять их пожелания и предложения? Это вопрос, как и многие другие, упомянутые в обзоре, — к специалистам, работникам Госкомизобретений, Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, к экономистам и юристам.

ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ И ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАЗГОВОРЕ О СУДЬБЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЯ.



ТАТЬЯНА ВЕНЕДИКТОВА

«ХОЧУ СПРОСИТЬ ВАС, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ...»



В начале лета 1983 года американка Ариэла Гросс, выпускница средней школы Принстона, у себя на родине вдруг стала знаменитостью. Если б ее кто спросил даже двумя месяцами раньше, чем ее жизнь замечательна и необыкновенна, она, наверное, не нашлась бы с ответом. Ну — отличница, ну — занималась легкой атлетикой, редактировала школьную газету... Тысячи, пожалуй, миллионы ее сверстников могли бы рассказать о себе подобное.

Необыкновенное в жизни Ариэлы началось в тот день в конце апреля, когда она получила телеграмму от Рональда Рейгана: глава американского государства поздравлял 17-летнюю школьницу с присуждением ей Президентской стипендии.

Что это за стипендия? Ежегодно 1000 наиболее талантливых и прилежных учеников выпускных классов по всей Америке получают приглашение участвовать в конкурсе. Сочинения на «вольную» тему позволяют высокой комиссии (назначаемой самим

Минувшим летом в столице Соединенных Штатов состоялся «Марш детей на Вашингтон за ядерное разоружение». Сотни мальчишек и девчонок, собравшись у Белого дома, потребовали от администрации Рейгана обеспечить подрастающему поколению США будущее, свободное от угрозы уничтожения в ядерном пожаре.

Фото ТАСС

президентом) судить о степени гражданской зрелости претендентов, с тем чтобы из 1000 отобрать 121 человека. К ним прибавляются еще 20 старшеклассников, особо преуспевших в искусствах (их рекомендует комиссия по поиску молодых дарований при Национальном фонде развития искусств). В награду победителям — пятидневная бесплатная поездка в Вашингтон, встречи с видными общественными деятелями, экскурсии и развлечения, торжественная церемония вручения памятных медалей в Белом доме, а также 1000 долларов наличными.

Вполне естественно, что первая половина мая для Ариэлы прошла под знаком восторгов и поздравлений: вместе со 140 сверстниками она представляла ни много ни мало цвет американской молодежи, надежду своей родины и будущее ее. «Если только у нас БУДЕТ будущее» — эта невеселая мысль, как вспоминает сама почетная стипендиатка, в те дни вертелась в ее голове неотвязно. Она рассудила так: награда — честь, но и ответственность. И решила действовать.

27 мая Ариэла «отгрузила» в почтовый ящик 140 писем в разные концы Соединенных Штатов. В каждое был вложен конверт с маркой и обратным адресом и еще с полстранички машинописного текста, предлагаемого вниманию «товарищей по счастью». Написано там было вот что:

«Дорогой господин президент!

Нам, президентским стипендиатам, выпала честь представлять молодежь Америки. Нас радует и воодушевляет ваша вера в то, что нам предстоит сыграть роль в созидании будущего нашей родины. Однако мы не можем принять эту высокую честь, не высказав в то же время глубочайшей тревоги по поводу этого будущего. Поэтому мы обращаемся к вам, господин президент, с призывом приложить все усилия, чтобы остановить гонку вооружений — она угрожает нашему завтра, в котором мы надеемся осуществить свои сегодняшние мечты.

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем и призываем вас поддержать предложение о замораживании ядерных вооружений, изложенное ниже. Это предложение с различными поправками и дополнениями уже было принято Палатой представителей США 3 мая 1983 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАМОРАЖИВАНИИ ЯДЕРНЫХ ВООРУЖЕНИЙ. С целью укрепления национальной и международной безопасности США и СССР должны остановить гонку ядерных вооружений. В частности, они должны обоюдно заморозить испытание, производство и развертывание ядерного оружия, а также ракет и новых видов самолетов, предназначенных для доставки ядерного оружия. Это необходимый и реальный шаг на пути к уменьшению риска ядерной войны и снижению ядерных арсеналов».

Первой реакцией на письмо Ариэлы был... телефонный звонок из Белого дома. Исполнительный директор Президентской стипендиальной комиссии Гэри Стембер долго и грозно беседовал с матерью Ариэлы: знает ли она, что наделала ее дочь?! Знает ли она, что стипендия теперь скорее всего будет аннулирована, а на имя мисс Гросс ляжет, пожалуй, пятно опасного «радикализма»?!

Для Ариэлы и ее мамы за этим последовала бессонная ночь в трудных и грустных разговорах. Они, в общем, поверили угрозам Стембера. Отказаться от письма? Нет. Отказаться от стипендии? Но это будет значить, что ей, Ариэле, заткнули рот!

Наутро Стембер позвонил снова. Теперь он разыгрывал своего парня, был исполнен сочувствия и все валил на узколобое начальство в министерстве образования и в Белом доме. Хочешь не хочешь,

придется им обо всем доложить, не то он сам останется без работы. А ведь сколько сил он положил на восстановление этой стипендиальной программы, которую 10 лет назад взял да и отменил Ричард Никсон. А знаете, почему отменил? После того, как один из стипендиатов публично отверг награду, заявил, что примет ее, «когда вы уберетесь из Вьетнама». Вы что думаете, Рейган поведет себя иначе? Пусть Ариэла пообещает, что 16 июня, когда им будут торжественно вручать медали, она не совершит никаких неподобающих поступков.

Ариэла дать какие-либо обещания отказалась — в том, что собиралась сделать, она не видела ничего неподобающего, скорее наоборот. «Я думаю, нам можно доверять», — скажет она позже корреспонденту столичной газеты. — Разве сам президент не считает, что мы из «лучших и достойнейших»?.. Мы не коммунисты, и мы не находимся под чьим бы то ни было вредным влиянием, и мы искренне озабочены тем, что вокруг нас происходит. Я полагаю, что нам представилась самая подходящая возможность об этом заявить публично».

Между тем произошло кое-что, существенно повлиявшее на дальнейшее развитие событий. В поисках поддержки Ариэла позвонила в агентство Ассошиэйтед Пресс: информация о ее намерении обратиться к президенту США с естественным и благородным призывом к миру, а также о, мягко говоря, странной реакции на это властей в тот же день промелькнула по радио. В Белом доме отреагировали не менее оперативно: казус со строптивницей Гросс «спустить па тормозах», по возможности без шума.

На следующий день Ариэле позвонил Том Андерсен, помощник министра образования США Т. Белла: он авторитетно заверил, что посягать на ее конституционные права, запугивать, шантажировать ее или ее родителей никто не посмеет, а Стембер все-навсего «зарвавшийся служака». Ариэла получит заслуженную награду — пусть никто в этом не сомневается!

А что же стипендиаты — «лучшие и достойнейшие», в ком Ариэла искала единомышленников? Возможность публично высказаться в пользу разума и мира вдохновила как будто бы немногих. Из 140 человек ответили Ариэле 50. Из них 24 поддержали ее обращение к президенту и готовы были его подписать; 10 выразили заинтересованность, но занять определенную позицию не пожелали; все остальные высказались резко против.

Все станет яснее ясного две недели спустя, когда Ариэла случайно получит возможность познакомиться с анонимными анкетами, которые полагалось заполнить президентским избранныкам. Только двое из них охарактеризовали свои политические взгляды иначе, чем «умеренно» или «крайне» консервативные; только трое оказались демократами, остальные — республиканцы; только один атеист, большинство прочих — «глубоко верующие». Из современников они больше всех почитали Рональда Рейгана или Маргарет Тэтчер (некоторые, правда, называли еще Ричарда Никсона). «Меня поразило, что из 1000 учеников, отобранных на основании совершенно объективных количественных показателей успеваемости, — напишет по этому поводу Ариэла, — рейгановская комиссия после чтения конкурсных сочинений, где в рамках «социальных проблем» обсуждались политические взгляды, сформировала группу насквозь республиканскую, консервативную, религиозную, про-рейгановскую».

Но тогда, в первые дни их пребывания в Вашингтоне, она об этом не подозревала. В атмосфере, однако, чувствовалась нервозность. За спиной то и дело шепоток: «Которая — Ариэла? Та, что письма

писала?» Некоторые подходили — поодиночке, приватно, с осторожными расспросами: разве она не чувствует, что большинство — против? Неужели не пойдет на компромисс?

Ей очень хотелось поговорить с ребятами, еще раз разъяснить им свою позицию, свои намерения. Однажды вечером такая встреча (а ей администрация противилась до последнего, ссылаясь на недостаток времени!) все же состоялась. Пришло человек 90, расселись полукругом, а Ариэла встала и задала вопрос, который хотела задать давно: где вы, те, кто мне написал, кто был за, против или колебался, но был неравнодушен? Где вы? Что с вами произошло? Что произошло с вашей совестью? Так, в сущности, стоял вопрос.

Вокруг него и завертелась дискуссия, продолжавшаяся за полночь. Выяснилось, что понятие «гражданская совесть» они трактуют по-разному. «У тебя нет морального права выходить на президента с таким письмом», — сказали Ариэле. «Я считаю это своим моральным долгом», — ответила она. Ей возражали: «Нас же большинство». Она твердила упрямое: «Вопросы совести не решаются большинством голосов». «Ну ладно, пусть она останется при своем праве, но ведь оно не должно же ущемлять права других!» «Какие права?» На этот вопрос ее оппоненты не смогли сразу ответить. В конце концов решили: право на стремление к счастью (читай — к сытой жизни и карьере).

Стив Хеллман, стипендиат из Аризоны, объявил, что сам напишет письмо Рейгану и в нем извинится за поступок мисс Гросс, письмо обязательно дойдет до президента через одного Стивова дружка. «Ну, не у всех у нас есть такие дружки, чтобы добиваться внимания избранных нами руководителей», — бросила в ответ Ариэла. Конечно, ей пришлось нелегко. «Я чувствовала себя совершенно одинокой, пока наконец одна девочка из Иллинойса, Ким Кроуфорда, не встала на мою защиту и не спросила: «Но разве должен человек отказаться от себя, если он стал президентским стипендиатом?» Кто-то ей ответил: «Да, должен». Тут я встала и вышла вон. Что толку разговаривать, если предполагается, что надо жертвовать убеждениями ради стипендиальной программы!»

Обстановка накалялась. В понедельник 13 июня газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала на первой полосе фото Ариэлы и статью под названием «Для непокорной стипендиатки труден путь в Белый дом». С этого дня вокруг нее постоянно толкались репортеры. Повсюду, куда бы ни приезжали автобусы с ребятами, мгновенно возникали микрофоны и кинокамеры. Иных это злило. Дошло до того, что группа раздраженных стипендиатов набросилась на Ариэлу с оскорблениями, шустрый оператор принялся все это снимать... Ариэла не выдержала — расплакалась. Было одно желание: куда-нибудь скрыться. «Я нашла телефон, позвонила маме. Сказала ей, что откажусь от награды и уеду домой». Она ответила: «Правда на твоей стороне, тебе нельзя сдаваться. И не воображай, что, если вернешься домой, это будет подвиг великомученицы!»

Ариэла не сдалась. И вскоре поняла, что в своем упорстве не одинока. Мэри Макгории, обозревателка газеты «Вашингтон пост», подбодрила девушку, убедила ее встретиться с членом палаты представителей Эдом Марки. Вместе с ним она отправилась на митинг протеста против ракет «МХ», который происходил в один из тех дней на ступенях Капитолия.

Митинг поразил воображение Ариэлы. Огромное пестрое множество людей, воодушевленных одной идеей и заботой. На трибуне сенаторы, конгрессмены, представители общественных организаций. «Я

слышала, как они клеймили тех членов конгресса, кто голосовал сначала за замораживание, а потом за «МХ»: «Вам должно быть стыдно самих себя!» Я слышала, как член палаты представителей Том Доу-нен спрашивал толпу: «Разве это хорошая политика?» И я слышала, как они отвечали: «Нет!» Потом Марки сказал: «Не знаю, читали ли вы уже об этом в газетах, но в нашем городе находится сейчас одна школьница — она пытается передать президенту письмо о замораживании ядерных вооружений. В моих глазах она стала чем-то вроде национального символа. Я знаю, что она здесь, с нами, и я попрошу ее сказать несколько слов».

Я совсем не готовилась выступать и начала так: «Сегодня некоторые удивительные женщины говорили здесь о стране, сотворенной детьми народа для детей народа. Я выступаю сейчас от имени детей и от имени народа...» Митинг подтвердил мое понимание того, что же главное в происходящем с нами сейчас. Главное — не слепые страхи, не всецелые пропаганды, не рабское почитание каких-то прописей. Это солидарность, это — человеческое сочувствие, это мир».

Между тем наступил день торжественного приема в Белом доме. Ариэла твердо решила, что свое письмо (подписанное, кроме нее, еще 13 стипендиатами) она вручит публично министру образования Т. Беллу, он должен был официально представлять президента на церемонии вручения наград.

О том, что происходило с нею дальше в тот день, 16 июня, пусть лучше расскажет она сама. Ее искренний и безыскусный рассказ чем-то напоминает школьное сочинение «Как я побывала в Белом доме». Только для нее то была не праздная экскурсия, а пусть маленький, но акт гражданского мужества.

«В четверг, в 10 утра, наш автобус остановился у южного подъезда Белого дома. Свое письмо я держала в руках, в большом плотном конверте. Автобус встречал Том Андерсен, он пригласил меня пересест в подъехавший тут же лимузин. «Не бойся», — сказал он, — никто у тебя твой конверт не отнимет». Он объяснил, что нам предстоит еще раз все обговорить кое с кем в Белом доме.

Мы подкатили к западному подъезду, вышли из лимузина и получили опознавательные карточки-значки. «Сейчас мы встретимся с Крэйгом Фуллером», — сказал мне мистер Андерсен, — помощником президента по делам кабинета». Он дал мне прочесть краткую биографию мистера Фуллера и рассказал, что за важный это человек. Потом мы уже все втроем присели побеседовать. «Так из какого ты штата? Очень жарко сегодня, не правда ли?» «А не мог бы мистер Фуллер взглянуть на мою петицию?» «Конечно, мог бы». «Прекрасно, прекрасно. Быть может, ты согласишься передать ее президенту лично, наедине?»

На это я сказала: «Президент обратится к нам через своего официального представителя, который будет нам вручать медали. Думаю, и для меня это будет самый подходящий момент, чтобы обратиться к президенту».

«Упускаешь единственный в жизни шанс», — предупредил меня мистер Фуллер. Потом он спросил, не желаю ли я все же побеседовать несколько минут с президентом. Мистер Андерсен и мистер Фуллер встали. «Вверх по этой лестнице, пожалуйста».

Не успела я сообразить, что к чему, как оказалась в комнате, где, кроме меня, находились президент Рейган, мистер Фуллер, мистер Андерсен, агенты охраны и 4 телекамеры («Ты же потом захочешь иметь фотографию, где сидишь вместе с президентом!»)

Я поздоровалась с президентом за руку. Миг поколебалась, а потом все же отдала письмо. Он пробежал его глазами, потом сложил и сунул в нагрудный карман. Я попросила его ответить на несколько моих вопросов. Мы присели («С этого кресла только что встал вице-президент!»).

Президент Рейган объяснил мне, что русские вон где (он поднял одну руку), а мы вот где (он опустил другую), так что получается зазор уязвимости. «Но, господин президент,— перебила я его,— ведь комиссия Скоукрофта, вами же назначенная, показала, что нет никакого зазора уязвимости». «Комиссия Скоукрофта,— сказал он,— рекомендовала построить 100 ракет «МХ», дабы поддерживать мир посредством силы». «Но ведь ракеты «МХ» не оружие защиты,— сказала я,— это оружие первого удара». «Русские,— сказал мне мистер Рейган,— уже имеют множество видов оружия первого удара». Потом в течение приблизительно 10 минут он приводил мне цифры, показывающие, как далеко мы отстали от русских.

Сначала я пыталась припомнить другие цифры, чтобы его опровергнуть, только из этого все равно ничего не вышло. Когда в конце концов у меня появилась возможность вставить словечко, я сказала: «Господин президент, вы назвали очень много цифр, доказывающих вашу правоту. Но я тоже могу назвать много цифр, доказывающих, что у нас с русскими приблизительно равенство сил. Мы тут можем с вами обсуждать убийную силу, количество ракет, боеголовок, ракет наземного базирования и подводных лодок. Но цифрами ведь можно вертеть и так и сяк. Не в них дело».

Ответ его был таков: «Знаю я твои цифры. Ты представляешь себе, откуда берутся подобные выкладки? Все твои цифры — фальшивки». Он несколько раз повторил слово «фальшивки». И еще объяснил, что, будучи президентом, имеет доступ к такой информации, которая рядовым гражданам недоступна, а потому находится в лучшем положении, чтобы судить о вещах, от которых зависят непосредственно жизнь и смерть людей. «Уж ты мне поверь, я об этом все время спорю с собственной дочерью».

Тут мистер Андерсен дал понять, что время истекло. Все повставали с мест. «Господин президент,— сказала я тогда,— я хочу вас спросить еще только вот о чем. Мы тут с вами сидели и разговаривали о военной стратегии, о стратегии войны, которую выиграть невозможно. Но что если — ЧТО ЕСЛИ — предложение о замораживании ядерных вооружений все же было бы принято? И мы предложили бы это Советам? Что бы произошло, как вы думаете? Чего вы так боитесь?»

Президент Рейган на мой вопрос не ответил. Он сам спросил: «Ты знаешь, кто первым внес предложение о замораживании ядерных вооружений?» «Леонид Брежнев», — сказала я. «Советы заинтересованы в замораживании...» — продолжал он. «Ну и что! И чудесно! Раз они этого хотят, пусть будет взаимное замораживание, мы ведь тоже этого хотим, и они пойдут нам навстречу!», «...потому что они имеют над нами преимущество», — и он по новой завел речь о зазоре уязвимости.

Тут мы снова пожали друг другу руки. Мистер Андерсен сжал президентскую руку в своей и воскликнул: «Встреча с вами, господин президент, это такая честь! Я преклоняюсь перед тем, что вы делаете!» «Как, вы сказали, вас зовут?» — спросил его президент. Пока мы шли к дверям, другие помощники кружили вокруг президента и наперебой говорили: «Отлично сделано! Мы преклоняемся перед вами, господин президент!» А когда мы подошли к лестнице, один из них ткнул пальцем влево, в сто-

рону зала, где заседает кабинет, и сказал: «Там выносятся великие решения!»

Что касается церемонии вручения медалей, то она прошла без сучка, без задоринки. Наблюдая за министром Беллом, я заметила, про себя усмехнувшись, что публичная передача ему письма не внесла бы ни малейшего беспорядка, ведь с каждым из награждаемых он беседовал по несколько минут.

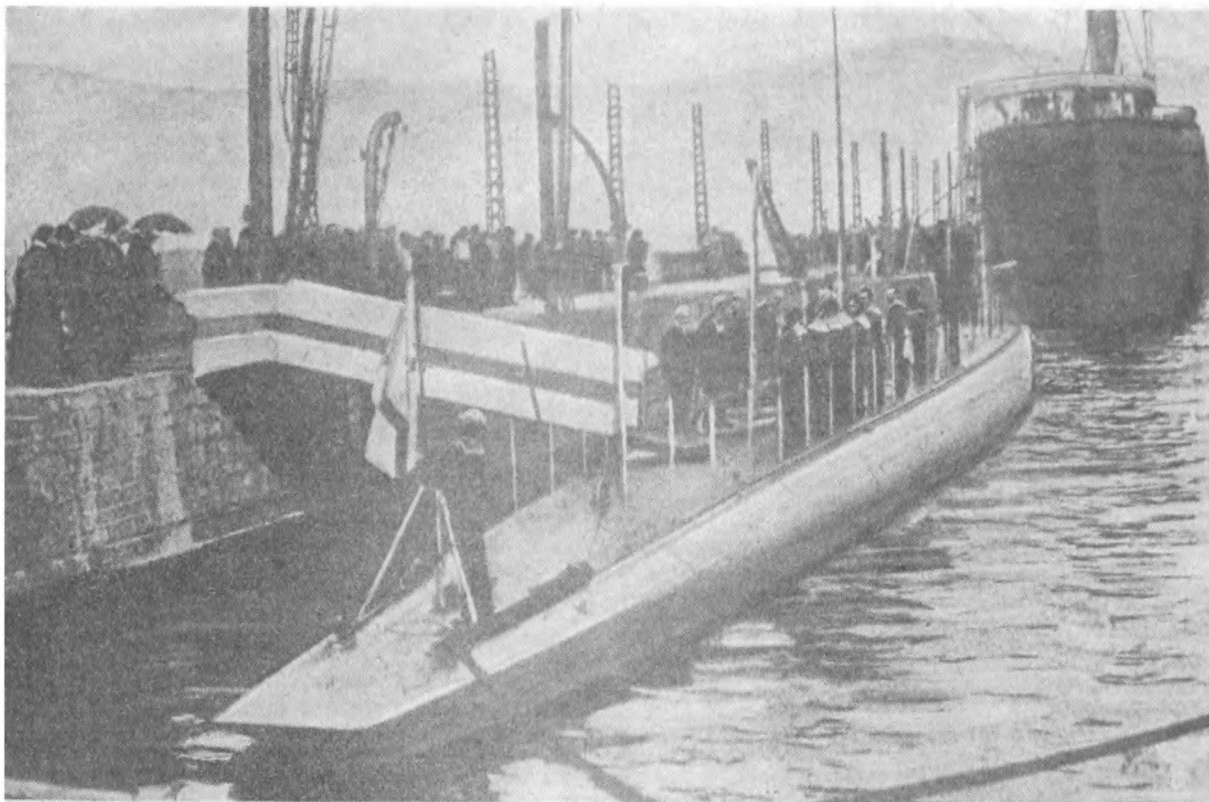
Президент Рейган заставил себя подождать с полчаса, прежде чем вышел к нам с речью. Он кратко нас поздравил, а потом обратился к насущным вопросам, связанным с ядерным вооружением. Это было слово в слово та самая речь, что я уже слышала. Он, правда, добавил несколько фраз о том, что гордится страной, преумножающей свою силу, и еще о том, что «привилегия свободы речи» предполагает «обязанность выступать с правильных позиций».

Так закончилась эта история с прошением президента. С внешней стороны она производит впечатление скорее благостное. Глава государства принял провинциальную школьницу в собственных апартаментах; письмо ее поместил в жилетный карман, так сказать, близко к сердцу; усадил гостью в кресло, нагретое самим вице-президентом, и в довершение всего терпеливо в течение нескольких минут обсуждал с семнадцатилетней пичужкой проблемы глобальной стратегии! Чего же ей больше? Нет, не зря поздравляли Рональда Рейгана приближенные чиновники («Отлично сделано!»), не зря дежурили под рукой фотокорреспонденты, готовые запечатлеть сусальную картинку торжества американской демократии.

Только что-то не счастлива публично осчастливленная Ариэла Гросс: сквозит в ее рассказе горькая ирония — след, быть может, впервые в жизни пережитого крушения социальных иллюзий. Перед нею, дочерью народа, случайно оказавшейся в поле внимания национальной прессы, важные дяди из офисов, где «выносятся великие решения», разыграли банальный спектакль. Ее «детский» вопрос — что же мешает нам жить в мире? — потонул во встречном потоке пустой риторики.

«Прием на высшем уровне» не ослепил Ариэлу, напротив, заставил более реально и трезво взглянуть на иные из усвоенных с детства понятий. «После моего возвращения из Вашингтона,— продолжает она свой рассказ,— я получила и продолжаю получать сотни писем — из каждого штата, от молодых и старых, богатых и бедных. Я была очень разочарована президентской стипендиальной программой, но эти письма помогли мне восстановить веру в мою страну».

Сейчас Ариэла Гросс — студентка старейшего в США Гарвардского университета. Ее планы — участвовать и дальше в борьбе за мир, гражданские права, против угрозы ядерного уничтожения человечества. На этом пути она уже нашла и еще найдет себе товарищей. Все больше людей в Америке и во всем мире понимают то, что поняла она. Правда современной эпохи — это солидарность, это человеческое сочувствие, это мир. И их голос нельзя заглушить и нельзя не услышать.



НИКОЛАЙ
ЧЕРКАШИН

ПО СЛЕДАМ «СВЯТОГО ГЕОРГИЯ»

МАЛОИЗВЕСТНАЯ
СТРАНИЦА ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФЛОТА:
ПЕРВОЕ ОКЕАНСКОЕ ПЛАВАНИЕ
РУССКОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ

Журнальный вариант.

Старая сенсация



Для меня эта история началась семь лет назад на книжном кладбище близ Преображенского рынка. Сторож районного склада макулатуры разрешил порыться в горе книг, журналов, газет, сданных в обмен на «Французскую волчицу» или «Черного консула». Я и подумать не мог, что там, за складским забором, под мелким осенним дождичком, поиск книжных диковинок, принесенных в жертву «Волчице», обернется для меня событиями куда более увлекательными, чем интриги французского двора.

Дома, разбирая находки — подмоченный том «Морской гигиены», «Справочник по реактивным самолетам» и бесплатное приложение к газете «Рабочая Москва» с романом Новикова-Прибоя «Соленая купель», — я обнаружил и кусок дореволюционной газеты с оторванным названием. Внимание мое привлекла маленькая заметка собственного корреспондента Петроградского телеграфного агентства в Риме, датированная 23 сентября 1914 года: «С СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ВЕРФИ «ФИАТ» В СПЕЦИИ УГНАНА ПОДВОДНАЯ ЛОДКА, СТРОЯЩАЯСЯ ПО ЗАКАЗУ

Подъем флага на «Святом Георгии». Специя, 7 мая 1917 г.

РУССКОГО ФЛОТА. ПОХИТИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ОТСТАВНОЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ МОРСКОЙ ОФИЦЕР БЕЛЛОНИ, ИЗВЕСТНЫЙ СВОИМ ФРАНКОФИЛЬСТВОМ И РУСОФИЛЬСТВОМ.

ИМ ОСТАВЛЕНО НА ИМЯ ПРАВЛЕНИЯ ВЕРФИ ПИСЬМО, В КОТОРОМ ОН ПРОСИТ ОТЛОЖИТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ О ЕГО ПОСТУПКЕ, ОБЕЩАЯ ПРИСЛАТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ ИЗ ПЕРВОГО ЖЕ ПОРТА. ЗНАЮЩИЕ ЕГО ЛИЦА ГОВОРЯТ, ЧТО БЕЛЛОНИ—СПОКОЙНЫЙ, УРАВНОВЕШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. ПРАВЛЕНИЕ ВЕРФИ, КАК ЭТО НИ СТРАННО, УЗНАЛО О ПРОПАЖЕ ТОЛЬКО СПУСТЯ 8 ЧАСОВ, ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТКРЫЛО ПО ЭТОМУ ДЕЛУ СЛЕДСТВИЕ...

Заметка обрывалась, как бутылочное письмо в жюльверновском романе, заставляя гадать, домысливать... Прислал ли Беллони объяснение своему поступку «из первого же порта»? Зачем и куда угнал итальянец русскую подводную лодку? Да и чем кончилась вся эта необычная история? Видимо, в последующих номерах газеты были новые сообщения корреспондента ПТА... Вспоминаю: этот обрывок я извлек наудачу из картонной коробки с надписью «Вермут». Коробка осталась в левом углу навеса, рядом с прессовочным станком. Утром заглядываю на склад. Коробка на месте. Роюсь в кипе старых «Работниц»... Чьи-то медицинские конспекты в ветхих газетных обложках. Вот с этого я оборвал клоч с заметкой... Бережно снимаю одну обертку, другую... Удача почти невероятная! В уголке газетной полосы читаю:

«К УГОНУ РУССКОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ». (РИМ, 28 (9) СОБ. КОРР. ПТА). ОТСТАВНОЙ МИЧМАН АНЖЕЛЛО БЕЛЛОНИ, УГНАВШИЙ С ВЕРФИ «ФИАТ» ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ, СТРОЯЩУЮСЯ ДЛЯ РУССКОГО ФЛОТА, ЗАЯВИЛ О СВОЕМ НАМЕРЕНИИ ПОДНЯТЬ РОССИЙСКИЙ ФЛАГ И ВСТУПИТЬ В ВОЙНУ ПРОТИВ ГЕРМАНИИ НА СТОРОНЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ».

Старая сенсация сохранила свой заряд до наших дней. Шутка ли — угнать подводную лодку?! Не самолет, не танк — подводный корабль. Впрочем, в более поздние времена угоняли и подлодки. Последняя попытка была сделана недавно в Сан-Франциско. Группа неизвестных лиц пыталась увести в море подводный атомоход, чтобы произвести ракетный залп по атлантическому побережью США. Но это политический гангстеризм, авантюра на грани безумия. Поступок Беллони при всей своей сумасбродности, бесспорно, был совершен в порыве патриотизма. Можно понять молодого офицера, наделенного к тому же южным темпераментом: Россия ведет борьбу с заклятым врагом Италии — австро-венгерской империей, а правительство родной страны всеми мерами пытается сохранить позорный — в глазах рвущегося в бой мичмана — нейтралитет. О, он сумел преподать хороший урок — должно быть, казалось Беллони — своим адмиралам, своему правительству! Я невольно проникся симпатией к этому дерзкому моряку. Но, наверное, вся эта история так бы и осталась для меня курьезом, забытой сенсацией, если бы через неделю мне не выпала командировка в Италию — поход в Средиземное море с отрядом балтийских кораблей.

Вообще-то узнавать о судьбе Анжело Беллони и его подводной лодки надо было именно в Специи, где строилась лодка, но командировка предусматривала посещение только двух итальянских городов — Ливорно и Флоренции. Спрашивать в чужой стране наугад: «А не знаете ли вы человека, жившего полвека назад?» — дело куда как безнадежное. Единственное место в Ливорно, где могли хоть что-то слышать об истории с угонкой русской субмарины,—

это судостроительная верфь «Орландо». ...Выгадав время поближе к концу рабочей смены, прошу водителя остановиться у ворот судоверфи. Со мной наш переводчик. Выбираем в потоке рабочих самых пожилых. Вот, кажется, этот, в синем комбинезоне, с висками, заросшими серебряным волосом.

— «Фиат»? — переспросил рабочий переводчика. — Беллони? Угон лодки? — По выражению лица видно, что обо всем этом человек в синем комбинезоне слышит в первый раз. Но уходить просто так он не собирался.

— Витторио! — окликнул он из толпы высокого старика в кепи с длиннющим козырьком. И пока старик пробирался к нам, новый наш знакомый рассказал, что Витторио еще до войны — второй мировой, разумеется, — строил корабли по русским, то есть советским, заказам и что знаменитый лидер черноморских эсминцев «Ташкент» строился именно здесь, на стапелях «Орландо». Витторио тоже ничего не знал о давнем событии, но он остановил еще пару своих коллег, и вскоре возле нас собралось довольно шумное и энергичное общество. На меня поглядывали с любопытством и чуточку сочувственно, так, будто это у меня лично угнали семьдесят лет назад подводную лодку.

— Беллони, Беллони? — повторялось на все лады. — Специя, «Фиат»...

И все пожимали плечами. Ничего не оставалось, как распрощаться и поблагодарить всех по меньшей мере за отзывчивость, за готовность помочь... Мы возвращались в порт пешком — до стоянки нашего корабля рукой было подать, как вдруг у памятника «Четырем маврам» нас нагнал чернокудрый парень в полосатой майке и что-то быстро-быстро стал говорить переводчику. Тот достал блокнот, и парень начертил схему со стрелками.

— Он говорит, — пояснил переводчик, — что какой-то Беллони, старый-престарый старик, живет во Флоренции, и нарисовал, как его отыскать.

Это была слишком невероятная удача, чтобы в нее можно было поверить сразу. Ну, пусть это не сам Беллони, а в лучшем случае кто-то из его родственников, все равно ведь что-то можно будет узнать.

Я с трудом дождался следующего дня, когда огромный автобус повез наших матросов на экскурсию в город Данте и Микеланджело. Во Флоренции, уловив момент, мы с тем же переводчиком, сотрудником нашего консульства, которого тоже заинтересовала история с подводной лодкой, разыскали дом, указанный на чертежике в блокноте, поднялись по железной лестнице — площадки ее выходили во двор наподобие балконов — на самый верхний этаж и там на двери с искомым номером нажали рычажок старого велосипедного звонка, привернутого прямо к ручке. Дверь открыла пожилая женщина в пластовом переднике. Узнав, что нам нужен Беллони, она провела нас к отцу — сухонькому лысому старцу, который, несмотря на свои восемьдесят лет, сохранил и блеск в глазах и ясную память.

С первых же фраз выяснилось, что Уго Беллони, так звали хозяина комнаты, никакого отношения к своему однофамильцу Анжело Беллони не имеет. Более того, в их роду никогда не было моряков, все мужчины занимались только стекольным ремеслом. Лично он сам, Уго Беллони, мастер высшего класса по шлифовке линз и прочих оптических деталей. И уж если мы, русские, интересуемся «Сан Джорджин» — так, сказал он, назвали впоследствии лодку, строившуюся для России, то он может сообщить, что перед первой мировой войной их фирма «Оффичине Галелео» выпускала перископы и проекторы по заказам русского флота. Более того, он сам, Уго Беллони, — это было первое его самостоя-

тельное дело — изготавливал линзы для клептоскопа интересующей меня подводной лодки, ее рабочее название тогда было «F-I» — «Фиат». Увлечшись воспоминаниями, старик нарисовал нам схему клептоскопа и объяснил, чем этот оптический прибор отличается от перископа: у перископа для обзора горизонта поворачивается вся труба со вставленными в нее призмы, у клептоскопа — лишь одна оптическая головка. Однако ничего больше старый мастер рассказать не смог. Ну что ж, и это надо было считать удачей. Я видел человека, который реально соприкасался с кораблем, существовавшим для меня в виде лишь угасающего типографского текста на ломкой от времени газетной бумаге. По крайней мере теперь я знаю имя, которое потом дали лодке, — «Сан Джорджио». Лиха беда начало! Квартирка старого оптика на флорентийской улочке была первой вехой на бесследном теперь уже пути «Сан Джорджио» и его канувшей в Лету команды.

Еду, еду, следу нету... Это про лодку. Любую. А про подводную?.. Но есть еще два моря, в которых следы кораблей живут много дольше, чем в кильватерной струе. Первое море — бумажное: валы отчетов, воспоминаний, газетных статей, архивных документов, морских карт, книг... Второе — память рода людского, живая память очевидцев и участников, память видевших. Если в первом еще есть лопманская служба — библиографы и архивариусы, то второе — стихийно и непредсказуемо. Тут вся надежда на цепочку воспоминаний, на то, что она не прервется, когда один называет другого... Давно заметил: стоит только начать какие-либо розыски, как фортуна сразу подбросит пару мелких удач, чтобы втянуть тебя в поиск поглубже, чтобы ни о чем ином и думать уже не мог, не есть, не спать — искать...

На следующий день после визита к Уго Беллони в ливорненской военно-морской академии состоялся прием советских моряков. Надо сказать, что это единственное в Италии учебное заведение, которое готовят офицеров для военно-морского флота. В больших прохладных залах итальянские гардемарины угощали калининградских курсантов пиццей и кьянти. То тут, то там возникали группы, которые пытались преодолеть «языковой барьер» с помощью английских фраз, мимики и жестов. Моим соседом оказался один из преподавателей академии, пожилой тененто ди фрегатто¹. Он попивал свое кьянти сам по себе, ничуть не проявляя итальянской живости и общительности. Чтобы не выглядеть таким же букой, я задал ему несколько праздных вопросов, на которые он ответил с официальной вежливостью. Я спросил, слышал ли он что-нибудь о «Сан Джорджио».

— «San Giorgio»? — переспросил тененто ди фрегатто. — Разумеется. Это учебный корабль нашей академии.

У меня прыгнуло сердце: неужели подлодка сохранилась?!

— Подводный корабль? — уточнил я.

— Нет, надводный. Он был построен в 1943 году.

Про подводную лодку «San Giorgio» мой собеседник ничего не слышал, что было вполне понятно. События в Специи произошли, когда тененто ди фрегатто еще не было на свете. Но едва я назвал имя Анжелло Беллони, лицо офицера оживилось:

— О, вы слышали о нашем padrino?! Да-да, мне посчастливилось застать старика. В сорок втором я был у него курсантом. Правда, Беллони оглох, почти ничего не слышал, но в подводном деле соображал за троих. Синьор Боргезе его очень ценил.

Так я узнал почти все, что мне хотелось — и не хотелось — знать о Беллони. Видимо, характерец у него был еще тот, если его — в мицманском-то звании — перевели в запас и отправили подальше от боевого флота на судостроительный завод. Но еще я узнал, что некогда экспансивный мицман с годами остепенился и стал изобретателем в области подводного плавания. Он предложил новый тип гидрокостюма, строил карликовую подводную лодку для высадки подводных диверсантов. С началом второй мировой войны Беллони, оглохший в экспериментах с новым снаряжением, был назначен руководителем «Подводного центра»¹, затем возглавлял школу боевых пловцов, находившуюся здесь, в Ливорно. (Много позже всему этому я нашел подтверждение в мемуарах «черного князя» — главаря подводных диверсантов итальянских ВМС Валерио Боргезе.) Но об экстравагантном поступке Беллони в первую мировую войну и чем кончилась эта история с угоним русской лодки, мой собеседник не знал ничего...

Больше всего меня удручило то, что Беллони работал у Боргезе и на Боргезе, на его «людей-лягушек», водителей человекоуправляемых торпед. Разумеется, он был просто специалистом, изобретателем «вне политики», он был солдатом, не обсуждающим приказов, — как сказал бы о нем адвокат, оказался Анжелло Беллони на скамье военных преступников... Но выходило так, что искал патриота, а нашел пособника головорезов Боргезе, отправивших на дно с помощью магнитных и прочих мин не один английский корабль... Я и не подозревал, что имею дело, как говорят реставраторы, с «записанной картиной», сквозь верхний малоценный слой которой вот-вот проглянет лицо истинного героя...

Кто вы, лейтенант Ризнич?

Поздней осенью 1978 года дела занесли меня в Ригу. В одно из воскресений знакомый моряк-библиофил предложил съездить за город, походить по рынку коллекционеров. Место, где собирались книжники, а также филателисты, нумизматы, коллекционеры открыток, значков, орденов, находилось на лесной поляне между поселками Имантой и Бабите. То было великолепное торжище! Глаза разбегались от обилия редкостных обложек, старых открыток, классеров с марками, монетами, этикетками... Скупое рижское солнце рябило на планшетах со значками и орденами... Я присел перед чмоданчиком старика филокартиста и стал перебирать пожелтевшие открытки с видами городов, монастырей, ландшафтов. Тут были и дореволюционные «посткарты» и зарубежные — немецкие, французские, английские... «San Giorgio», — знакомо мелькнуло на одной из них. Я лихорадочно перевернул открытку и, признаюсь, не сразу сообразил: на итальянской открытке был изображен наш монастырь Святого Георгия на севастопольском мысу Феолент. Почему-то раньше не приходило в голову подобрать русский эквивалент итальянскому «San Giorgio».

В Георгиевском монастыре бывал Пушкин. Место живописнейшее. Мне посчастливилось видеть море с высоты этого крутого мыса... Открытку я купил. Вечером мы рассматривали свои приобретения в кабинете моего друга. Я снял с полки указатель к «Морскому атласу» и наудачу просмотрел названия кораблей, начинавшихся со слова «Святой...»,

¹ Капитан 2-го ранга.

¹ Подразделение морских диверсантов в итальянском флоте времен второй мировой войны.

«Святая...». Есть! «Святой Георгий». Открываю нужную страницу. Несколько крупн. информации: «Русская подводная лодка... В сентябре 1917 года совершила переход из Специи в Архангельск... Входила в состав сил флотилии Северного Ледовитого океана... Переход из Специи в Архангельск... Это же океанский поход вокруг Европы! Спрашиваю хозяина атласа, где бы можно было еще найти что-то о «Святом Георгии». Приятель порылся в своих карто- теках:

— Вот где. Посмотри прекраснейшую монографию «Подводные лодки в русском и советском флоте». Написал ее бывший машинный унтер-офицер подлодки «Минога» Трусов. Ничего более подробного о русских подводных лодках я не читал.

Монографию инженер-капитана второго ранга Трусова я листал уже в Москве — в военном зале библиотеки имени Ленина. Рижский знаток морской литературы оказался на высоте: книга действительно изобиловала редчайшими фотографиями, чертежами, подробными сведениями о конструктивных особенностях и боевых действиях едва ли не всех субмарин русского флота. На самой важной для меня была 242-я страница. Сжато, но емко Трусов рассказывал о поистине героическом деле, которое выпало в семнадцатом году на долю малой — прибрежного действия — подводной лодки «Святой Георгий». С русской командой на борту лодка совершила труднейший и опаснейший переход — из Италии на русский Север — через два океана, охваченных мировой войной, через оперативные зоны германских подводных лодок. Командовал этим, по сути дела, обреченным кораблем старший лейтенант Иван Ризнич.

Я просмотрел всю книгу, но нигде не нашел портрета отважного подводника. Этот человек сразу же заслонил в моих глазах фигуру Беллони. Значит, лодка все же была выкуплена Россией? Когда? Итальянец угнал лодку из Специи в четырнадцатом году, а Иван Ризнич совершил на ней переход Специя — Архангельск в семнадцатом...

Иногда находишь совсем не там, где, казалось бы, надо искать. Летом я часто навещаю в Мураново — подмосковный музей-усадьбу Баратынского и Тютчева. Вот и теперь я снова навестил уютный деревянный дом под тенистыми липами, ходил по комнатам, где в старой бронзе, фарфоре, гобеленах застыл «золотой век»... Заговорив о дружбе Баратынского с Пушкиным, о друзьях великого поэта вообще, экскурсовод Инна Александровна достала новенькую, только что вышедшую книжку «Современники Пушкина». Я стал ее листать — и сразу же выхватил из текста фамилию Ризнич. Под изображением то ли турчанки, то ли сербиянки стояла надпись — «Амалия Ризнич». Двадцатичетырехлетний поэт увлекся красавицей итальянкой в пору одесской ссылки. Ей посвящены стихотворения «Простишь ли мне ревнивые мечты», «Под небом голубым страны своей родной...», «Для берегов отчизны дальней...». Несколько раз вспоминает о ней и в «Евгении Онегине»... Толчок был дан. Амалия Ризнич! Кто она, собственно, откуда родом, почему у нее, итальянки, сербская фамилия? И, наконец, робкая надежда, а вдруг... Ризнич — фамилия редкая для рос- сиян...

Еду в Москву, в Музей Пушкина, спрашиваю, нет ли в фондах чего-нибудь об Амалии Ризнич. Разумеется, есть. Мне предлагают посмотреть сборник пушкиноведческих материалов, выпущенный в 1927 году в Ленинграде. Открываю главу «Семья Ризнич» и переносюсь в Одессу начала прошлого века. Сразу же становится ясным, что Амалия Ризнич, в девичестве Рипп — полунемка-полуитальянка из Вены, отходит в моих поисках на второй план,

а вот муж ее, Иван Стефанович Ризнич, вполне годится в деда командиру «Святого Георгия». Но это еще надо доказать...

Иван Стефанович Ризнич родился в 1792 году в Триесте, где отец его, серб из Дубровника, держал торговую контору, перешедшую позже сыну Ивану. Молодой наследник вовсе не ограничивал круг своих интересов одной только коммерцией. Он учился в Падуанском и Берлинском университетах, знал несколько языков, имел хорошую библиотеку, увлекался театром и итальянской оперой. Пожив некоторое время в Вене, молодой негодяй переезжает в 1822 году в Одессу, где основывает экспедиторскую контору по хлебному экспорту. Энергичный, европейски образованный коммерсант очень скоро занимает в Одессе видное положение и не случайно привлекает внимание Пушкина, с которым даже состоит в переписке. Пушкинисты считают, что образ Ивана Ризнича навеял поэту стихотворные строки:

...Дитя расчета и отваги,
Идет купец взглянуть на флаги,
Проведать, шлют ли небеса
Ему знакомы паруса.
Какие новые товары
Вступили нынче в карантин?
Пришли ли бочки жданн.х вин?
И что чума? и где пожары?
И нет ли голода, войны,
Или подобной новизны?..

Двадцатилетняя красавица жена родила ему сына Стефана, который скончался в годовалом возрасте. Заболев чахоткой, Амалия Ризнич уезжает в Италию, где вскоре умирает. Три года Иван Стефанович живет один, уходит с головой в служебные дела. За добросовестные услуги Русскому государству его награждают орденом Владимира 4-й степени. Однако сердце его принадлежит сербскому народу, страдавшему под турецким игом. В 1826 году Ризнич издает на свои средства в Лейпциге книгу стихов прогрессивных поэтов-соотечественников. В 1827 году Иван Стефанович вступает во второй брак — берет в жены графиню Полину Ржевусскую, сестру небезызвестной Эвелины Ганской, ставшей впоследствии женой Бальзака. Новобрачные переезжают из Одессы в имение графини под Винницей, в село Гопчица. Здесь Ризнич строит для местных крестьян церковь и приходское училище. Деятельный, предприимчивый эмигрант принимает русское подданство, хлопчет о дворянстве и получает его вместе с чином статского советника и должностью старшего директора киевской конторы Коммерческого банка. Вторая жена подарила Ризничу двух дочерей и трех сыновей. Самый младший — Иван — родился в Киеве в 1841 году. Вот он-то вполне мог стать отцом Ризнича-подводника. Могу не хватать лишь маленького звена — даты и места рождения командира «Святого Георгия». И раздобыть это звено можно было только в Ленинграде.

...В тот день, когда дежурная сотрудница Центрального Военно-Морского архива положила передо мной тоненькую папку — послужной список старшего лейтенанта Ивана Ризнича, — я испытал почти физическое блаженство: «Ризнич Иван Иванович, из дворян Киевской губернии, православный, родился 19 января 1878 года...» Круг замкнулся. И сыну «пушкинского» Ризнича в год рождения сына Ивана было 37 лет. Все сходится. Интересно, знал командир «Святого Георгия» о своей родословной? Что привело его, внучатого племянника великого французского романиста и ведущего свой собствен-

ный род от воспетого поэтом негоцианта, на борт подводной лодки в семнадцатом году? Не родословная же!

Вот «Справка морскому министру» от 4 декабря 1916 г. «Секретно. Морской Генеральный штаб полагал бы желательным... подводную лодку по приемке ее, отправить с нашим уже личным составом на Север для защиты Кольского залива. Для осуществления этой операции представляется наиболее желательным назначение командиром... старшего лейтенанта Ризнич». Чем заслужил Ризнич столь исключительное внимание Морского Генерального штаба? Читаю «Послужной список»: «Окончил морской кадетский корпус. Действительная служба началась в 1895 году в Черноморском флотском экипаже. Через четыре года — вахтенный начальник на эскадренном броненосце «Синоп», затем ревизор на минном крейсере «Гридень», ревизор и водолазный офицер на крейсере 2-го ранга «Память Меркурия». В русско-японскую войну «за труды по обстоятельствам военного времени» награжден орденом Св. Анны III степени...» Молодой офицер тянется к знаниям, посещает лекции Военно-юридической академии. А в декабре 1907 года Ризнич круто меняет службу — переходит в только что созданный отряд подводного плавания. Очень скоро он становится опытейшим подводником: командует поочередно подводными лодками «Шука», «Лосось», «Белуга», «Стерлядь» и даже исполняет дела начальника отряда подводного плавания.

Как отмечал в служебной аттестации Ризнич командир 8-го флотского экипажа: «В службе сего офицера не было обстоятельств, лишающих права на получение знака отличия беспорочной службы». И тем не менее 3 июля 1908 года Ризнич был уволен в запас. Почему? Ответить на этот вопрос помогла Центральная военно-морская библиотека. Впервые, я разыскал здесь полемическую брошюру самого Ризнича «Ответ сомневающимся в пользу подводных лодок» и печатный его доклад «Современные подводные лодки в морской войне». Еще в 1908 году Ризнич прозорливо писал: «Подводное дело, утверждаю, стало на ноги; и в будущей войне более людей пострадает от них (подводных лодок. — Н. Ч.), чем на них от надводных судов... Верно признавая положение эскадры, атакующей берег, где есть подводные лодки, с положением человека, попавшего в комнату, полную змей. Но и то положение человека лучше, чем положение эскадры, так как он видит этих змей, но оно было бы много тяжелее, если бы он еще не видел». Перелистав морские журналы начала века, легко убедиться, что Ризнич своими острыми статьями, лекциями и книгами приобрел известность еще в предвоенные годы. Он не боялся выступить с резкой критикой морского министерства, сделавшего ставку в судостроительной программе на устаревшие линейно-броненосные корабли. Ему этого не простили и постарались побыстрее уволить в запас. Целых шесть лет бывший морской офицер, опытейший специалист подводного плавания был не у дел, влачил полутоловое существование, но отстаивал идею подводного флота России. С началом первой мировой войны лейтенант Ризнич по общей мобилизации был призван на Балтику. И, назначая его на «Святой Георгий», этот почти обреченный корабль, Морской Генеральный штаб явно надеялся избавиться от вольнодумца «благовидным» путем...

Но что сам «Святой Георгий», именуемый в те дни еще «F-1» и угнанный итальянским офицером Беллони? Чем кончилась та сенсационная история, с которой, собственно, и начались мои поиски?

Продается

подводная лодка...

Старинное здание Центрального Военно-Морского архива высится по левую руку от Зимнего дворца, и то, что оно расположено в самом сердце бывшей столицы — на Дворцовой площади, — сразу настраивает на торжественный лад. С благоговением поднимаюсь по чугунным высокосводным лестницам. Дверь читального зала тяжела, будто снята с боевой рубки линкора. Здесь, в этом доме, обращенном к вечности, спрессована история российского флота. В шелесте бумаг оживают раскаты давным-давно оттремевших залпов, встают тени великих флотоводцев и безвестных моряков, подают голоса мертвые ныне корабли, их усопшие командиры и умолкнувшие радиопередатчики... Здесь распахиваются некогда секретные досье с государственными и военными тайнами. И кто знает, сколько тайн погребено пока в неразобранных архивных папках и связках... Во всяком случае, история подводной лодки «Святой Георгий» приоткрылась мне с почти исчерпывающей полнотой. Я прочитал ее, как остроосужетную пьесу — с замиранием сердца.

5 сентября 1914 года начальник Генмора¹ Русин получил из Бордо экстренную телеграмму: «...подводная лодка, заказанная Россией заводу «Фиат», похищена итальянским мичманом запаса Анжелло Беллони без ведома фирмы и правительства, чтобы идти сражаться в Адриатическое море под флагом России или союзной державы, пожелавшей ее купить. Подводная лодка, совершенно готовая, со штатской командой пришла под коммерческим флагом на Корсику, чтобы уведомить русское и французское правительства о своем поступке. Подводная лодка идет на Мальту ожидать решения России и в случае отказа всех союзников будет возвращена заводу. Прошу сообщить русскому правительству и просить его ответа. Дмитриев».

Ответ последовал не сразу. В Генморе консультировались и совещались около двух недель, пока вице-адмирал Русин не отправил морскому агенту депешу следующего содержания:

«Похищение подводной лодки совершенно неожиданно для нас... Итальянец нам неизвестен. Так что не исключена возможность авантюры, предпринятой нашими врагами, хотя бы для Турции. Предложите французскому правительству перекупить лодку у нас. Цена 1.815.000 франков. Выпускать лодку с неизвестной командой не следует. Лучше задержать ее немедленно и отправить под конвоем в Тулон».

24 сентября Дмитриев докладывает Русину: «Французское правительство арестовало подводную лодку в Аяччио. Французский посол заявил, что она будет возвращена строителям. Итальянское правительство озабочено возможностью последствий этого нарушения нейтралитета, самое же похищение считает простым безрассудством».

Спустя три дня Дмитриев сообщил Русину подробности угона: «В официальном заявлении мне «Фиат» отрицает причастность к краже. Объясняет припадком острого нервного возбуждения командира, увлекшегося фантастическим планом, для исполнения которого воспользовался выходом на пробу радиотелеграфной станции. Лодка еще в Аяччио. Следствие продолжается... Франция рассматривает дело кражи подводной лодки как гражданское, предоставляя заинтересованным сторонам искать судом. Прошу со-

¹ Морской Генеральный штаб.

обшить, уплатило ли Морское министерство что-нибудь за лодку, так как только в этом случае Россия может начать дело».

«30 сентября. Секретная телеграмма русского посла из Франции в Петроград: «Из объяснений со здешним МИДом выяснилось, что французское правительство, во избежание щекотливых пререканий с Италией, полагало бы рассматривать дело об утоне нашей подводной лодки из Италии в качестве гражданского правонарушения. Если Русское правительство уже внесло фирме «Фиат» часть стоимости лодки, то это дает ему право обратиться во Францию в суд секвестра...»

Чувствуя, что подводная лодка уплывает, что называется, из рук, чины Генмора решаются на авантюрный шаг, смысл которого изложен в «Служебной записке» — без подписи, но, судя по почерку, принадлежавшей перу вице-адмирала Русина: «Морской Генеральный штаб опасается, что если подводная лодка «Фиат» будет возвращена в Италию, то она может попасть Турции или нашим неприятелям... Морское министерство вошло в переговоры с представителем «Фиата», чтобы уплатить ему, как бы задним числом за даток (разрядка моя. — Н. Ч.) с тем, чтобы предъявить указанный иск».

1 октября 1914 года последовало прямое указание Наченмору Русина своему агенту в Италии Врангелю: «...Предлагаю Вам переговорить доверительно с «Фиатом», что Морское министерство готово уплатить 40.000 франков в виде задатка за лодку. Деньги будут внесены представителю фирмы в Петрограде Асвадурову условным депозитом на его имя. «Фиат», получив телеграмму о взносе Асвадурову, должен выдать Вам временную расписку о получении денег задним числом до войны в счет следующей по контракту суммы... Позаботьтесь, чтобы ее можно было предъявить французскому суду...»

Странное молчание морского агента Врангеля в столь критической ситуации озадачило начальника Генмора и вызвало дополнительное напоминание: «Благовольте на № 1817 ускорить ответ».

Врангель молчит. Сутки. Вторые. Наконец 5 октября из Рима приходит долгожданная шифровка: «Телеграммы (обе) получены сегодня одновременно семь вечера. Первую не могу расшифровать. Термин «альфа» не известен. Врангель».

Затем, через сутки, приходит еще один тревожный — время уходит! — запрос: «Прошу сообщить, каким ключом набрана телеграмма № 1817. Несмотря на помощь канцелярии посольства, телеграмма не разбирается. Врангель».

Только 10 октября в Россию приходит из Рима ответ по существу: «Предполагаю отказ. Морскому министерству известно от завода, что за лодку не поступало взносов. Следствие закончено. Администрация завода привлечена к уголовному суду за действия, могущие нанести вред дружеским отношениям страны с иностранными державами. Завод привлек командира к суду за кражу собственности завода, энергично отрицая в печати причастность к замыслам. Дело получает огласку. По моим частным сведениям, министерство предполагает лодку реквизиовать по возвращении. Прошу срочного ответа. Врангель».

11 октября: «Ожидаю директора завода в субботу. Врангель».

В тот же день дополнительная информация от Врангеля: «Директор «Фиата» телеграфирует: ожидает лодку сегодня в Специи. Лодка вчера в 5 вечера вышла из Аяччио».

Третья депеша, полученная в тот же день, гласила: «Лодка пришла в Специю сегодня в час дня. Врангель».

Итак, авантюра с Асвадуровым и французским гражданским судом не удалась.

Реальная надежда заполучить злополучную субмарину появилась лишь в конце 1916 года: завод «Фиат» для отечественного флота построил серию больших лодок, так что нужда в малых у самой Италии, надо полагать, отпала. Вот тогда Генмор и обратился к морскому министру с предложением отправить лодку для защиты Кольского залива.

Ничего не зная о закулисной борьбе дипломатов и финансистов, в Специю для приемки подводной лодки прибыл русский экипаж во главе со старшим лейтенантом Ризничем. (Итальянские власти встретили моряков настороженно: только что за революционную пропаганду среди рабочих пришлось удалить из Специи экипаж ремонтирующегося русского парохода «Млада»...)

По документам подлодка именовалась «Ф-1», однако подводники запротестовали, и морской агент Врангель доносил в Генмор: «Нашей подводной лодке заводом перед спуском было дано имя «Святой Георгий». Командиру и команде весьма желательно было бы, если возможно, оставить название, тем более, что... «Ф-1» — по-немецки означает «скот», «скотина»...»

Просьбу команды уважили.

Поход

Как сообщает старый вахтенный журнал «Святого Георгия», флаг, гюйс и вымпел были подняты 7 мая 1917 года, в воскресенье, в 11.30. По традиции «...Освящение лодки и флага произвел приехавший из Рима священник при Российском в Италии посольстве архимандрит Симеон — в присутствии российских консулов из Флоренции и Сицилии, главного командира гавани Специя вице-адмирала Кани, администрации завода и офицеров строящихся лодок для Испании и Португалии...» Лодка начала кампанию...

Кого удивит в наше время переходом вокруг Европы, когда Мировой океан изоборожден по всем широтам, высотам, глубинам, когда «Арктика» раздвинула своим форштевнем льды на самой «макушке» планеты — на Северном полюсе, когда подводные лодки, не всплывая, огибая земной шар под водой, когда Ален Бомбар переплыл Атлантический океан в надувной лодке, когда даже в ванне можно пересечь Ла-Манш? Но я удивлялся. Наложив на маршрут «Святого Георгия» маршруты тех кораблей, на которых мне самому доводилось ходить из Средиземного моря на Север, я понял, что видел те же проливы, мысы, маяки, по которым определялся и старший лейтенант Ризнич.

...Ясно вспомнился осенний шторм в Северной Атлантике, высокий башнеподобный мостик нашей подводной лодки, затянутые в резину гидроконтрибозы фигуры вахтенного офицера и боцмана, обвязанные и принайтовленные страховочными концами к перископным тумбам: волны перекачиваются через рубку так, что подлодка то и дело оказывается под водой. Стоять в такую непогоду на мостике — все равно что высовываться из окопа во время обстрела: подхваченные вихрем брызги волн, размолотых о «бульбу» носа, картечью проносятся мимо. Береги глаза! Тяжелые капли бьют увесисто и больно даже сквозь резину. Не зевай! Как только перед форштевнем взметнулся белый взрыв волны, прикрывай глаза рукавицей — через секунду сыпанет заряд шквального града, острым соленым песком сечанет по лицу морская пыль. А вот этой волне лучше поклониться. Оба вахтенных, сгорбившись,

приседают и тут же пригибаются еще ниже — вся тяжесть не разбитого о рубку водяного вала обрушивается на них сверху. Они распрямляются, будто пудовые мешки сбросили, и снова, усердными грузчиками, подставляют спины очередному валу. Но не кланяться волнам выставлена верхняя вахта. И едва мостик выныривает из водяного холма, оба, отфыркиваясь и отплевываясь, оглядывают горизонт... А ведь мостик «Святого Георгия» был много ниже...

Шторм для дизельной подводной лодки опасен и тем, что в сильную качку при больших кренах и дифференцах из аккумуляторной батареи может выплеснуться электролит, и тогда субмарина лишится подводного хода. Разумеется, подлодка может погрузиться и переждать шторм на глубине. Но в военное время любой командир предпочтет душевыворачивающую качку зряшному расходу электроэнергии, которая жизненасущна в подводном бою. Вахтенный журнал «Святого Георгия» — пожелтевшие разграфленные страницы, следы от соленых брызг — вел старший офицер подводной лодки лейтенант барон Ропп-1-й. Каллиграфический бег его пера скуп на эмоции:

«Из Специи. Вторник 13(20) июня. Средиземное море.

7.00. Погрузили на конвойр, итальянский вооруженный пароход «Равенна», офицерский багаж; команда окончательно перешла из занимаемого на заводе помещения на лодку.

8.25. Вышли в бухту на погружение и дальнейшее следование с конвойром «Равенна» в Геную.

16.30. Стали на правый якорь в порту г. Генуя около завода «Ансальдо», пришвартовавшись кормой к стене.

«18/1 июня вышли из Генуи с караваном».

«19/2 июня встретили французскую подводную лодку с французским эсминцем. На горизонте английское патрульное судно и французский вооруженный дрейфтер».

«Среда 21/4 июня. Из Генуи. Средиземное море.

19.16. Началось лунное затмение.

24.40. Полное лунное затмение.

Четверг 1.30. Луна очистилась».

«4/17 июля. Вышли из Гибралтара. В Атлантическом океане испортился мотор-генератор компаса... Зайдя за мыс Сан-Висент, встретили свежий погд, зыбь крупная, сильно заливаает. Подводная лодка принимает много воды».

Можно себе только представить, сколько драматизма скрыто за этой скупой строкой. Ведь именно так, «принимая много воды», погиб в осенний шторм броненосец «Русалка». Имя этого корабля, затонувшего на Балтике в 1898 году, прогремело на всю Россию. Из ста семидесяти матросов и офицеров не спасся никто. В ревальском парке Кадриорг на пожертвования народа был сооружен прекрасный памятник. Всякий раз, когда погибал в море корабль, к подножию монумента приносили венки. Незадолго перед выходом «Святого Георгия» в отчаянное плавание постамент «Русалки» был снова завален живыми цветами. На траурных лентах поблескивало имя подводной лодки «Барс», без вести пропавшей в боевом походе. «Барсом» командовал опытейший подводник, одноклассник Ризнича по Морскому корпусу и отряду подплава старший лейтенант Н. Ильинский. Большая, новейшая по тому времени подводная лодка исчезла в глубинах Балтики. Малая, прибрежного плавания, субмарина штурмовала океан. Легко могло стать, что рядом с венками экипажу «Барса» положили бы свежие погребальные гирлянды. Но Ризнич вывел «Святой Георгий» из штормовой полосы и благополучно привел его в Лиссабон.

«6/19 июля 1917 года. Стали на бочку на рейде

г. Лиссабон. Перебирали и сушили моторы, перископы, залитые соленой водой».

В Лиссабоне команду ждал отдых перед самым опасным участком маршрута — переходом в Англию. Пути к Британским островам были густо усеяны германскими минами, перекрыты кайзеровскими подводными лодками. Португальцы приняли русских подводников радушно: приготовили баню, сводили на бой быков. Коррида Ризничу и его спутникам не понравилась. И без того много крови лилось на полях Европы.

Пять суток прорывался «Святой Георгий» через коварный Бискай в Англию. Сто двадцать тревожнейших часов. И в любую секунду под бортом мог грянуть взрыв мины, торпеды... Им везло. Командир немецкой подлодки промахнулся. Торпеда, выпущенная им по «Святому Георгию», прошла по корме. Ризнич сам записал в вахтенный журнал: «20-го августа 1917 года. Вышли из Плимута в Скапа-Флоу. Около мыса Уред мина прошла между тральщиком с запасными вещами, шедшим сзади нас, и нами, причем ее видели шкипер тральщика, рулевой и комендор».

24 августа, оставив главную базу британского флота, «Святой Георгий» двинулся вдоль Скандинавии к родным берегам. Но Северный Ледовитый океан уже вздымал осенние штормы.

У мыса Нордкап «Святой Георгий» попал в шторм похлестче, чем на выходе из Гибралтара. Стоять на мостике было невозможно — валы перекатывались через рубку, — и Ризнич приказал задраить все люки. Дизель остановили, ему не хватало воздуха. Всю ночь лодка держалась против волны, выгребая на малых оборотах под электромотором. Потом, в Архангельске, подводники отмечали эту ночь как свое второе рождение. А тогда, в бушующем Норвежском море, кое-кто из команды уже начал переодеваться в чистое — «смертное» — белье. И все-таки Ризнич 9 сентября семнадцатого года привел свою «малютку» в Архангельск, совершив первый в истории русского флота океанский поход на подводной лодке!

«Р а п о р т

ДОНОШУ ВАМ, г. АДМИРАЛ, ЧТО СЕГО ЧИСЛА С ВВЕРЕННОЙ МНЕ КОМАНДОЙ ПРИБЫЛ ИЗ СПЕЦИИ И ХОДАТАЙСТВУЮ О ЗАЧИСЛЕНИИ ЕЕ В ДИВИЗИОН ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ С 9.IX.1917 г. СПИСОК ЛИЧНОГО СОСТАВА ЛОДКИ НА ОБОРОТЕ СЕГО ПРИЛАГАЕТСЯ. СТАРИЙ ЛЕЙТЕНАНТ РИЗНИЧ».

В приказе по флоту и морскому ведомству министр контр-адмирал Вердеревский отмечал:

«Этот блестящий, исключительный по условиям плавания переход лодкою малого водоизмещения в осеннее время св. 5000 миль через ряд зон расположения германских подводных лодок, минных заграждений и т. п., наглядно показывает, что офицер и матросам, сплоченным взаимным уважением и преданным своему делу, не страшны не только поставленные врагом всевозможные преграды, но и сама стихия... Родина вправе будет гордиться беспримерным в истории подводного плавания переходом подводной лодки малого водоизмещения из Италии в Архангельск».

Из документа «О награждении личного состава подводной лодки «Святой Георгий» за переход из Италии в Архангельск» явствует, что «командира штормового лейтенанта Ризнича начальник управления ПодПлА ходатайствует о производстве за отличие по службе в капитаны 2-го ранга и о награждении орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом». Я пытался представить себе этого человека. Какой он? Высокий? Коренастый? Черноволосый?

С бородой? Веселый? Властный? Что с ним стало после семнадцатого года?

Вахтенный журнал «Святого Георгия» обрывается в ноябре 1917 года. Из последней записи можно понять, что лодка стоит на ремонте в Архангельске, что запчасти в портовых амбарах Соловецкого монастыря растащены, что обогранный пар на корабль подавать перестали...

А через три месяца «Святой Георгий» вступил в самый бурный период своей жизни — 17 февраля 1918 года его экипаж перешел на сторону Советской власти. Моторный унтер-офицер 2-й статьи Илларион Кузмичев был выдвинут членом Центрального комитета флотилии Северного Ледовитого океана. А моторист Яков Ужало стал в годы гражданской войны комиссаром службы связи Белого моря в Совете комиссаров флотилии. И семь лет «Святой Георгий», переименованный в «Коммунар», нес службу в рабоче-крестьянском красном флоте.

В августе 1918 года в Архангельск вступили английские интервенты. Многие корабли флотилии Северного Ледовитого океана были захвачены и уведены в Англию. Но «Коммунар» оставался верным присяге пролетарской республики. Экипаж увел подводную лодку вверх по Северной Двине, а затем, приведя ее в негодность, выбросил на отмель. Лишь с восстановлением Советской власти в Беломорье «Коммунар» снова вступил в строй. Правда, на этот раз как учебное судно. 5 июля 1924 года потрешенную в боях гражданской войны подводную лодку разобрали в Архангельске на металл. Имя «Святого Георгия» — «Коммунара» было исключено из корабельного списка. Из списка, но не из истории.

А вот следы кавторанга Ризнича безнадежно потерялись в послереволюционном Архангельске.

Шестой Ризнич

Я возвращался из архива, не в силах отделаться от ощущения, что упущен кончик нити, которая ведет к Ризничу. Но какой? Кажется, побывал всюду, где только можно было хоть что-то о нем узнать, — Центральный военно-морской архив, Центральная военно-морская библиотека, Центральный военно-морской музей... Вдруг припомнилась графа из послужного списка, где шла речь о семейном положении. Короткая запись: «сын Иван, 1908 г. Кронштадт». Если он жив, этот сын Иван, если за три войны с ним ничего не случилось, значит, ему сейчас за семьдесят. И если он никуда за эти годы не переехал, что весьма маловероятно, то живет он либо в Кронштадте, либо в Ленинграде.

Подхожу к ближайшему киоску — у Морского вокзала, — заполняю бланк... Через четверть часа получаю ответ. О, чудо! «Ризнич Иван Иванович 1908 года рождения проживает по адресу: ул. Халтурина, д. 11». Да это же в двух шагах от архива, где хранится дело его отца!

Не медля ни минуты, возвращаюсь на улицу Халтурина. Вот большой и старый, по-видимому, бывший доходный дом. В одном из закоулков двора-лабиринта нахожу нужный подъезд, поднимаюсь на четвертый этаж, нажимаю кнопку трескучего звонка. Еще секунда, и я перенесусь на семь десятилетий назад... Проходит секунда, другая, третья... Проходит почти минута, прежде чем старая дверь приоткрывается на цепочке и в щели возникает старушечье лицо. Спрашиваю Ивана Ивановича.

— А его нет. Вы кто ему будете?

Представляюсь, объясняю, по какому делу нужен мне Ризнич. Старушка смывается, и дальнейший наш разговор протекает на многостольной коммунальной

кухне. Из рассказа соседки узнаю, что Иван Иванович говорить об отце не любит, что человек он своенравный, резкий, вспыльчивый, гордый, к нему подход нужен. Потом она долго рассуждала, как плохо было быть сыном царского офицера в тридцать седьмом году, что Иван Иванович, даром что сирота, хлебнул лиха сполна и лучше не тревожить его память... Напоследок я узнал, что Ризнич-младший — художник-фарфорист, и довольно известный, работает и по сю пору на фарфоровом заводе имени Ломоносова. Я распрощался и ушел, несколько обескураженный «информацией к размышлению»: если в самом деле тема отца для Ризнича неприкосновенна, то при неосторожном расспросе легко получить поворот от ворот.

На другой день еду на Халтурина, вхожу в знакомый уже подъезд. На сей раз дверь открывает сам Ризнич. Высокий, крепкий старик в полувоенном платье. Мое появление его не очень удивило. О нем писали в заводских и городских газетах, в художнических журналах, так что к визитам корреспондентов он вроде бы привык. Познакомились. Прошли в комнату. Украдкой оглядел стены — нет ли портрета отца? Нет. Висели этюды в рамках, расписные тарелки, но ничего, хотя бы косвенно намекавшего на «Святой Георгий», в комнате не было. Мы договорились встретиться завтра в музее фарфорового завода, где выставлены многочисленные работы Ризнича-художника.

Этот второй мой визит принес не много больше, чем первый. Я узнал, что Иван Иванович почти всю жизнь провел в Ленинграде. И в войну здесь же служил — старшиной-радиотелеграфистом на тральщике «Шуя». На ломоносовском заводе работает с довоенных времен. Художнические его работы демонстрировались на международных выставках в Нью-Йорке и Лондоне, Париже и Милане...

В музее образцов фарфорового завода мы долго ходили между витрин с сервизами, вазами, блюдами... Я слушал Ризнича, изображал внимательного экскурсанта, что вообще-то было нетрудно — старый художник рассказывал интересно. Мне нравилась его манера говорить — резковато, прямо, ничуть не заботясь, какое впечатление производит на собеседника суждения. Наверное, точно так же держался и командир «Святого Георгия», отец... Речь у Ивана Ивановича изысканно правильная, отточенная, переносила ее на бумагу — и карандашу самого строгого редактора нечего будет править. У стенда с сервизом, расписанным Ризничем на тему «Маневры Черноморского флота», я рискнул завести разговор о «Святом Георгии», но тут же натолкнулся на категорическое:

— Об этом я ничего не знаю!

Я едва удержался, чтобы не воскликнуть: «Ну, как же так! Ведь им командовал ваш отец!»

Из проходной завода мы вышли вместе. Надо было прощаться... Но сказать «до свидания» и уйти я не мог... Не очень-то надеясь на согласие, я предложил пообедать вместе. Ризнич, глянув на часы, предложение принял. Свободный столик мы нашли в подвальном ресторанчике, и разговор потек куда живее... Я честно признался, зачем приехал в Ленинград. Я рассказал ему все, что знал о «Святом Георгии» и о старшем лейтенанте Ризнице, — выходило так, что знал я о нем больше, чем сын об отце. Взгляд старого художника потеплел.

— Не сохранилось ли у вас его фотографии? — спросил я с робкой надеждой.

— Нет. Ни писем, ни бумаг, ни фотографий отца у меня не сохранилось. Отец пропал без вести в восемнадцатом году. Мачеха-француженка — в Па-

риж, а я в двенадцать лет угодил в обучение к «графу Панельному»... Не слышали про такого? — Нет.

— Ну, про беспризорников-то слышали? Вот, беспризорничал, ночевал в подвалах... Какие уж там семейные архивы!.. Хорошо, приметил меня добрый человек — один кавалерийский командир. Увидел, как рисую лошадей на асфальте, отвел в детский дом. Там тоже пришлось несладко. Бывшие беспризорники частенько били за то, что сын офицера, за то, что говорю правильно, не коверкая слов... Я не сдавался, много читал и говорил так, как учила мать: «учение» вместо «учеба», «неделя» вместо «шестидневка»... Очень любил рисовать. Красок не было, делал их сам — из толченого кирпича, белла — из птичьего помета... Учился в художественной школе. Потом пришел на фарфоровый завод и с тех пор работаю на нем скоро уж полвека. Отца помню смутно. Помню — высокий, рыжеусый... На шее ладанка и еще какие-то амулеты. Как и многие подводники, был суеверен... На лбу — круглый шрам. Должно быть, ударился в шторм о глазок перископа.

— Жаль, фотографий нигде не сохранилось, — вздохнул я. — Ни в музее, ни в архиве, ни в библиотеке...

Ризнич хитровато усмехнулся:

— В котором часу уходит ваш поезд?

— Сегодня ночью.

— Загляните ко мне вечером.

Вечера дождался с трудом. Неужели что-то есть, что-то сохранил, что-то покажет?!

Все по сказке — с третьего раза. В третий разпахнулась знакомая мне дверь. Иван Иванович все в том же полувоенном платье, загадочно улыбаясь, провел меня в комнату. Статный парень лет тридцати — мой ровесник — протянул руку:

— Ризнич Иван Иванович.

Старый художник посмотрел на сына вприщур, потом снова обратился ко мне:

— Вы хотели знать, как выглядит мой отец? Считайте, что перед вами живой его портрет. Я помню его лицо. Говорят, в третьем поколении потомки наиболее точно повторяют своих предков.

Затем мы пили чай. Внук командира «Святого Георгия» рассказывал о своей работе, она тоже связана с морем — гидрогеология. У него подрастает сынишка. По семейной традиции его тоже называли Иваном, Иван Иванович Ризнич, шестой в роду.

Охотничий пых из старой газеты

Мой рижский приятель был немало удивлен, узнав, что я все еще разыскиваю следы «Святого Георгия», следы командира...

— Делать тебе нечего... Подумаешь, историческое событие: перегнали корабль из точки «А» в точку «Б».

— Ну, положим, атомный ледокол «Арктика» тоже перешел из точки «А» в точку «Б». Из Мурманска на Северный полюс. Это во-первых. Во-вторых, речь идет о первом океанском плавании русской подводной лодки. Кстати, в дореволюционном флоте оно было и единственным. «Святой Георгий» стал «Коммунаром» — первой советской подводной лодкой на Севере. Так что именно с него идет родословная подводных сил Северного флота. Если хочешь, «Георгий» — «Коммунар» проложил путь в океане нашим нынешним подводным атомоходам. Он точка

отсчета: от и до. До всплытия на Северном полюсе. До кругосветного похода под водой!..

Да, Иван Ризнич — командир «Святого Георгия» — фигура такого же плана, как автор «мертвой петли» штабс-капитан Петр Нестеров, а может, и крупнее. Ведь Ризнич был не только отличным практиком, но и теоретиком военно-морского искусства. Недаром его называли «светлым гением русского флота», «пионером русского подводного плавания». Он точно предсказал путь, по которому пойдет развитие подводного мореплавания в России. И он самоотверженно отстаивал этот путь, ставя на карту и карьеру и жизнь.

Как ни похож внук на деда — судить о том может только Ризнич-художник, — все же хотелось увидеть подлинные черты Ризнича-командира. Я приехал в Ленинград в очередной — уже который — раз. Позвонил старому художнику, но оказалось, что на улице Халтурина он уже не живет — получил квартиру в новом районе. Между прочим, дом, в котором он жил на Халтурина, принадлежал когда-то графине Ганской — сестре отцовской бабки. Теперь же к Ризничу надо было ехать в Гавань, на улицу Кораблестроителей. Остановка автобуса называлась внушительно — «Адмиралский проезд». Многоэтажный дом стоял на берегу Финского залива, и в новых окнах Ризнича широко открывалось море — то самое, в глубинах которого плавал его отец.

Как и старая квартира, новая была увешана чучелами птиц, лесными трофеями... Недаром любимый жанр живописи, которому художник отдается самоотверженно, — анималистика. Рыбак и охотник, Ризнич давний член республиканской судейской коллегии по собаководству. Иван Иванович был на даче, и принимала меня его жена Нина Ивановна. Она весьма сочувственно отнеслась к моему поиску и постаралась дополнить неразговорчивого мужа. От нее я узнал то, что никогда бы не услышал от своего правного художника.

— Вы знаете, у мужа такая интересная жизнь. Он встречался с известнейшими людьми... Но слова не вытянешь, — сетовала Нина Ивановна. — Я купила ему толстые тетради. Говорю, лучше свою родословную пиши, а не собаку. Вроде пишет...

Она назвала ряд имен тех людей, с которыми водил дружбу ее муж: Виталий Бианки, поэт-подводник Алексей Лебедев, командир краснознаменной подводной лодки «Лембит» Матиясевич...

Об Алексее Лебедеве я расспрашивал особо. Блестящий поэт, чьи стихи вошли во все морские антологии, штурман подводной лодки Л-2, он погиб вместе с кораблем, подорвавшимся на mine в 1941 году... С Алексеем Лебедевым Иван Ризнич-художник боксировал в одном спортклубе. В войну судьба свела их на Балтике. Бывало, что Лебедев жил на квартире товарища, писал ему шуточные стихи...

Как и отец, Ризнич-художник был женат на французенке. Историю его первого брака Нина Ивановна поведала с улыбкой. Однажды Иван, от кого-то спасаясь (тут, должно быть, сказывались издержки беспризорного детства), заскочил в глухой дворик, где стирала белье девушка по имени Эдит. Юная французенка спрятала беглеца за висевшей на веревке простыней и... очень скоро стала его женой. Она продолжила род Ризничей, родив двух сыновей — Ивана и Алексея и еще дочь Наталью.

Из семейного альбома выпала фотокарточка человека в морской офицерской форме. У меня екнуло сердце — кавторанг Ризнич?! Это был Ризнич, но только младший, художник. Иван Иванович сфотографировался во флотском кителе (покрой этой походной морской одежды почти не изменился с семнадцатого года), по всей вероятности, пытаясь пред-

ставить себе отца. Разглядывая эту фотографию, я понял, что сыновняя любовь не угасла к отцу...

В том, что Иван Иванович человек с характером, я убедился еще раз, опоздав на условленную встречу у проходной фарфоровой фабрики минут на пять. Старый художник не стал ждать ни секунды — укатил на дачу. Попеняв себе, я позвонил его сыновьям — Ивану и Алексею. Решили собраться у старшего. Иван — «живой портрет» командира «Святого Георгия», ровесник — жил тоже в новостроечном районе, настолько новом, что даже земля там была насыпана заново. Этот искусственный грунт, эти новехонькие стены блочных домов навели на грустную мысль о том, что следы прошлого искать здесь бессмысленно, что дела дедов астрально далеки от забот внуков, что я напрасно трачу время, блуждая по лабиринту необозначенных микрорайонов...

Братья Ризнич и их семьи были в сборе. Не смогла приехать только сестра Наталья. Я рассказывал им о «Святом Георгии», об их деде и с каждой минутой убеждался в ошибочности своих недавних сомнений. Им, потомкам, интересно было все, им — слава богу, благодарным потомкам — дорога была каждая подробность из жизни никогда не виденного ими, почти легендарного деда.

Иван — гидрогеолог. Алексей — мастер по ремонту медицинской техники. Оба брата далеки от военноморского флота, и окружение у них весьма сухопутное. Но вот что примечательно: нет-нет, а кто-нибудь из товарищей по работе, соседей, друзей да сообщит — нашел строчку про вашего деда в такой-то книжке, или встретил его имя на карточке библиотечного каталога, или мелькнуло оно в журнальной статье.

— Однажды, — вспоминает Иван, — в экспедиции по Вилую, нашел я на берегу таежной речушки Мораха охотничий пыж из старой газеты. Развернул и вдруг читаю родную фамилию: «...Право руля! — скомандовал Ризнич...» Ребята смеются: мол, куда ни ткнись, всюду Ризнич. А я подумал: может, и вправду про деда написано?

Иван — ленинградец только по месту рождения и по прописке. Все лучшие годы провел в экспедициях на Камчатке, в Сибири. Защитил диссертацию. Кандидат геолого-минералогических наук. На досуге построил каюточный катер — морские сави типа «фокс». Летом вместе с сыном Ваней — шестым в роду Ризничем — бороздят воды Финского залива. Все-таки тянет в море!..

Но ничего нового, на что я втайне рассчитывал, — завалившейся пожелтевшей фотографии, обрывка воспоминаний, — эта встреча мне не дала.

Как-то, проводя отпуск под Киевом, я вдруг вспомнил, что где-то неподалеку — родные места командира «Святого Георгия».

«Украинская энциклопедия» подсказала, где искать село Гопчица: Винницкая область, Погребщенский район, железнодорожная станция Ржевусская. Название станции обнадеживало: если фамилия бабушки моего героя сохранилась на вокзальной вывеске, то уж наверняка что-то осталось от Ризничей и в родовом селе. Как-никак, а Иван Стефанович выстроил там церковь и школу.

...Автобус мчался вдоль степенной полноводной Роси. Золотые холмы полей накатывали к берегам реки от дальних лесных опушек. Под старыми ветлами паслись кони. За зеленой колоннадой прямых топей открылись домики Гопчицы — ладные кирпичные хаты в садах и виноградниках. Кое-где сохранились и мазанки под соломой, будто для того, чтобы помнить, каким было село лет сто назад.

Председатель местного колхоза Алексей Платонов

вич Лесовой, человек нездешний и новый, с живым интересом выслушал историю «Святого Георгия» и его командира. И как ни осаждали его страдные летние дела, повел меня смотреть, что осталось от старого имения. Осталось, увы, немного: лишь зерновой амбар, сложенный из дикого камня. Церковь Козьмы и Дамиана разобрали в 1953 году, тогда же снесли и старую школу. На ее месте сейчас новая, имени героя-пограничника Павленко.

— Знаете что, — посоветовал мне в утешение Лесовой, — сходите к бывшему директору школы. Он историю села писал. Может, он чего скажет?

Юрий Константинович Храбан — старый сельский интеллигент, усадив меня на лавочку в своем саду, повел рассказ о Гопчице со времен Богдана Хмельницкого. Я не торопил его и услышал, наконец, долгожданную фамилию. Правда, Храбан назвал ее — «Ризнич» — и кроме того, что «пан Ризнич» был здешним управляющим, поведавать ничего больше не смог. Но зато он рассказал, как лет тридцать назад школьники, роясь на месте сломанной церкви, наткнулись на склеп с дубовым гробом, накрытым железным колпаком с надписью «Ризничъ». Самодеятельные «археологи» гроб вскрыли и обнаружили на золотистом бархате скелет рослого человека. Пришли взрослые, гроб закопали, склеп засыпали, а железный колпак унесли на колхозный двор. До недавнего времени он служил поилкой для мелкой живности.

— Так и не сохранился?

— Нет. Наверное, на металлолом сдали. А вот место склепа могу вам показать точно.

И мы пришли к новой школе. На месте старой, ризничевской, лежал большой камень, но не памятный знак, как мне показалось, а просто валун, чтобы по лужайке не ездили. Отсчитав от нижней ступеньки заднего крыльца полтора шага, Храбан показал мне чуть заметную впадинку подле утоптанной дорожки.

— Вот здесь.

В Ленинграде я передал деревянный туесок с гопчинской землей Ивану Ризничу.

Флотописец из Иванова

Всякому, кто шел по следу, знакомо чувство безнадежного тупика. Потеряны все нити — ни вправо, ни влево... Где искать дальше, когда молчат архивы, музеи, библиотеки, когда опрошены все знакомые, кто хоть как-то связан с историей флота? Да и что я ищу — песчинку в океане прошлого. Конец 1917 года не способствовал аккуратному подшиванию бумаг. Великая ломка. Гражданская война. Интервенция. Разруха. Сожженные библиотеки. Развеянные архивы. На стыке двух эпох бесследно исчез маленький экипаж малого корабля. Эй, на «Святом Георгии»! Где ваш командир? Обозначьте свое место! Покажите свой перископ!.. Глубина времен беспощаднее глубины океана. Моря хранят в своих недрах корабли, документы, сокровища... Время развевает все в прах.

— Читал я где-то про твоего Ризнича! — звонит приятель. — Оказывается, он воевал в русско-японскую и изобрел миномет.

Расспрашиваю: где читал, когда?

— Кажется, в каком-то журнале для изобретателей. В конце прошлого года.

Еду в редакцию журнала «Изобретатель и рационализатор», с любезного разрешения сотрудников роюсь в годовых подшивках. Есть! Вот эта статья — «Тайна изобретателя миномета». Но речь в ней о другом русском подводнике — мичмане Сергее

Николаевич Власеве, талантливым изобретателе, от-
важном офицере, командире подводных лодок «Мак-
рель» и «Акула». Судьба Власева, впоследствии
кавторанга, по-своему героична и загадочна. И ею
занимается человек по фамилии Алебастров из горо-
да Иваново. Но он упоминал в статье и о Ризни-
че, ибо командир «Святого Георгия», судя по всему,
был хорошо знаком с товарищем по оружию Сер-
геем Власевым.

«В те годы (перед первой мировой войной.—
Н. Ч.),— пишет Алебастров,— на подводников смот-
рели как на «смертников». Когда зашла речь о при-
бавке содержания подводникам, морской министр
адмирал Бирилев цинично заявил: «Прибавить мож-
но... Все равно они все скоро перетонут...» О буду-
щем подводного флота тогда шли ожесточенные спо-
ры... Известный военно-морской теоретик А. Д. Буб-
нов утверждал: «В открытом море подводные лодки
не имеют никакого боевого значения». А недоброй
памяти адмирал Колчак вообще не находил места
подводным лодкам в составе флота! На защиту под-
водного флота выступили молодые офицеры—Риз-
нич, Тьедер, Власев, Кржижановский, Подгорный.
«Подводники — это моряки будущего!» — прозорливо
восклидал М. М. Тьедер. «Морское могущество Рос-
сии неизбежно сопряжено с развитием подводного
флота», — утверждал С. Н. Власев. Царизм решил
дискуссию просто: «главари» Ризнич и Тьедер были
изгнаны с флота!»

Пишу Алебастрову письмо, и вскоре приходит от-
вет, из которого заключаю, что имею дело с пре-
великим энтузиастом и знатоком истории отече-
ственного флота. Игорь Сергеевич Алебастров, школьный
учитель, пенсионер, вот уже много лет собирает ма-
териалы о зачинателях русского подводного плава-
ния; он переписывается со старыми моряками, изу-
чает подшивки давно исчезнувших газет, разыска-
ет родственников своих героев и время с зрелости
публикует результаты бескорыстных изысканий на
страницах не самых популярных журналов. Он пора-
зила меня осведомленностью в «делах минувших
дней», знанием истории флота, наконец, просто задо-
ром, с каким брался стирать «белые пятна» морских
хроник, вызволять из небытия имена людей, забытых
незаслуженно... Этот человек, которого я ни разу не
видел, а только слышал по телефону да разбирал
строчки его взволнованных посланий, воодушевил
меня на новые поиски, заставил бросить все и пое-
хать в Архангельск, город, когда-то встречавший
«Святой Георгий» громом оркестров и радостными
возгласами.

Но прежде чем отправиться на Белое море, я по-
бывал на берегах моря Московского. И вот там-то,
в городе своего детства — Конаково, с легкой руки
ивановского «флотовисца» Алебастрова я и увидел
то, что так искал. Узнав, что я еду в волжский
городок по домашним делам, Игорь Сергеевич вос-
кликнул: «Ба! А почему бы вам не заглянуть к Бо-
рису Лемачко? У него крупнейшая в стране коллек-
ция фотографий русских и советских кораблей. За-
пишите адрес...»

Борис Васильевич Лемачко, инженер-станкостро-
итель, ничуть не удивился моему визиту. К нему ча-
сто обращаются изобретатели, историки, коллекцио-
неры, журналисты. В его собрании свыше тридцати
тысяч снимков, открыток с изображением лин-
коров, крейсеров, эсминцев, подлодок, тральщиков,
пароходов, буксиров — всего того, что ходило
за последние полтора десятилетия под флагом России и
СССР. Увлечение юности — «открытки с кораблями» —
стало теперь чуть ли не второй профессией Лемачко.
Во всяком случае, вот уже четверть века пополняет
он свою коллекцию уникальными фотоматериалами.

А что остается от корабля, поглощенного морем
или разрезанного у последнего причала автогеном?
Модель — далеко не всегда. Фотография — как пра-
вило.

В десятках альбомов, стоящих на полках этой не-
большой квартиры, были сосредоточены давно исчез-
нувшие эскадры и флотилии. Дымили броненосцы
и дредноуты, резали волну лихие эсминцы, бурунили
перископы подводных лодок...

— «Святой Георгий»? — деловито осведомился Ле-
мачко, и сердце мое сжалось: сейчас скажет, увы,
ничем не смогу вас порадовать... Но что это? Он
достаёт альбом. Раскрывает на какой-то странице,
кладёт передо мной.

— Увы, у меня только две фотографии. И то при-
слали из Франции.

Впиваюсь в небольшой снимок — запечатлена cere-
мония первого подъема андреевского флага на «Свя-
том Георгии» в спейс-порту. Хмурое майское
утро. На причале люди под зонтиками. Это чиновники
завода «Фиат». Рабочие, докеры, судостроители стоят
так, дождь их не пугает. За рубкой по правому
борту выстроены небольшие экипажи. Бескозырки
святы. На корме матрос поднимает белое полотни-
ще с косым синим крестом. С этой минуты подвод-
ная лодка «F-1» — русский корабль «Святой Гео-
ргий»... Перед коротким фронтом экипажа — там, где
положено быть командиру, — гологоловый офицер:
широкий лоб, усы, прямой нос... Ризнич? Снимок
мелкий, и черты лица читаются плохо.

На второй фотографии подводная лодка выходит
из Специи. Клетоскопы подняты. На мостике —
рослый офицер в белом кителе. Это, несомненно
и о, Ризнич, ибо никто, кроме него, командира, сто-
ять там в такой момент не имеет права. На лицо
его — экая досада — падает плотная тень. И все же
это Ризнич! Вот мы и встретились — не в Ливорно,
не в Ленинграде, не в Кронштадте — на берегу Вол-
ги, под вековечный шум конаковских мачтовых со-
сен...

Королевна

В Архангельск я прилетел в начале апреля.
Северная Двина дремала подо льдом, по
старинной набережной кружила метель. У
здания Северного морского пароходства мужественно
бил фонтан, перешибая поземку струями. Он утвер-
ждал весну на этой суровой земле.

Первые мои вылазки в краеведческий музей и об-
ластную библиотеку, где хранилась архангельская
периодика 1917 года, принесли удручающие резуль-
таты. В роскошном и обширном музее первая миро-
вая война была представлена крошечным стендом:
сотрудники ровным счетом ничего не знали о геро-
ическом переходе «Святого Георгия» из Италии в Ар-
хангельск. В еще более фешенебельной библиотеке
подшивки местных газет и журналов семнадцатого
года оказались неполными, разрозненными, а «Ар-
хангельские губернские ведомости» за сентябрь
1917 года состояли сплошь из «Обязательных поста-
новлений министра торговли о ценах», полицейской
хроники да «именных списков убитым, раненым, без
вести пропавшим».

— Вот что, — сказали мне в пароходстве. — Загля-
ните-ка вы к Ксении Петровне Гемп. Ей девяно-
сто два года, но у нее ясная память. Она хорошо
знала Георгия Седова и даже провожала его «Свя-
того Фоку» в последний рейс. Может быть, она
знает что-то и о Ризниче.

Встретиться с Ксенией Петровной оказалось не
так-то просто. Несмотря на возраст, она ведет такой

деятельный образ жизни, что в пору записываться к ней на прием. Будь это так, в длинном списке оказались бы краеведы и фольклористы, ботаники и журналисты, историки и геологи. Пока я дожидался своей очереди, Ксения Петровна консультировала студентов местного медучилища по лечебным травам, а ее соседка, фармацевт Валентина Михайловна Бутрова, угощала меня чаем.

— Если бы вы знали, что это за человек! — восклицала Бутрова с тем неподдельным пафосом, с каким женщины редко говорят друг о друге. — Всю жизнь она прожила в Архангельске. Отец ее Петр Минейко был одним из первых гидроэнергетиков России, главным инженером по строительству портов Белого и Баренцева морей. Кстати, ГЭС на Соловецких островах — это он строил... Ксения была красавицей, она и сейчас красива. Это в девяносто-то два года! Сказать, что она ботаник, — ничего не сказать. Она из породы последних энциклопедистов. Женщины-университет. Земля ли у нас такая холмогорская, что ли?! Судите сами. Она пешком исходила все Беломорье. Знает камни и травы, птиц и рыб края. Перевела на современный русский поморские лодии. Она читает древние славянские грамоты. Под ее редакцией только что вышел сборник «Былины Беломорья». Ее пускали в раскольничьи скиты, и староверы величали ее «королевой»... Она изучала водоросли Белого моря, пропагандировала их питательные свойства и даже добилась, чтобы в Архангельске начали выпекать лечебный хлеб с добавками морской травы. В семьдесят лет она погружалась в Белое море с аквалангом, чтобы изучать подводные нивы. Во время войны она пешком прошла по льду Ладоги и принесла в блокадный Ленинград мешок водорослевых спор. Она учила блокадников, как разводить водоросли и как готовить из них пищу... Сын Ксении Петровны погиб под Сталинградом. Теперь у нее никого больше не осталось. Она одна. И не одна. У нее прекрасная библиотека. У нее всегда люди. Она работает ночами напролет. Ей некогда обедать. У нее на кухне нет кастрюль. Она питается, как студентка, — чаем и бутербродами. Правда, чай она заваривает свои, травяные, мы, соседи, иногда приносим ей готовые обеды и чуть ли не силой заставляем есть. Она не от мира сего. Но живет для людей. Федор Абрамов написал о ней восторженный очерк. Портрет Ксении Петровны висел у него в рабочем кабинете. Она почетный гражданин города Архангельска...

Вот с чем вошел я в книжное хранилище Гемп. За столом, уставленным стопками фолантов, папок, заваленным фотографиями, свитками карт, сидела худощавая седая женщина, похожая на одну из постаревших шекспировских королев. Услышав имя Ризнича, она грустно усмехнулась:

— Наконец-то хоть кто-то спросил меня про Ивана Ивановича!.. Как же мне его не знать... Я встречала «Святой Георгий» у Соборной пристани... Иван Иванович бывал у нас в доме... Целовал мне руку... Он хорошо пел. У него был баритон... Любил веселье, добрую компанию. Свой переход он отмечал весьма шумно — в Морском собрании гулял чуть ли не весь город... Высокий, слегка грузный, держался очень уверенно, подтянуто. Он приглашал нас с отцом на лодку. Маленькая, изящная, с блестящими перископами... Мы прозвали ее «конфетка». Но боже, как же тесно там внутри! Я не представляю, как он укладывался там на своем крохотном диванчике... Это невероятно, что они прошли два океана. Как они радовались, что им удалось выйти из шторма возле Нордкапа... А еще «Святой Георгий» мы называли «литературной лодкой». Дело в том, что Иван Иванович всегда появлялся в сопровождении

двух офицеров. Одного звали Грибоедовым, другой носил фамилию Лермонтов. Оба состояли в родстве со своими знаменитыми предками¹. Еще Ризнич очень был дружен со знаменитым полярным исследователем Борисом Андреевичем Вилькицким, тем самым, что совершил первое сквозное плавание по Северному морскому пути из Владивостока в наш город. В его честь назван пролив в Северном Ледовитом океане.

— А какова дальнейшая судьба Ризнича?

— До восемнадцатого года он был в Архангельске. Что с ним стало потом, мне неизвестно. Я бы и сама хотела узнать, где его могила. Он был прекрасным моряком и истинным патриотом.

Ксения Петровна устало откинулась на высокую спинку стула. Она была родом из девятнадцатого столетия. Глядя на нее, слушая ее, зная о ней, думалось: век Бородино и декабристов, Пушкина и Достоевского, век, в котором вспыхнули искры самых гуманных идей, наделил одну из своих дочерей всем лучшим, чем славен был сам, и она сумела пронести этот прекрасный дар сквозь вихри нашего времени, донести его нам, людям, стоящим на пороге века двадцать первого.

Ксения Петровна живет в каких-нибудь ста шагах от той пристани, где провожала в четырнадцатом году шхуну Георгия Седова и встречала в семнадцатом подводную лодку Ивана Ризнича. Пройдя по набережной мимо памятника Петру I, я вышел на площадку, сложенную из гранитных квадратов под высоким холмом. Это и была Соборная пристань, переименованная в Красную. С трех сторон ее омывает Северная Двина. Если бы можно было прокрутить ленту реки вспять, как кинолентку, то через какое-то время вон там, из-за заснеженной излучины, показался бы черный струг подводной лодки с двумя блестящими клепокоскопами, а колокола несохранившегося Троицкого собора грянули бы победную песнь в честь первопроходцев...

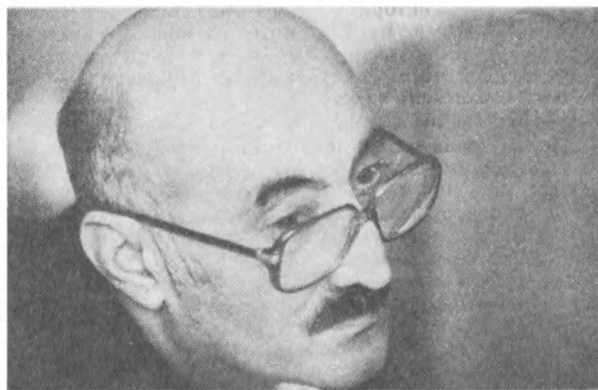
Мы живы, пока живем в чьей-то памяти. Сегодня я видел человека, в чьей памяти улыбался, пел, отдавал морские команды герой моей повести. Сегодня я впервые почувствовал, как тонок и трепетен ток, идущий из глубин прошлого, такого, казалось бы, далекого, ставшего достоянием учебников и ученых.

Вдруг вспомнилась та груда старых книг и журналов близ Преображенского рынка. С обрывка ветхой газеты начался этот поиск. Не слишком ли мы спешим отвести на «свалку истории» то, что при ближайшем рассмотрении может составить нашу гордость?!

¹ Позже я узнал, что Константин Николаевич Грибоедов, командовавший в годы I мировой войны подводной лодкой типа «Барс», стал одним из первых советских подводников: Грибоедов командовал на Севере подводной лодкой «Красногвардеец», затем возглавлял подразделение подводных лодок. За поход к Новой Земле был награжден орденом Ленина.

Кто именно из Лермонтовых сопровождал Ризнича, установить пока не удалось. Среди родственников поэта были морские офицеры. Один из них, Дмитрий Николаевич Лермонтов, декабрист. Возможно, К. П. Гемп имела в виду Владимира Михайловича Лермонтова, участника гражданской войны.

Я — СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ



Дастагир Панджшери был среди почетных гостей юбилейного пленума Союза писателей СССР. Он возглавляет писательскую организацию своей страны, является членом Политбюро Центрального Комитета Народно-демократической партии Афганистана. А сам о себе говорит словами своего программного стихотворения: «Я — солдат революции».

В середине пятидесятых годов, будучи студентом Кабульского университета, где он изучал филологию и философию, Дастагир Панджшери впервые познакомился с историей КПСС, с трудами основоположников марксизма-ленинизма. А в шестьдесят пятом году он уже был делегатом первого съезда Народно-демократической партии, был избран в Центральный Комитет партии. И вскоре был арестован за революционную деятельность, объявлен врагом короля и ислама и посажен в тюрьму.

В одиночной камере старой кабульской тюрьмы Дехмазан он начал писать стихи. Хотя Дастагир вырос в достаточно обеспеченной семье, но социальное неравенство и несправедливость с детских лет находили отклик в его сердце и страдания обездоленных и угнетенных были его страданиями. Посвятив жизнь борьбе за свободу и счастье народа, он выразил свои высокие порывы и в поэтическом слове. Из тюремной камеры поэт-революционер обратил свой взор к Октябрьской революции и образу Ленина. Отметим, что книга стихов Дастагира Панджшери, написанная в тюрьме, вышла недавно в Ташкенте в переводе на узбекский язык.

После победы апрельской революции 1978 года Дастагир Панджшери, один из самых деятельных ее участников, вошел в Политбюро ЦК НАПА и целиком посвятил себя государственной и партийной работе. Он пламенный оратор. Рассказывают, что перед какой бы аудиторией он ни выступал — будь то бойцы народной армии или муллы, — каждое его слово рождает отклик. Солдат революции — для него не только поэтический образ. В боях с бандитами он брал в руки автомат, а в Кабуле, приехав на домостроительный комбинат, начал с того, что надел спецовку...

Уже два года Дастагир Панджшери возглавляет Союз писателей Афганистана.

— У нас созданы все условия для процветания молодых талантов, — сказал Панджшери корреспонденту «Юности». — В прошлом году издано пятьдесят

сборников стихов и коротких рассказов. Герой нашей сегодняшней литературы — строитель нового общества, защитник революции. Источник вдохновения, самоотверженности и надежд для нас — произведение советских писателей. Каждый из нас стремится, говоря словами любимого мною Владимира Маяковского, жить, к штыку приравняв перо.

Предлагаем читателям «Юности» одно из стихотворений Дастагира Панджшери, вошедшее в его последний поэтический сборник, изданный недавно в Кабуле.

Город Ленина

Я посланье привез
От оплавленных стен Ленинграда,
От широкой Невы,
От домов, переживших блокаду,
От «Авроры» — той самой,
Что высится здесь у причала,
Той, что новую эру
Гулом пушки своей открывала.
Я посланье привез —
Мне вручили его ленинградцы,
Те герои,
Что перед врагом
Не умели смиряться.
Замерзали они,
Голодали они,
Погибали,
Но сражались на фронте,
В тылу же — Победу ковали.
Я посланье привез
От друзей —

как бы рукопожатье,
Потому что все люди труда —
Это кровные братья.
Столько скрыто тепла
В этих рукопожатиях братских...
Я посланье привез
И от белых ночей
Ленинградских,
От мостов, от садов,
Где себя ощущал я
Крылатым,
И от памятников
Неизвестным, но храбрым солдатам.
Я посланье привез
Новой жизни, борьбы и свободы —
Беззаветным бойцам,
Своему трудовому народу.

Перевел с языка дари
Н. ГЕОРГИЕВ

Фото М. Каламжарова.



МИХАИЛ ПЛАСТОВ

ДОРОГА ЛЮБВИ

На снимке: Вадим Шефнер.

К

ритика много и охотно писала о поэзии Вадима Шефнера, отводя ему заметное и достойное место в современной литературе. Но с каждым десятилетием, а первая книга стихов В. Шефнера «Светлый берег» вышла в Ленинграде в 1940 году, с каждой новой книгой все яснее становится масштаб его поэтического дарования, не побоюсь сказать — еще недостаточно оцененного.

Поэзия Вадима Шефнера — «сторона удивления, за которой открыты встают», его девиз — «человеку стоит дивиться человеческим чудесам». Среди этих чудес, конечно, и сам человек. Такой человек, не совсем обычный, стал героем лирики Шефнера, его открытием. О своем герое он сказал: «Его удача в том, что неудачник он!» (В скобках замечу, что логика парадокса — один из главных поэтических принципов Шефнера.) Неприметный, невезучий, грешный герой его стихов — кто он?

В нем особая тайная «косточка». Он «не ждет ни хвалы, ни подмоги, не завидует он никому», но знает, что ответить своим недоброжелателям:

Я не в обиде. Мне отрадно
Идти с мечтой наедине
По теневой, по непарадной,
По ненаглядной стороне.
От мира глаз не отрывая,
Всю жизнь шагаю я по ней.
Друг, с теневой и теневая,
И солнечная мне видней.

Почему отрадна встреча с таким лирическим героем? Молодежь тянется к ярким, броским, сильным характерам, и это естественно, но если свет поэзии будет направлен только на них, не погрешим ли мы против правды жизни, где чаще встречаются замечательные люди в обличье скромном, на «теневой стороне»?

Любовь. Почему-то, когда читаешь любовную лирику равного Вадима Шефнера, видишь перед собой маленького Чарли. Вот он в неизменном котелке, с нелепой тросточкой в руке уходит, и уходит по бесконечной дороге, и с каждым шагом становится все ближе, все больше, все ближе и роднее, ибо у сердца своя оптика, неподвластная физическим законам. Конечно, другое время и другой мир, и все же, все же...

Есть девушка, которая просила
Забыть о ней (что может быть грустней?).
Она была добра и некрасива,
А я был глуп и тосковал о ней.

Несчастливая любовь, которую герой принимает как величайший и незаслуженный дар. Пронзительная нежность, которая горчит и ранит. Чистота помыслов и полное самоотречение. Герой Шефнера приходит к дому возлюбленной только для того, чтобы: «Встать, постоять, да уйти, да вздохнуть, да вернуться, — пусть надо мною в распахнутых окнах смеются». Какой же памятью чувства надо обладать, чтобы через десятилетия написать:

...Но ты еще мне снишься временами —
Снежинка, пролетевшая сквозь пламя
И тихо таюшая на щеке.

Искренность и откровенность, открытость и неза-

щищенность отличают любовную лирику Вадима Шефнера. Он говорит правду, как бы ни была она горька, предпочитает истину любому «возвышающему обману». Но при всей откровенности В. Шефнер никогда не становится, по образному выражению Андре Моруа, «профессионалом публичной исповеди». Каким бы несчастным, смятенным, покинутым ни казался лирический герой, он верен высокому чувству, и это делает его прекрасным: «И лишь в излишнем постоянстве меня ты можешь обвинить». Лирический герой Шефнера достоин большой любви. И это тем более значительно, что любовь осознается поэтом, как «богатство мира». «Глядя в будущий век, так тревожно ты, сердце, не бейся: ты умрешь, но любовь на Земле никогда не умрет». Она, любовь, неприкосновенный запас души для «идущего дальним путем», первоначально вступающего в «мир безымянный».

Любовная лирика Вадима Шефнера диалогична, поэтому рядом с его лирическим героем всегда ощущается и лирическая героиня, но поэт обращается к ней на такой высокой ноте человеческого сопереживания, участия и сочувствия, что скорее пристало бы говорить о лирическом идеале.

Приобщение к чужой судьбе одновременно поднимает нас на новую ступень доброты, человечности. Стоит только этому невзрачному, невеликому человеку столкнуться с великой бедой, как он вырастает на глазах, являя необычайную силу духа. Трудности, испытания высвечивают значительность качеств лирического героя Шефнера — скромности, трудолюбия, честности, душевной чистоты. Со своим лирическим героем поэт шел рука об руку через войну и блокаду. С ним он делил хлеб и горе.

Я был в беде — как рыба в воде,
Я понял закон простой:
Там грешник приходит на помощь, где
Отвергается святой.

Закон взаимопомощи, закон боевого братства — для поэта главный закон жизни. Вадим Шефнер выводит на авансцену своей фронтовой лирики как бы второй эшелон, сферу обслуживания фронта, показывает людей повседневного, изнурительного труда, за который, как правило, не дают орденов и медалей. «Он был трус и не герой, не командир, не рядовой — а просто писарь фронтовой пехотного полка».

Щемящей болью пронизаны воспоминания пехотного парикмахера о тех боях, которые не дождались не то что модельных, но даже самых обычных прищесков:

Ах, пехота, пехота —
Стрелковой матерья!..
На холмах, на болотах
Он клиентов терял.

...Нынче грустно мне что-то,
Ты налей мне, налей!..
Ах, пехота, пехота,
Царица полей!

Поэт заново проживает сотни жизней своих соотечественников, и бредет в медсанбат, и мотается по госпиталям, и умирает на мартовском снегу, и уже нет такой силы, которая бы смогла отделить судьбу поэта от судьбы поколения.

Чтобы так прожить чужую жизнь в лирическом стихотворении, нужно на время забыть о своей, и Шефнер идет на это. И наиболее ярко, отчетливо проявляется такая его способность в стихах о военной поре. Именно тогда в его лирику полноправно вошло слово «мы». Лирический герой приобретал черты эпические. Вот его слова о довоенной жизни: «Когда мы, как здоровые здоровья, не замечали счастья своего». «Мы» стало символом фронтового товарищества, рефреном многих стихотворений. «Мы» имеет у Шефнера еще одно значение — Ленинград и Ленинградцы. Стихи, написанные во время войны, являют нам душу ранимую и открытую чужим бедам, сострадающую и стойкую, непоколебимую в природной доброте и одновременно яростную в своей ненависти ко всему античеловеческому.

От войны в стихах Шефнера навсегда осталась тревога, неуспокоенность, порой взысканная открыто, порой подспудно.

Война не нужна, но возможна.
Вдали — сквозь бензиновый чад,
Сквозь ритмику джазов — тревожно
Военные трубы звучат.
Средь лета с гнездовой обжитых,
Рыдая, летят журавли,
И строгие тени убитых
С оружием проходят вдали.

Но есть в этой общей для нас всех тревоге и нечто чисто шефнеровское, присущее ему, характерное для него. Это тревожная улыбка. Так, беспокоясь за родного, близкого человека, стараются скрасить свою озабоченность шуткой:

Подстрекатели с Венеры,
Может, шлются среди нас.
Шепчут на ухо ученым
Злые формулы чудес,
Сыплют атомом толченым,
Чтобы род людской исчез,
Чтоб живое сжив со света
И смешав его с золой,
Высадиться на планету —
Ту, что звали мы Землей.

Шутка шуткой, но в этом стихотворении также есть логика парадокса, ибо, как известно, Венера — богиня любви, а поджигатели и подстрекатели сплошь и рядом рядятся в тогу миротворцев...

Критик А. Пикач справедливо заметил, что «для музыки Шефнера характерно редкое постоянство и стабильность поэтических мотивов и мироощущения». В чем причина этого? Думается, в главенствующей роли памяти, в том, что у Шефнера не просто память, а многомерная память. Для него «нет пути темней и безысходней — шагать, не зная завтра и вчера, по лезвию всегдашнего сегодня». Шефнер вбирает в свою жизнь и то, что было и могло быть с его предками, военными моряками и кораблестроителями, с его отцом, пехотным офицером, со всеми, с кем делил он блокадный хлеб. Шефнер видит этот мир «за погибших друзей» и за ушедших в небытие родных и близких.

Поэт «воспоминаниями переключается», и поэтому его память шагает дорогами, «где он сам не ходил никогда», и поэтому же ему «вспоминать грядущее дано». И прошлое и будущее незримо присутствуют и сказываются в любой точке настоящего. Шефнер делает незримое очевидным. Он «сброшен, как де-

сант, в таинственный квадрат, в загадочный просвет меж завтра и вчера». Своей поэзией он наводит мосты «меж теми, что ушли, и теми, что придут».

Страшно все забыть, но еще страшнее все помнить. «Если помнить все на свете, ставить все в вину судьбе,—мы бы, как в потемках дети, заблудились бы в себе». И поэтому Шефнер отмечает за черту забвения все мелкое, наносное, суетное, «цепкой зависти полову, мелких распрей суету». Но есть и такие воспоминания, которым «сроки хранения даны до последнего дня». Это «все, чем жилось и дышалось на дымных распутиях войны», это и дом в Ульяновске, где «с предстоящими веками нас гений Ленина роднит», это и родной Ленинград, Невский проспект, где «сгущаются воспоминания, неожиданно сбываются сны»... Поэт любит то, что помнит, и помнит то, что любит!

От времени детских скитаний, неустроенности лихолетья, от времени, когда поэт «был беспризорным шкетом — в вагонах ездил не по билетам», перешла в его стихи любовь к вокзалам, пароходам — всему, что связано с дорогой. «...Но я люблю почти до слез, любовью пристальной и старой, огни, вращение колес и рев разгневанного пара», «...люблю вагонов и кают геометрический уют». А одно из стихотворений прямо так и называется «Люблю корабли». Поэт признается: «Я завидую зависти светлой тем, кто строит стране корабли...» Было бы наивно думать, что все эти реалии железнодорожного или морского пейзажей составляют суть воспоминания, связанного с детством или богатым морским прошлым рода Шефнеров. Они лишь любимый поэтом фон, место действия, если хотите, декорации. Недавно же поэт пишет: «Быть может, за лугом шершавым, за свалкою, за гаражом, в цистерне огромной и ржавой поэзии свет отражен». Отражение света поэзии! Свет таких воспоминаний — в изначальном для Шефнера чувстве нескончаемого пути, бесконечной дороги. И вот уже даже дом родной срывается с места:

Как в поезде живешь ты в доме —
Средь нобегающих огней.
В окне, в таинственном проеме,
Мелькают полустанки дней.

Так замыкается цепь ассоциаций «жизнь — дорога», и душа поэта, «стремясь в несбыточные дали, весь мир вобрать в себя спеша...», вновь приходит к себе самой. «И пусть электронному зренью доверено многое, но — все грани любого явления искусству лишь видеть дано». Поэт сам явление искусства.

Высоту идеала определяет нравственный максимализм поэта, нередко принимаемый за дидактичность и декларативность:

Я не только за строки в ответе —
Я в ответе за все на земле.

Этим постоянным чувством ответственности определяется обостренное внимание Шефнера к этическим проблемам, в его стихах нередко афористические строки, венчающие стихотворение, мгновенно запоминающиеся концовки:

Дряхлеет каменная красота,
Мирская слава — что песок сыпучий,
А тихая людская доброта,
Как кошка бесприютная, живуча.

В поэзии не существует истины без индивидуальных черт. А индивидуальные черты Шефнера, черты его лирического героя — совесть, ибо совесть — «великий контролер» и судья.

Не такова ли совесть?

Временами

Мне снится сон средь тишины ночной,
Что где-то мной костер забыт, а пламя
Уже гудит, уже идет за мной...

Стихи Шефнера заставляют остановиться, задуматься. В них элементы поучительности, назидательности принципиальны. Когда речь идет о гражданской позиции, поэт делает все возможное, чтобы быть понятым точно и однозначно. Это особенно характерно для его стихотворений с ярко выраженной антимещанской направленностью. Он бросает в лицо обывателю: «Холодильник, рыдая, за гробом твоим не пойдет!» Добившись рядом резких гротескных образов художественной выразительности, поэт разрешает себе сентенцию — такой же резкий, категоричный вывод:

Тот, кто жил для вещей, — все теряет с последним
дыханьем.

Тот, кто жил для людей, — после смерти живет
среди живых.

Из стихов Вадима Шефнера можно выписать целый ряд изречений, которые могут существовать сами по себе: «Серединность опасна искусству и спасительна в частном быту», «Если сам собой осмеян, то ничей не страшен смех», «Черпай до дна себя — сторицей вернешь утраченное ты» и т. д. Причем эти логически завершенные, самодовлеющие строки, как правило, разрешают драматизм стихотворения, освещают его. Многие философские стихи Шефнера имеют сонетную драматургию при отсутствии собственно сонетной формы. В них последовательно идут теза, антитеза и, наконец, синтез, который выскакивает, как искра прозрения, «Мораль», органичная в такой художественной системе, смягчается свойственной поэту ироничностью: «Монументов мне не надо — мне б создать велосипед».

Многие особенности поэзии Вадима Шефнера нашли свое продолжение в его прозаических произведениях. Проза В. Шефнера психологична, отличается тонким лиризмом, подкупает притягательной достоверностью деталей. Это относится к повестям «Облака над дорогой» (1949—1954), «Сестра печали» (1963—1968) и в особенности к мемуарной повести «Имя для птицы» (1973—1975). Широко известны фантастические произведения Шефнера, в особенности его «Полувероятные истории». Но эта сторона его творчества требует отдельного разговора.

Первые стихи Вадима Шефнера появились почти полвека назад. Что и говорить, срок немалый. В это время обращались к читателю многие выдающиеся советские поэты, составляющие гордость нашей литературы. Но звучные имена последних десятилетий не заслонили от нас свет поэзии Вадима Шефнера. Его стихи, выдержавшие испытание временем и не подвластные переменной поэтической моде, переходят в жизнь новых поколений и от них передаются дальше.

АЛЕКСЕЙ
ПЬЯНОВ

ВЕРНОСТЬ ИДЕАЛАМ



Книги о книгах всегда вызывают особый интерес. Они позволяют нам сверить свои впечатления от прочитанного с профессиональными оценками, глубже осознать сокровенное, вложенное художником в свое произведение, соединить разрозненные звенья в единую цепь, точнее соотнести созданное воображением с реалиями бытия, с проблемами дня, времени, эпохи.

На полку таких книг недавно встал сборник художественно-публицистических и литературно-критических статей Александра Гаврилова «И высших нет для нас велений», выпущенный издательством «Современник». Впрочем, «встал на полку» — выражение условное, символическое, ибо я убежден, что эта книга не будет стоять на полках. Ее будут читать (уже читают) с интересом и вниманием и профессиональные литераторы и, что самое важное, любители литературы: им адресована она в первую очередь, ибо всем строем своим, сутью, стилем предполагает диалог с читателем, активный, заинтересованный.

Собственно, диалог этот начался задолго до выхода сборника: отдельные статьи, очерки, портреты публиковались в периодике и уже привлекали к себе внимание. Теперь же, собранные воедино, они составили именно книгу — цельную, монолитную, со своим внутренним сюжетом. Книгу, посвященную советской многонациональной литературе, ее традициям и дню сегодняшнему, ее достижениям и проблемам. Книгу, в которой все многообразные явления литературного процесса в его историческом развитии автор мерит самой высокой, самой точной мерой — мерой партийности, народности, гражданственности, верности идеалам коммунизма.

И потому вполне закономерно обращение с первых же строк книги к образу великого Ленина. Очерк «И высших нет для нас велений», давший название сборнику, воссоздает живые черты вождя, вводит нас в лабораторию ленинской мысли, показывает масштаб личности Ильича, значение его деяний — через свидетельства соратников и современников.

Продолжение этих живых, ярких страниц — анализ огромной литературной Ленинианы, начиная с классического горьковского очерка «В. И. Ленин» и кончая сегодняшними произведениями, в которых главным является бессмертный образ вождя революции.

Обстоятельно и всесторонне рассматривает А. Гаврилов одно из главных завоеваний советской литературы — образ человека нового мира, коммуниста, борца и создателя, трудом которого претворяются в жизнь под руководством партии идеи Ленина, его заветы.

«По справедливому замечанию писателя Петра Прокурина, внимание советской литературы к самому ее возникновению приковано к образу коммуниста, так как он является центром нерва социально-нравственных перемен, импульсы которого пронизывали и скрепляли народ.

Именно поэтому «Мать» М. Горького, «Железный поток» С. Серафимовича, «Разгром» и «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Поднятая целина» М. Шолохова, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Соть» Л. Леонова, «Танкер «Дербент» Ю. Крымова, «Время, вперед!» В. Катаева, «Бурьян» А. Головки, «Всадники» Ю. Яновского, «К новому берегу» В. Лапциса, «Утро» М. Гусейна, «Пробужденный край» Г. Мусрепова, «Школа жизни» С. Муканова и другие классические произведения советской литературы, как романы и повести, посвященные героизму народа в годы Великой Отечественной войны, в наши дни коммунистического созидания остаются не только главным источником познания основных черт, движущих сил нашей эпохи. Герои этих произведений, такие, как Павел Корчагин и Алексей Мересьев, Давыдов и Лютиков, Бахирев и Балуев, стали великой преобразующей силой, светочем новых идей, творцами целого кодекса передовых нравственных норм».

Приведенный отрывок характерен для книги, он точно определяет позицию критика, принцип анализа художественных произведений — рассматривать их в контексте жизни, в контексте времени, в органическом единстве с теми задачами, которые ставит и решает партия.

Формула «жизнь — литература — жизнь» позволяет выявить реальный масштаб главного героя нашей литературы, значимость его дела, богатый духовный мир, высокую социальную активность. Эти качества, унаследованные от тех, кто свершил революцию, защитил ее, построил социализм в нашей стране, отличаются и сегодняшнего человека труда. Истинную любовь к нему, стремление показать героя наших дней во весь рост, во всей сложности его характера, как эстафету, приняли те, кто продолжает и обогащает лучшие традиции советской литературы.

У автора есть все основания сказать:

«Современная советская проза — это обширный мир героев, идей; это живой поступательный процесс, связанный с повседневными делами ленинской партии, всего советского народа».

Подтверждение этому — произведения Г. Маркова, Ю. Бондарева, С. Залыгина, Ч. Айтматова, И. Мележа, Н. Думбадзе, О. Гончара, Мустая Карима... Они и многие другие вершинные достижения нашей современной прозы не просто называются, но и детально анализируются в книге, являя читателю убедительное единство советской литературы, ее высокое мастерство, верность ленинским принципам.

Отдельная глава сборника посвящена произведением о рабочем классе. «Все пристальнее, — пишет автор, — вглядывается многонациональная советская литература в облик современного рабочего: его черты, рожденные новым этапом развития общества, его психологию, его устремления».

А. Гаврилов пишет о высоком международном авторитете советской литературы, ее интернационализме, дает достойную отповедь буржуазным критикам, философам, идеологам, пытающимся бросить тень на нашу литературу. Он убедительно развенчи-

ваает псевдонаучные построения наших идеологических противников, стремящихся исказить роль и значение советской литературы в духовной жизни народа, да и всего человечества.

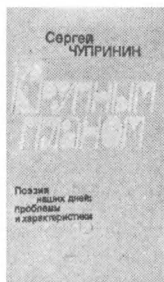
Завершает книгу раздел «С родиной единая судьба», где остро и точно набросаны портреты Лидии Сейфуллиной, Алексея Толстого, Николая Грибачева. Автор дал этой главе подзаголовок «Штрихи к портретам», обозначив жанр рассказа о крупных мастерах слова. Однако перед нами именно портреты — с ясно увиденными и талантливо написанными деталями, которые помогают глубже проникнуть в суть творчества каждого из «портретируемых», понять их особенности, неповторимость каждого и глубокую внутреннюю связь.

Итак, новая книга о книгах. О многом поведала она читателю, особенно читателю молодому, провела через десятилетия, окунула в историю, показала сегодняшние будни и праздники нашей литературы. А они, эти будни, наполнены огромным созидательным трудом, в котором писатели — не сторонние наблюдатели, не бесстрастные бытописцы, а активные участники. Новый импульс в их работе — яркая речь Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Константина Устиновича Черненко на юбилейном пленуме правления Союза писателей СССР. Есть в этой речи такие слова: «Важно, товарищи, чтобы творческие искания художника имели, если можно так выразиться, единую отправную точку — верность правде жизни, социалистическим идеалам. Это необходимое условие партийности, народности искусства».

О верности этим высоким идеалам — книга «И выших нет для нас велений».

ЕЛЕНА
СТЕПАНИН

ЧУВСТВО ПУТИ, ЧУВСТВО ГОРИЗОНТА



Крупным планом. — Пoesия наших дней: проблемы и характеристики» (изд. «Советский писатель») — вторая книга критика Сергея Чупринина, посвященная современной советской поэзии. А в сущности — первая, поскольку брошюра «Чему стихи нас учат» (1982 г.), выпущенная издательством «Знание», была скорее отдельно изданной статьей.

С. Чупринину присущ индивидуальный исследовательский стиль; прежде всего хочется отметить широту и объективность в оценке сегодняшних литературных явлений.

Легко судить о произведениях, когда уже образовалась дистанция, отдаление во времени. Гораздо трудней — по горячим следам. К счастью, С. Чупринин обладает способностью видеть нынешний день

нашей поэзии неискаженно, с захватом перспективы, с «чувством горизонта», на котором сходятся самые разные, неперекрещивающиеся, казалось бы, творческие пути. Вот как он определяет свое понимание современной критики (и, разумеется, свои личные авторские задачи): «Литература сейчас, как, впрочем, и всегда, чрезвычайно многолика, пестра, «разноязычна» по способам художественного освоения мира. И ей сейчас, мне кажется, куда необходимее критик-«полиглот», свободно переходящий с одного «языка» на другой, свободно устанавливающий связи между разными уровнями культурного сознания, нежели критик, истово, нетерпимо, пристрастно отстаивающий монопольные права одного художественного «языка», одной тенденции литературного процесса».

Ядро книги составляют восемнадцать очерков, посвященных Л. Мартылову и И. Шкляревскому, Д. Самойлову и Ю. Кузнецову, А. Тарковскому и Б. Ахмадулиной... Каждый очерк — это попытка критика говорить на языке каждого из авторов. Критик входит в мир поэта, не нарушая законов этого мира, постигая его как бы изнутри, обживая его. Именно поэтому любая из описываемых С. Чуприниным поэтических систем «поддается» ему, открывает свою тайну. Недаром же заглавия статей, посвященных разным поэтам, включают нечто вроде ключевого слова, обозначения главной темы: «Евгений Винокуров: тяжесть смысла», «Белла Ахмадулина: я воспою любовь», «Игорь Шкляревский: мир как воля».

Критические работы С. Чупринина отмечены удачами, счастливыми определениями, тонокостью суждений оттого, что он влюбленный читатель стихов. Но любовь к словесному искусству не лишает его зоркости, активного и чуткого отношения к исследуемому материалу. Так, хорошо сознавая всю меру неординарной даровитости Ю. Кузнецова (которому посвящен этот «Юрий Кузнецов: до последнего края»), С. Чупринин столь же четко сознает и его романтический индивидуализм: «И уже не оттого ли, кстати, лирический герой Юрия Кузнецова так часто напоминает шаржированные образы Грушицкого и капитана Лебядкина, что его, скроенного по печоринской мерке, поэт пытался «загрузить» сложнейшей этической проблематикой Достоевского, которая и натурам покрепче не в подъем? Слишком рационален, слишком памятливы на обиды, слишком зол кузнецовский герой, чтобы с безоглядной верой или безоглядным неверием распахнуться навстречу и добру и злу, чтобы корень своего трагического разлада с мирозданием искать в собственной душе... а не бросать вызов всему сущему».

С. Чупринину как литератору свойственно то, что сам он — в другом, разумеется, контексте — называет «чувством пути». Именно оно помогает ему в анализе тех сложных трансформаций, которые происходят в каждой настоящей художественной судьбе (примером может служить очерк об А. Кушнере). Помогает оно ему и в решении более масштабных и общих задач, в «сквозном» понимании исторического развития советской поэзии от пятидесятых до восьмидесятых годов. Первые главы книги посвящены восхождению и расцвету тех талантов, которые можно назвать вслед за С. Чуприниным «детонаторами литературного и — шире — общественного сознания» (Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, даже — по-своему — Ахмадулина). Критик со свойственной ему исследовательской тонокостью показывает, как развивается другое — философическое, подчеркнуто тяготеющее к наследию классики лирическое направление (О. Чухонцев, И. Шкляревский, А. Кушнер).

Очень возможно, что именно из-за многосторонности охвата литературного материала возникнет вопрос: а почему же в сборнике нет отдельных очерков о Евтушенке, о Межирове, об Окуджаве? Конечно, такой пробел ощутим. Но работа С. Чуприна в критике идет своим чередом и, можно сказать, продолжается его работа над этой книгой (так, недавно вышла его статья о Межирове).

Естественно, что критик постоянно возвращается к одной мысли: что же будет дальше, завтра? Для себя он решает эту проблему в духе той надежды на завтрашний день нашей культуры, который вообще присущ его взглядам на литературу: «Прошла, верится, пора, когда с «парохода современности» сбрасывали недавних кумиров, чтобы утвердить кумиров текущего дня, когда одну традицию пробовали противопоставить всем остальным. «Вместимость» современного общественного и литературного сознания такова, что поэзия вправе чувствовать себя наследницей и продолжательницей всего исторического, национального, духовного и культурного опыта России».

Хочется горячо разделить эту надежду.

ЮРИЙ
БОЛДЫРЕВ

НЕСКОЛЬКО ПРОПИСЕЙ



Одельные журнальные публикации не всегда дают верное представление о поэте. В особенности молодом. Поэтому книгу человека, которого уже приметил по журналам, ждешь с нетерпением, а дождавшись, листаешь с особым интересом.

Так, к примеру, ждали первую книгу Татьяны Ребровой.

Правда, порой у нее встречались странные строки и стихотворения. Помню, однажды прочел такое: «Не подыму веки, загорожусь рукой, чтоб не терять навеки мыслям твоим покой» — и был удивлен необычным, мягко говоря, строением фразы. Еще в одном стихотворении — «Примета» — просто-напросто запутался:

Вот в зеркальце упавшем,
Разбитом на куски,
Еще белы под вашим
Дыханием виски.
И куст над нами тонок,
И древен свет в окне.
Но только ваш ребенок
Теперь уже не мне.

Придираться, впрочем, мы все горазды. И я одернул себя: нужно подождать книгу, тогда и судить. Вышли — с небольшим промежутком — две книги: «Китежанка» (М., «Современник», 1982) и «Рябиновые бусы» (М., «Советский писатель», 1983). Сразу

скажу, что, видимо, черпались они из одних и тех же колодцев — между ними не чувствуется ни временного, ни духовного расстояния.

Энергия стиха, энергия выражения — это сразу бросается в глаза. Это она помогает спрессовать в строфу важную мысль и глубокое чувство: «Как дочь за матушкину руку, спасая в небе журавля, за веру нашу и за муку хваталась русская земля!» Это она позволяет нагружать стих сложноподчиненными предложениями — и стих все же остается летучим.

Пронзительность. Проявляющаяся сильнее всего, пожалуй, тогда, когда поэтесса понижает голос. Источная любовь к родимой земле, к человеку, жившему и живущему на ней...

Но со всем этим в книге есть и иное, то, что вызывает недоумение и неприятие. Любование своими переживаниями все более и более переходит в подчеркивание своей исключительности. Немудрящие факты из жизни лирической героини превращаются в символы, окружаются нимбом; мне, читателю, не просто говорят о них, а преподносят: «Я вам заморочу глаза поцелуями так, чтоб вы не увидели и незначай, и веки (?)», как я в электричке бросаю в ушах пятак, чтоб женщину ту помянули хотя бы калек». Смирность оборачивается покачало затаенной, а потом все более явной и не всегда уместной гордыней: «Я на виду столетий алый рот целую так, что захватило дух»; «Но с чаркой на жарком, как ночь, подносе, тоскуя краешком губ, войду — и соплется мужик под осень, узнав, что другой мне люб». Само очарованность героини обеих книг все нагнетается, и уже перестаешь дивиться ее проявлениям, даже вот этому: «...Звезды клубились. И вот по одной из них душу мою нашла — я в поклоне забылась».

Когда поэт начинает сам себе подставлять пьедесталы, когда он, словно венец, возлагает на себя ответственность лишь перед чем-то беспредельным и необозримым, а на меньшее не согласен, когда в его стихах возникают мифологизированные фигуры неизменного мужика и неизменной бабы (а это есть в обеих книгах Ребровой), тогда недалеко оказывается и до пренебрежения реальным историческим опытом (сильнее всего оно сказалось в цикле стихов «Отголосало столько звонниц...», посвященном эпохе Ивана Грозного), до пренебрежительности к самой современности и в конечном счете — к реальному, а не придуманному русскому человеку и проблемам его жизни. И еще бывает, что поэт, занесясь, перестает ощущать тонкий вкус родного слова.

И тогда можно, не обинуясь, писать о русской крестьянке, что «ей стыдно быть какой-то там особой», или о ней же вот так коряво и неграмотно: «А женщина с хлебом в крестьянской торбе! Глядя на всякий срам, перед ее целомудрием скорби померкло бы столько драм». Можно позволить себе «мошеничество загадочностью» (И. Бунин), испещрять стихи ребусами вроде: «Пойми, что здесь ты не затея галактик и вороных стай». Можно клясться всем родным и не замечать, как посреди этих клятв, заклинаний, причетов торчком торчит, все руша и сводя на нет, чужеродное слово, среди слов тяжелых и веских — легкомысленное и пустое: «Исполню все, чтоб скорбный смысл Отечества, что правил миром слез и добра, не стал меж числ и роботов лишь сувениром!»

Цитирование неточностей, смысловых и стилистических просчетов, примеров лексической и стилистической эклектики я мог бы длить и длить — коллекционеров всего этого отсылаю непосредственно к страницам обеих книг. Но хочу повторить несколько прописных истин: восхищение русским народом не стоит заменять восхищением собственной рускостью — в этом нет нашей заслуги; все то же восхищение должно обязательно сочетаться с уважением родного языка и

родной истории, с их доскональным, а не намеренно-отрывочным, узким знанием; народ наш, как и всякий иной, не нуждается в преклонении — куда нужнее ему совестливая, не чуряющаяся никаких сторон его бытия и сознания правда.

Татьяна Реброва талантлива. И это не может не

привлечь внимания. Но жаль будет, если этот талант разменяет себя на самоупоеание, на пустые восторги, на бессмысленные заклинания. Чтобы этого не случилось, поэтессе нужно быть строже к себе, а нам — редакторам, критикам, читателям — требовательнее к ней.



НОВЫЙ

ЖУРНАЛ

В семье молодежных литературных журналов прибавление. С июля прошлого года в Кишиневе начал выходить «Горизонт» — орган ЦК АКСМ Молдавии и Союза писателей МССР, ежемесячный дублированный журнал (на молдавском и русском языках). Его формат такой же, как у «Юности», а по количеству страниц — почти такой же (96 полос). Но во всем остальном, надо сказать, с первого же номера «Горизонт» заявил о своем вполне самостоятельном и своеобразном облике. Обилие цветных репродукций, черно-белых фотографий и рисунков сближает его с иллюстрированным еженедельником. Крупная проза не будет печататься целиком: главы из романов и повестей, фрагменты на страницах «Горизонта» с целью заинтересовать читателя будут предварять появление отдельных изданий. Сбереженная таким образом журнальная площадь предоставлена разделам, отвечающим самым разнообразным запросам молодежи. Кроме традиционных отделов (проза, поэзия, публицистика), мы здесь встречаем рубрики: «Эстафета поколений», «Литературно-художественный словарь», «Антология одного стихотворения», «Комсомольский характер», «За тридцать земель», «Герой вчера, сегодня, завтра», «Знаете ли вы, что...», «Фантастика. Приключения», «Азбука поведения», «В кругу семьи», «Как

стать красивой», «Мужчина на кухне», «Прошу слова», «Песня месяца», «Спортивная мозаика», мода, юмор, шахматы, кроссворды...

Первый номер открывается статьями и приветствиями «В добрый путь» секретаря ЦК Компартии Молдавии П. Петрика, «Строка в великой летописи» первого секретаря ЦК АКСМ Молдавии И. Буженица, «Слово напутствия» первого секретаря правления Союза писателей МССР П. Боцу. Среди поздравлений — телеграммы от журналов «Новый мир», «Смена», «Младосць», «Нистру», «Кодры»...

В новом журнале выступили известные писатели разных поколений Ем. Буков, Андрей Лупан, П. Боцу, И. К. Чобану, Г. Вьеру, А. Дамьян, М. Хазин, Е. Галайку-Пэун, Н. Романчук и многие другие. Главный редактор журнала — молодой поэт Николае Дабига. В мае, когда завершалась подготовка первого номера «Горизонта», в редакции побывали члены редколлегии нашего журнала. «Юность» скоро будет отмечать свое тридцатилетие, возраст вполне серьезный, но мы помним свое начало и желаем своему собрату, новому журналу «Горизонт» никогда не терять чувства начала, счастливого вдохновения, предвосхищения большого и плодотворного пути и — соответственно выбранному названию — чувства необъятного ГОРИЗОНТА!



АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН: «В КАЖДОЙ СВОЕЙ РОЛИ Я ПЫТАЮСЬ ГОВОРить, ЧТО МЕНЯ ВОЛНУЕТ И БЕСПОКОИТ»

Есть на факультете журналистики МГУ семинар «Технология журналистского творчества». Одно из заданий нашего семинара условно называется «Общение с авторитетом». Каждый студент должен выбрать незаурядного человека, изучить его деятельность, творчество, подготовить о нем сообщение, а затем пригласить к нам на «пресс-конференцию». Как проходит процесс приглашения? Необходимо гостя заинтересовать, уговорить, расположить к себе, проявить настойчивость и тактичность, терпение и изобретательность.

Одаренный парень, уже выступавший с интересными публикациями в центральной прессе, Игорь Некрасов выбрал артиста Александра Калягина. Более года Игорь Некрасов созванивался, а иногда и встречался с Калягиным, каждый раз напоминая ему об обещанной встрече (обещание было несколько расплывчатым — я, мол, не возражаю в принципе, но давайте проведем ее как-нибудь потом), однако Калягин продолжал откладывать ее: репетиции в театре, гастроли, концерты, съемки в кино и на телевидении, переезд на новую квартиру, рождение сына... Сокурсники начали подсмеиваться над Игорем, а кто-то даже поспорил с ним: не приедет, мол, Калягин, и все тут.

И вдруг известие: в ближайшую субботу, в 16 часов, Александр Калягин приезжает в университет. Как мальчишка, Калягин вбежал по мраморной лестнице нашего факультета, как студент-первокурсник, пришедший впервые на занятия, осматривал помещение кафедры, где предстояла встреча, а затем, уже как профессор, строго посмотрел на участников семинара и вдруг растерянно спросил:

— А где же Игорь Некрасов?

— На Сахалине, — ответил лучший друг Игоря, — вынужден был взять академический отпуск.

На лице нашего гостя — разочарование, огорчение: глаза прищурены, а сам будто о чем-то размышляет, решает: оставаться ему или уходить? Потом, выдержав паузу, актерскую паузу, вскидывает веки:

— Мне казалось, буду откровенен, это приглашение чуть снобистским с вашей стороны: вот два десятка студентов хотят меня увидеть перед собой. Им хочется поразвлекаться. Так я рассуждал, хотя ваш Игорь Некрасов... как жаль, что его нет, как жаль... Несколько раз встречался со мной, проявлял настойчивость, почти настырность, и мне уже как-то неловко было отказываться. А потом получаю от него письмо. Как хорошо он пишет, как аргументированно доказывает необходимость этой встречи, сколько юмора и иронии в письме, мягкости и обреченности. Если студенты, так я рассуждал, пишут такие письма, нужно на них посмотреть. Мне стало интересно. И вот я приехал. Да-да, мне позвонил один из вас, я-то думал, что это Игорь, и я тут же приехал. Кто мне звонил?

Поднялся несколько самодовольный студент, умеющий без пропуска войти на любое предприятие, в театр, способный добраться до самых популярных личностей, чем всегда гордится, и не без некоторого самолюбования сказал:

— Это я вам звонил, я!

Все заулыбались. Студент-то, сообщивший о приезде Александра Калягина, выдавал это за свое достижение, подчеркивая, что вот Игорь приглашал-

приглашал, а добиться не мог; а я только один раз позвонил — и, пожалуйста, Александр Александрович Калягин перед вами...

— Ну,— обвел взглядом аудиторию Калягин,— спрашивайте, я весь перед вами.

— Александр Александрович, как нам известно, вы тот человек, который всю жизнь мечтал стать артистом, но все получилось не сразу. Как же так? — спросил один из студентов, занявший место рядом с артистом и всегда на всех учебных «пресс-конференциях» задававший вопросы первым.

Александр Александрович выдержал не актерскую — человеческую — паузу и принялся рассказывать о себе.

— Театр... Артист! Потрясающее ощущение, когда понимаешь, что спектакль доходит. В зрительном зале МХАТа, в новом здании, 1400 мест. Ты играешь в «Чайке», в «Так победим!», играешь «Тартюфа» или в спектакле «Мы, нижеподписавшиеся...» и чувствуешь, зрительный зал твой. Тебя понимают. Удивительное ощущение. Ты управляешь публикой. Она в твоей власти. А бывает и по-другому. Я много езжу с концертами, литературными программами. Выхожу на концертную эстраду, народу — битком. Но кто пришел и зачем пришел? Посмотреть на Калягина живьем? Не обижайтесь, но вспоминаешь зоопарк. Другие пришли посмотреть на Калягина — исполнителя той или иной роли в кино или по телевидению. А интересно, какой он, артист, сейчас — похудел ли, потолстел ли...

Я не мыслю себя без театра, без своей актерской профессии не могу жить, хотя и отношусь к ней, да и к самому себе несколько иронично. Мне вообще кажется, надо всегда чуть-чуть с иронией относиться к тому, что делаешь, к результатам своим, как бы тебя ни ругали, как бы тебя ни хвалили. Работать серьезно, увлеченно, но и уметь смотреть на себя со стороны. Не обольщаться достигнутым, но и не паниковать перед неудачами. И, конечно, не замыкаться только на профессии. Вы спросили, как проходило мое формирование? А все формирует человека, абсолютно все. Труд приносит радость. Расхожая фраза. Мы любим говорить о счастье в труде. Но нельзя думать только о работе, это узко. Для меня, например, удовольствие провести несколько дней за городом; побродить по лесу, посидеть у озера, побыть в одиночестве, в тишине. Счастье для меня посмотреть картины разных художников, открыть новые имена на выставках. Я собираю книги по изобразительному искусству. Книги вообще люблю. Стараюсь читать больше, хотя временем с каждым годом становится все меньше и меньше. А общение с людьми? Полнокровная жизнь — это: да, работа, но и семья, отдых, встречи. Все формирует актера. И, конечно, одержимость, характер, умение развить в себе то, что получил по наследству от родителей, я говорю о генах.

Вы, видимо, знакомы с тем, как поступают в театральные институты? Конкурсы там сумасшедшие. Отбирают двадцать — двадцать пять человек на курс из тысячи. Бывает, что родители гонят своих детей в институты. Родители требуют: занимайся и занимайся, скоро экзамены, нанимают репетиторов, долго выбирают институт, анализируя, где какой конкурс, согласны на любую специальность, лишь бы их чадо получило высшее образование. И дети, дети! — семнадцать-восемнадцать лет, взрослые дети — соглашаются, поступают учиться. В театральных вузах все иначе: туда идут одержимые. Их никто не подгоняет, скорее наоборот, родители зачастую отговаривают, а они рискуют. Они готовы не спать ночами, учить стихи, басни, прозу, петь, танцевать, заниматься пластикой, дикцией, лишь бы поступить. И хотя они, абитуриен-

ты театральных институтов, как правило, переоценивают себя, не представляя до конца всех трудностей и особенностей нашей актерской профессии, они одержимы. Каждый поступающий уверен: он великий артист. Самоуверенность необычайная. Но она необходима, нужно верить в себя, нужно верить себе, а иначе зачем поступать?!

Даже поступающие в театральный институт по благу, — и такое, увы, бывает — но и эти, поступившие на актерский факультет с солидной поддержкой, — одержимы. Они еще плохо разбираются в профессии, но в одном уверены: им уготовано великое будущее. А происходит крушение надежд. Страшно, когда не исполняются мечтания. Среди поступивших на первый курс довольно быстро выдвигаются два-три человека. О них говорят. Но и так бывает, что, слыша о себе хвалебные слова, считая себя гениями, они затем растворяются в общей массе. Психология актера — тонкая штука. По природе своей артисты — сверххранимые и уязвимые. Представляете, люди с такой организацией психики — и как же больно бьют их неудачи: плохое распределение ролей, а то и отсутствие интересных ролей вообще, неудачи в кино, невнимание критики, прибавим к этому материальную неустраиваемость — начинающие артисты получают мало, меньше, чем квалифицированные рабочие. Не стал ты артистом первой или высшей категории, нет у тебя работы в кино и на телевидении — таких артистов, неизвестных, непопулярных, значительно больше, можно сказать, большинство — и сломался. Понимаете меня, сло-мал-ся артист. У меня тоже было много неудач и сложностей. Я сам иногда удивляюсь, как же я не сломался. Скорее всего потому, что я человек с иронией.

— Ну, теперь-то вы человек известный, знаменитый, популярный, — не выдержал один из студентов и начал как бы размышлять вслух, явно завидуя нашему гостю, — так что, можно считать, ваша биография сложилась счастливо. Вам завидуют миллионы, вас знают миллионы, вы — авторитет. (Сам студент — он часто говорит об этом — мечтает стать знаменитым и уже придумал, хотя и не опубликовал еще ни одной статьи, себе звучный псевдоним.)

— Счастливо? Вы плохо знаете мою биографию, молодой человек. А потом разница в возрасте. Вам двадцать?

— Девятнадцать, — чуть смущенно произнес студент.

— Радуйтесь, что вам нет еще и двадцати. Мне уже за сорок. Это заставляет о многом думать, иначе относиться к каждому прожитому году, месяцу, дню. Вы счастливее меня. Что же касается популярности — не скрою, это приятно. Только все это на самом деле мишура. Мне известны десятки популярных в прошлом людей, они живы, вместе с нами ходят, работают, но их уже при жизни никто не помнит. А сколько знаю людей, не выдержавших испытания славой?! От этого тоже можно сломаться. Что меня лично спасает в подобной ситуации? Это то, что я отлично помню и знаю, каким я был раньше, а раньше я был — никем, понимаете?!

И снова тишина. То ли обиделся на что-то Александр Калягин, то ли задумался о чем-то, то ли задел его своим несколько резковатым тоном студент, только стоял он посредине аудитории, широко расставив ноги, и долго молчал.

Миловидная студентка, круглая отличница, хрупкая и нежная, пишущая в молодежной прессе по проблемам любви, молодой семьи, робко обратилась к артисту:

— Александр Александрович, во многих интервью, которые вы давали, вы всегда начинали с детства.

Есть такое выражение «я родом из детства», вы понимаете меня...

Калягин вскинул голову, беззащитно улыбнулся.

— Это верно — все мы родом из детства. Я рос довольно одиноким. Отец умер, когда мне исполнился месяц. Да, отец умер в 1942 году. Он работал директором педагогического института имени Н. К. Крупской. А мама преподавала там французский язык. Собственно, в институте мои родители и познакомились. Я поздний, как принято говорить, и единственный ребенок. Мама меня родила, когда ей было сорок лет. Вы не представляете, что значит женщине родить первый раз в сорок лет. Да еще в 1942 году. Спустя многие годы, уж став взрослым, я читал письма матери, которые она посылала своей сестре, моей тетке. Институт был эвакуирован из столицы, шла война. Мать просила приехать свою сестру, чтобы помочь ей выжить... После окончания войны мы вернулись в Москву. Мать продолжала работать. Лекции, семинары, зачеты, экзамены, собрания. Она рано утром уходила из дома, поздним вечером возвращалась. Будем помнить: шли первые послевоенные, голодные и холодные годы. Я был настоящим дворовым мальчишкой. Своя компания, свои законы, своя борьба, свои критерии добра и зла. Если вспомнить только детство, то хватит материала для создания тысячи ролей. Что такое одиночество, что такое предательство и любовь, чувство обиды, тоска по ласке — все это было в детстве. В детстве нет никаких шторок, прикрытий, в детстве мы беззащитны. И в то же время детство — это творчество, игра, мечтания, фантазии.

Моя детские годы прошли под знаком театра. Как это сложилось, какие гены сработали — трудно сказать. Но я твердо знал: буду обязательно артистом. Не берусь объяснить, не знаю, откуда такое у меня. Помню, мы пошли в гости к тетке. Мне исполнилось десять лет. По телевизору с крошечным экраном показывали фильмы Чаплина. Перед показом выступал известный в то время критик, киновед Авенариус. Я обалдел от увиденного. Это было гениально. Я все понял. Окончательно уверовал: буду артистом. С семи лет ходил в Дом пионеров, занимался в студии художественного слова. Меня включали в так называемую группу приветствия. Помню, мы приветствовали съезды партии и комсомола. Волновались, беспечились, гордились.

— Мы слышали, что вы в тринадцать лет написали письмо Аркадию Райкину и он ответил. Это правда?

Все засмеялись. Александр Александрович не понял нашей реакции. Не знал, что студент, задавший вопрос, на всех подобных «пресс-конференциях», что бы ни спрашивал, всегда добавлял: «Это правда?» И даже если выяснялось, что так оно и было на самом деле, он все равно сомневался и переспрашивал: «Так это правда?»

Смеялись долго. Пришлось пояснить возникшую ситуацию, и тут уж заразительно рассмеялся сам Александр Александрович. Отсмеявшись, он продолжил рассказ:

— Да! Это!! Правда!!! На самом деле, действительно правда... Аркадий Райкин ответил мне письмом. Я был счастлив, гордился этим. Только спустя годы я могу оценить этот его поступок. Мне стыдно, но я не на все письма отвечаю... А характер уже к четырнадцати годам был у меня, это я сегодня понимаю, сложным. Самолюбие болезненное, гордость гипертрофированная. Дико ненавидел свою школу. Директор была женщина злая, суровая, детей она не любила и не понимала. И не хотела понять. Ее панически боялись и учителя и ученики. А школа наша занимала первое место в районе. До сих пор не могу понять, как это так — первое место в райо-

не, а мне, да и многим моим сверстникам не хотелось ходить в школу. Муштра, отсутствие обыкновенных человеческих отношений, теплоты, невероятная педантичность, казенщина, формализм. — Александр Александрович оглядел всех сидящих, заглядывая каждому в глаза. — Так я и жил. Заканчиваю седьмой класс, и мама отправляет меня учиться в медицинское училище. Я сопротивлялся, но не очень. Так школа мне опостылела, что готов был на все. А медицинское училище давало профессию и аттестат зрелости. Перспектива в пятнадцать лет стать как бы студентом меня радовала.

Все переменялось в моей жизни. Первое — ощущение свободы. В училище занимались ребята после армии. Я сразу стал взрослее. Сейчас, встречаясь с известными врачами (некоторые стали докторами наук, профессорами, а тогда мы учились на фельдшеров), вдруг выясняю, что мы вместе ездили на концерты. Сознаюсь, медициной занимался между прочим, а театром — всерьез. После окончания училища работал на одной из подстанций «Скорой помощи». Многое узнал, многое почувствовал. Быт, жизнь людей, несчастья, смерти. Работая на «Скорой», пошел заниматься в Дом культуры медицинских работников, где и сегодня действует прекрасный театр под руководством, кстати говоря, выпускника нашего факультета Марка Розовского. Мне повезло. Я попал к замечательному педагогу Нине Адомовне Буйван. Она заложила основы моего театрального образования, общей культуры, помогла подготовиться к поступлению в театральное училище. Она помогла мне поверить в себя, в свои возможности. Всю жизнь буду помнить эту замечательную женщину. Мне всегда казалось, что она относилась так хорошо прежде всего ко мне. Но потом узнал, что и другие участники нашей студии думали так же...

— А вы не жалеете, что работали на «Скорой помощи», не жалеете, что занимались не своим делом, учась в медицинском училище? — несколько запальчиво выкрикнул один из студентов свой вопрос. (Сам студент поступил в университет сразу после школы и проповедовал теорию ранней специализации, говоря, что знания жизни приходят сами по себе, а главное — творчество, которым нужно начать заниматься как можно раньше.)

— Нет, не жалею. Во-первых, жалеть о прошедшем глупо. Во-вторых, жизненный опыт идет на пользу в любой профессии. Училище — я, правда, понял это спустя годы — помогло мне ощутить себя взрослым, самостоятельным, кроме того, как это ни странно прозвучит, случайности всегда, что ли, закономерны. Не будь училища, я бы не пошел заниматься в Дом культуры медицинского работника, не начал я там заниматься, не встретил бы Нину Адомовну, а не встретив Нину Адомовну, смог ли бы подготовиться к поступлению в театральное училище?

— Говорят, вы поступали в театральный институт, а вас сначала не принимали. Расскажите об этом, пожалуйста, — задал вопрос студент, поступивший к нам на факультет с третьей попытки.

Александр Александрович заговорщицки улыбнулся и подмигнул студенту, задавшему этот вопрос.

— Да, я поступил после того, как поработал на «Скорой помощи», в Щукинское училище. Это высшее театральное заведение. Подготовил стихи, басню, рассказ и пришел на предварительное прослушивание. Вроде бы не экзамен, а на самом деле настоящий экзамен. После этих консультаций и решается, допустить или нет абитуриента на экзамены по мастерству, а они проходят в три тура, и затем уже идут общеобразовательные предметы. Я был уверен — меня примут.

Пригласили меня в аудиторию, где проходило прослушивание, я спокойно прочел подготовленный репертуар. Прочел, как мне показалось, хорошо. А через некоторое время, примерно через час, сообщили: к дальнейшему участию в конкурсе не допускать. Причина? Хриплый голос, невыразительная внешность. Жуть да и только. Те, кто проваливался при поступлении в институт, меня поймут. Здесь и обида, и горечь, и ощущение несправедливости, никчемности и ненужности. Но переживал недолго. Надо уметь переносить трудности, сказал себе. В конце концов жизнь не кончается — и поехал на море, где совсем успокоился. Можете мне верить, можете не верить — я абсолютно был убежден: рано или поздно стану артистом.

Спустила погода узнаю: из Щукинского училища отчисляют троих первокурсников и объявляют дополнительный набор. Встретился я с одним из педагогов училища, Александром Исааковичем Бейнин-Боймом-Сабининым, и попросил его прослушать меня. Он не просто прослушал, а провел целое занятие — опять повезло! — дал практические советы и обещал устроить встречу с ректором училища народным артистом СССР Борисом Евгеньевичем Захавой.

Навсегда останется в памяти эта встреча. Собрались Захава, Бейнинбойм-Сабинин, руководитель одного из актерских курсов Анатолий Борисов и устроили мне прослушивание. Как важно, я думаю, это каждый поймет, чтобы тебя слушали внимательно и доброжелательно. Я эту атмосферу сразу почувствовал. Эти люди хотели, чтобы я им понравился. Была удивительно доброжелательная и ровная обстановка. Начал читать и чувствую — пошло хорошо. Ощущаю добрые и мудрые взгляды этих пожилых людей. Про себя подумал: вот все и свершилось...

Закончил я читать. Борис Евгеньевич посмотрел на меня лукаво и сказал: «Знаете, все хорошо, все прекрасно, но зимой мы вас принимать не будем. Вот вам записочка. — Он оторвал листок бумаги и быстро на ней что-то написал. — С этой запиской приходите летом. Желаю вам успехов». Взял я записку, а читать не решаюсь. Вышел за дверь и прочел: «Калягину явиться на третий тур летом. Захава». Как сумасшедший носился я с этой запиской. Держал всегда с собой, во внутреннем кармане, частенько проверяя: цела ли? Боялся с ней расстаться. Относился к ней, как к талисману. Прошло полгода. Прихожу на третий тур. А он, третий тур, оказывается, состоит из двух частей — самого прослушивания и этюдов на заданную тему, позволяющих проверить у поступающих фантазию, изобретательность, наблюдательность.

Экзамен принимала представительная комиссия — человек тридцать собралось. И нас, поступающих, было около тридцати, это из тех, кто остался после консультаций, двух туров, а брали всего двадцать человек. Во главе комиссии — Борис Евгеньевич Захава.

Дали нам этюд «Фотография». Вот, мол, мастерская фотографа, кто и как поведет себя перед объективом. Обвел всех взглядом Захава, остановился на мне и сказал: «А фотографом будете вы».

Отвели время на подготовку. Я судорожно соображал, как быть, что делать, что придумать, чем поразить комиссию. Им, рассуждал я, легче. Тем, кого я по роли буду «снимать». Они могут поскандалить, если потерялась фотография, просить сняться в нескольких вариантах — для армии, для девушки, на документ. Это все эпизодики. Я же должен 25—30 минут действовать. Стою в очумелости, и ничего в голову не приходит. А ко мне подходят ребята, договариваются о репликах, просят их по-особенному посадить, что-то сказать. Я со всеми соглашаюсь, а сам думаю, как быть, что играть, как выстроить

роль. И тут меня осенило. Я понял: «уйду» в пантомиму. Понадобится несколько фраз — скажу, но в основном буду играть пантомиму. Вспомнил Чаплина, один из фильмов, где он играл фотографа. Это и помогло найти решение. Фотограф Чаплина долго выстраивал семью перед тем, как снимать, вставал за камеру, крутил туловищем и определенной частью тела — это выходило смешно.

Александр Александрович, рассказывая, начал показывать. И мы увидели действительно фотографа. Студенты засмеялись.

— Так я начал этюд. С первых секунд понял: реакция есть. Комиссия улыбается. Лиц не вижу, но чувствую: попал в точку. Хорошо прошел этюд, и меня приняли. А на втором курсе хотели отчислить по профнепригодности. По программе у нас шли этюды на раскрепощение, на органику актерского поведения. У меня они не получались. Как ни бился — не получались, и все тут. Чем больше старался, тем хуже выходило. Меня решили отчислить. Катастрофа! Спасло чудо. В училище разрешили показывать самостоятельные работы. Хочешь, играй Лира, хочешь — Гамлета, хочешь — читай любой рассказ. Приходят педагоги и оценивают самостоятельные работы. У Чехова есть рассказ «Свидание хотя и состоялось, но...». Я решил этот рассказ показать. Рассказ о том, как пишется гимназист, как он рассуждает после первой бутылки пива, после второй, третьей... Нужно было показать степени опьянения. Сам удивляюсь, как у меня это вышло. Я человек практически не пьющий, а тогда вообще не знал вкуса вина. У нас и среди родственников все были трезвенники. А пьяный гимназист получился. Мы потом выступали в концертах, и меня всегда просили прочесть этот рассказ. За самостоятельную работу мне поставили четыре. Поставил Борис Евгеньевич Захава. Он в тот день вернулся из отпуска — и сразу к нам, в училище, на показ. Как все хорошо совпало. Уже подготовлено решение кафедры об отчислении, а пришел Борис Евгеньевич — и все обернулось хорошо. Вернулся он из отпуска на день позже, и, кто знает, как бы сложилась моя биография.

— А если бы вас все-таки отчислили из училища? Не приехал бы Захава на просмотр самостоятельных работ? Вы бы продолжали бороться за себя? — задала вопрос студентка. И не просто задала, а как бы выкрикнула. (Все улыбнулись. Александр Александрович опять не понял реакции. Он не знал, что студентку ожидал очередной разбор в деканате. Решался, уже пятый раз, вопрос о ее отчислении. Правда, не из-за профнепригодности, а за академическую неуспеваемость и большие пропуски.)

— Конечно, боролся бы, о чем разговор. Если в чем-то уверен — обязан бороться до конца. Вопрос, как я понимаю, значительно шире, чем он кажется на первый взгляд. Я говорю о проблеме борьбы, о самоутверждении, о возможности до конца, если ты уверен, отстаивать свое право заниматься тем, что тебя влечет. А в то же время я бы рассматривал этот вопрос еще шире. Можно бороться за себя, а можно бороться за идею, за справедливость. Мы как-то, к сожалению, отыкали или стесняемся этого слова — гражданственность позиции. А зря! Сознаться, я и сам в юности об этом не рассуждал. Живу себе и живу. Так продолжалось, пока не произошел примечательный эпизод в моей жизни. Многое он во мне перевернул. Не знаю, стоит ли об этом рассказывать. Дело прошлое.

Со всех углов раздалось дружное: «Расскажите».

— Работал я в Театре имени Ермоловой. Был у нас заместителем директора хам и пошляк. Жуткий человек. Актеров унижал. А уж когда вызывал к себе молодую актрису... Он приводил нас в бешенство.

А я был в то время секретарем комсомольской организации театра. Как мы работали? Плохо. Формально. Все сводилось к одному — взносы, взносы и взносы. Никаких собраний, обсуждений шефской работы. Райком комсомола относился к нам снисходительно: театр, своя специфика, что с них требовать. Правда, в театр работники аппарата райкома комсомола ходили исправно. Так и шла наша жизнь. Но однажды после очередной хамской выходки нашего заместителя директора мы не выдержали и решили провести собрание. Первое настоящее комсомольское собрание. Поставили вопрос об отношении администрации театра к молодежи. Мы хотели припугнуть заместителя директора. Не удалось на первом собрании, провели второе. С протоколом, с интересными предложениями, острыми выступлениями. Тогда собрали партбюро и пригласили на него комсомольцев. Были там и представители из городского управления культуры. Выслушали нас и сказали: вы сначала налаживайте комсомольскую работу у себя, а потом уже указывайте администрации на ее недостатки. Я завелся. Со мной никогда подобного не было. Мы победили, говорил я своим товарищам по театру. Я дошел до первого секретаря Фрунзенского райкома партии. Он меня принял, обещал разобраться. Но и нас, нашу комсомольскую организацию начали строго проверять. И мы взялись работать: шефские концерты, собрания, диспуты, самостоятельные работы, газеты начали выпускать, провели смотр молодых артистов, зрительские конференции. Так работали. И нам самим стало интересно. А борьбы своей не оставляли. И оказалось: мы правы. В конце концов его уволили из театра, исключили из партии. Это был, если хотите, отличный урок на нашу гражданскую зрелость.

— Многие артисты сейчас уходят в режиссеры. Что вы думаете по этому поводу? — спросил студент, который собрался после окончания нашего факультета поступать на высшие режиссерские курсы. А к нам поступил, ибо не рискнул идти во ВГИК.

— Если есть возможность себя попробовать в том, что для тебя ново, интересно, почему бы не использовать эту возможность. Вот и я решил попробовать себя в режиссуре, ставлю в объединении «Экран» Центрального телевидения фильм «Подружка моя» по сценарию Татьяны Калецкой.

— Какой из фильмов с вашим участием вам особенно дорог? — спросил студент, любящий задавать вопросы из серии «самый, самый, самый».

— Если говорить о чисто кинематографическом подходе, то мне нравится «Раба любви». Думаю, что эта лента — одна из лучших в творчестве Никиты Михалкова. Это очень талантливый человек. Прекрасный педагог. Актеры любят с ним работать. Он их любит. Я думаю, это происходит потому, что он имеет актерское образование, сам прекрасный артист, а дарование у него чисто режиссерское, такой склад ума. Он всегда знает, что актер собой представляет, сколько и чего можно выжать из артиста. Работает с каждым артистом внимательно, подробно. Независимо — большая или маленькая роль. Редко кто из режиссеров так ценит артиста, как Никита Михалков. И настроение на съемочной площадке он создает у всех прекрасное. Много розыгрышей, шуток. Он доверяет артисту, старается всегда и во всем пойти ему навстречу. Его режиссерский диктат никогда не ощущается диктатом, не давит на психику.

— Александр Александрович, вы артист школы переживания или школы представления? — спросила студентка, дочь довольно известных артистов, мечтающая после окончания университета стать театральным критиком.

— Вы знаете, на мой взгляд, нельзя так говорить.

Считается, что щукинская школа — это школа артистов представления, а вот Школа-студия МХАТа — это школа переживания. Но это все, да простится мне это выражение, глупость. Есть жанры, где актеры должны обязательно работать. Если водевиль — школа представления, хотите или не хотите, можно психологически тонко роль прожить, но все равно, согласитесь, это жанр определенный, который навязывает артисту определенные краски, настроение, свою систему работы над ролью, свою меру условностей. Как назвать Чаплина? Кто он, артист школы представления или переживания? Я понять этого не могу. Вроде бы маска. Утрированная походочка, нарочитая комедийность. Школа представления, не так ли? А он, это чувствуется, все проживает, понимаете это слово, проживает, он за героев своих жизнь на экране проживает. Стоит лишь посмотреть на его крупные планы, и все скажут — это школа переживания, психологический переход к созданию роли. Он ничего не показывает, он живет в роли достоверно. Актер обязан уметь работать в любой школе, в любом жанре, актер обязан быть достоверным, не фальшивить. Вот и моя роль в «Рабе любви» — это мелодрама. Мы эту роль делали, даже не думая о точном определении жанра. Просто я играл человека, который заблудился в революции. Мне очень нравится этот фильм. Да, в ленте есть мелодраматическая нотка, но она исходит из жанра, хотя мы играли, как тут вы говорили, в школе переживания.

Мне вообще везло на режиссеров в кино. Встреча с Михаилом Швейцером, который дал мне роль Чичикова в пятисерийном фильме «Мертвые души». Эта роль фантастическая. Работа доставляла удовольствие. Общение с режиссером — праздник для души. А Виктор Титов, с которым я подружился. Он пригласил меня на главную роль в картине «Каждый день доктора Калининской», а затем я снимался в его фильмах «Адам женится на Еве» и «Здравствуйте, я ваша тетя!». Эти режиссеры любят актера, верят в него и делают все для того, чтобы артист стал соавтором фильма. Мы много и часто спорили, обсуждали, пробовали лучшие варианты. Для этих режиссеров я был не просто исполнитель, а единомышленник.

— Вы снимались в фильме «Допрос» на «Азербайджанфильме». Пожалуйста, расскажите подробнее об этих съемках и, если можно, о своих впечатлениях от Баку? — задал вопрос студент, приехавший к нам учиться из Баку, и, кто бы ни приходил к нам на семинар, он всегда их спрашивал, бывали ли они в Баку и их мнение о его родном городе.

— С удовольствием. Однажды получаю письмо, которое начиналось словами «Уважаемый Алексей Алексеевич!», а дальше шла речь о том, что мне, артисту Калягину, предлагается главная роль в фильме «Допрос» по сценарию Рустама Ибрагимбекова. Говорилось о том, что, если я соглашусь сниматься в этой картине, то мне будет в Баку оказан очень теплый прием. И дальше шел подробный перечень всевозможных благ, на которые я мог рассчитывать. Как бы между прочим сообщалось, что на этой студии снимались такие большие артисты, как Н. Крючков и М. Ладынин, и, мол, они остались довольны. Кроме улыбки, это письмо ничего не могло вызвать. Через некоторое время получаю сценарий. Я решил его прочесть — влекло имя автора. Рустам Ибрагимбеков — прекрасный прозаик, драматург, сценарист. Я играл в спектакле «Похожий на льва» по его пьесе, помнил успех фильма «Белое солнце пустыни», где он был одним из соавторов. Вот почему, точно решив для себя, что в Баку на съемки не поеду, сценарий все-таки начал читать. Прочел и понял: буду сниматься, просто обязан сняться в фильме.

Меня захватила тема. Роль следователя — прекрасная. Следователь, которого я играю, — человек честный. Он ведет расследование сложнейшего дела, он уверен в своей правоте, а многие сознательно мешают ему довести до конца следствие.

Как играть эту роль? Школа переживания или представления? — Александр Александрович даже хихикнул, посмотрев на студентку, задавшую этот вопрос. — Я решил идти от своего характера. Играть Калягина, если бы он был следователем. Быть самим собой. Меня тоже злит невероятно всякая нечестность, вранье, блатмейстерство, умение некоторых людей жить хорошо за счет других. Мой герой не устроен в бытовом отношении. Ему предлагают дать квартиру, но при этом требуют, рекомендуют, советуют не очень выикать в дело, которое он ведет. А ниточки следствия вели к заместителю министра, не меньше. Как бы в такой ситуации поступил я, Калягин? Смог бы предать самого себя ради личных благ? Смог бы изменить себе, не артисту, а человеку Александру Калягину? Такие вопросы я ставил перед собой. И рождалась интонация реплик, сам возникал нужный взгляд, походка, мимика, жесты. Роль сама получалась. Я влез в шкуру этого человека. У фильма, когда мы его закончили, были противники. И только вмешательство товарища Алиева, который был тогда первым секретарем ЦК партии Азербайджана, помогло нам. А потом картина долго шла на экранах и была удостоена Государственной премии.

Что я могу сказать о Баку?! Только хорошие слова. Сказочный город, хорошая студия, хотя я никогда не был... Алексеем Алексеевичем...

Любая беседа, как ни планирую ее, развивается по своим законам. Вопросы бывают самые неожиданные. Почему возник следующий вопрос, трудно объяснить, но встала самая миниатюрная участница нашего семинара и, дождавшись абсолютной тишины, интимным голосом спросила:

— Александр Александрович, скажите, пожалуйста, каков ваш идеал женщины?

— Не знаю, не знаю! Я не равнодушен к умным женщинам. Всем красивым, эффектным предпочитаю умную.

И вновь задала вопрос студентка, мечтающая стать театральным критиком:

— Расскажите, как вы работали над ролью Ленина в спектакле «Так победим!». Я смотрела спектакль, я была захвачена.

— Все произошло неожиданно. Я знал, что наш главный режиссер Олег Ефремов работает с драматургом Михаилом Шатровым над пьесой о Ленине. Но я твердо был уверен — мне в этом спектакле делать нечего. Разве только эпизод могут дать. Планировалось, что роль Ленина поручат Евгению Евстигнееву. Думаю, что он сыграл бы отлично. Но тут у Евстигнеева случился инфаркт. Ему было бы тяжело после этого репетировать и играть главную роль. По театру пошел слух — хотят предложить роль мне. Именно слух, ибо никто официально ко мне не подходил и по этому поводу не разговаривал.

Как-то перед началом спектакля «Чайка» заходит ко мне Олег Ефремов и говорит: «Попробуем тебя на роль Ленина». Сказал он это твердо. А я ответил, что даже пробовать не буду, не вижу себя в этой роли. Тогда долгие беседы начал вести со мной заведующий литературной частью нашего театра Анатолий Минович Смелянский. Он удивительно умеет убеждать людей. Он всегда точен, доказателен, практичен и как-то по-особенному подходит к каждому артисту. И я решил попробовать. И началась долгая, кропотливая, изнуряющая, нервная работа.

Собирались Олег Ефремов, Михаил Шатров, Ана-

толий Смелянский, режиссер Роза Сирота и я. Мы обсуждали каждую фразу, говорили об обстановке того времени, старались увидеть спектакль. Часто возникали споры. Анатолий Смелянский в этих спорах исполнял роль арбитра. И делал это очень убедительно. Бывало, что Михаил Шатров не выдерживал, хлопал дверью и уходил. Ему давали остыть. Потом звонили, и он снова приезжал и продолжал работать. Этот период был самым главным. Я смотрел и слушал, как делается по фразам роль, как создается пьеса.

Через два месяца после начала работы в кабинете Ефремова пьеса была готова. Я ее прочел. Мы шли не на сглаживание углов, а на обострение. Для меня было важно, что говорит Ленин, как он говорит это. Я пытался понять, как он слушает, как смотрит, как убеждает. Для того, чтобы играть Ленина, надо ненавидеть все то, что ненавистел он. Я много ездил по стране с концертами, литературными программами. Я видел, как живут люди. Меня волнует — сыты они или нет. Обеспечены жильем или нет. Заботится о них местная власть или нет. Если мы говорим ленинский стиль, если мы его утверждаем, то это означает — забота о человеке не на словах, а на деле.

Трудно мне было играть эту роль. У нас как бывает... опубликуют директивные документы, скажем и все начинают об этом говорить, обсуждать, намечать планы. А что, до публикации этих материалов мы не знали, что нужно бороться с очковитеральством, со взятками? Знали! И об этом наш спектакль.

В каждой своей роли я пытаюсь говорить, что меня волнует и беспокоит. Вот без этого, личного отношения, сыграть роль невозможно. Будет хорошая декламация, и все.

Роль Ленина потребовала огромных душевных сил. Пьеса так сделана, что Ленин все время на сцене. Жест, пауза, ритмика шагов... Это нельзя отрепетировать, это должно родиться. Убедительность голоса должна родиться от личной убедительности, понимаете меня? «Так победим!» — называется спектакль. Да, мы победим, если сохраним ленинский стиль, демократизм, если будем бороться с комчанством, враньем, победим, если будем убежденными, если будем делать не карьеру, приносящую личные блага, а дело, победим, если сможем убедить других, убедить в своей правоте.

Александр Калягин не рассуждал, а призывал нас. Он убеждал страстно, с личной заинтересованностью. Все притихли.

Возникла пауза. Кажется, что все обдумывали услышанное, проверяя на себе сказанные артистом слова, как бы сопоставляя их с собственными мнениями и убеждениями.

Сидит за столом известный артист Александр Калягин. Крутит сигарету. Он не курит и никогда не курил, просто она оказалась на столе, и он начал вертеть ее в руках. Смотрит на лица будущих журналистов. Изучает их.

— Я рад, что мы встретились. У вас, у студентов, умные глаза. Вы задавали интересные вопросы. Мне было интересно на них отвечать. Только жаль, что Игоря Некрасова не было. Он действительно написал мне прекрасное письмо. Передавайте ему привет.

О студенческой «пресс-конференции» рассказал Владимир ШАХИДЖАНИЯ



ЮЛИЙ КИМ

СПОЙ НАМ, ВИЗБОР...



избор. Юрий Визбор.

Вот он стоит на сцене — мешковатый и в то же время ладный, чуть наклонившись через гитару к микрофону, улыбается.

У него замечательная улыбка, мгновенно располагающая к нему: здравствуйте, мы все тут свои люди, давайте, ребята, споем что-нибудь.

Все его лицо излучает это дружеское приглашение, и так заразительно, что собравшихся разом окутывает волна симпатии к этому человеку и объединяет с ним.

Если так улыбается, то как смеется? С наслаждением, откидываясь от смеха, счастливо смеется.

Душа всякой хорошей компании. Не тамада, не кумир, а именно душа. Его обаяние действует само по себе, без усилий. Он не стремится первенствовать, он слушает других, и слышит, и всегда откликается. Даже в пятидесятилетнем, огруженшем, послепарафронтном — в нем все так поразительно молодо: и смех, и жест, и речь.

Он помнит массу веселых историй (ну, и невеселых, конечно), какие пережил и сам и не сам, и вот рассказывает, такой своей скороговорочкой, пересыпанной коротким смешком, на все лады и обязательно в лицах, с такой своей жужжащей дикцией... И любишь и заслушиваешься, бывало.

Походил, поездил, полетал, поплавал, понасмотрелся, поназнакомился...

И оказалось на свете великое множество хороших компаний вокруг него, и если бы их все собрать в одну, кого бы мы только не увидели! Тут тебе и моряки и летчики, и хоккеисты и артисты, и космонавты и писатели, и ученые и студенты...

Абсолютно контактный человек. И какой разносторонний!

Журналист, драматург, горнолыжник, радист, сценарист, актер, альпинист — наверно, не все я перечислил. Но прежде всего и самое главное — поющий поэт.

Году в 1963 Алла Гербер написала в «Юности» о «бардах и менестрелях». Время утвердило слово «бард». А вот все же хочется расшифровать.

Юрий Визбор, поющий поэт. Спой нам, Визбор, что-нибудь старенькое, сочиненное тобой ли одним, вместе ли с кем — все равно это в первую очередь твой голос, твоя гитара, твоя интонация.

— Чутко горы спят, Южный Крест залез на небо...

— Жить бы мне, товарищи, возле Мелитополя...

— Полночь в зените, лунные нити на снегу...

— Мирно засыпает родная страна, и в московском небе золотая луна...

— В Архангельском порту причалил ледокол...

— Рекламы погасли уже, и площадь большая нема...

Я смотрю на эти строки — и я не перечитываю их, а слышу. Потому что я знаю, как они звучат, и мысленно пою продолжение каждой из них. И понимаю: тому, кто не знает их, они мало что скажут, а то и ничего.

Ах, дорогие мои, — те, кто не знает, никогда не слышал этих песен! Не буду, не хочу, да и не могу судить об их художественных достоинствах и глубине: я слишком пристрастен, вот в чем дело. Молодость целого поколения обозначена этими цитатами

ми, вот в чем суть. Незабвенные — а для многих и лучшие — годы тут же отзываются в наших сердцах при одном звуке визборовской гитары, при одном взгляде на его лицо.

— Нажми, водитель, тормоз наконец!
Ты нас тиранил три часа подряд.
Слезайте, граждане, приехали, конец:
Охотный ряд, Охотный ряд...

— Снова нас ведут куда-то,
И неясен нам маршрут:
Видно, горы виноваты —
Не сидим ни там, ни тут!..

— Тихим вечером, звездным вечером
Бродит по лесу листопад...

— Ищи меня сегодня среди больших дорог,
За островами, за большой водою...

Визбор — это молодая Москва конца 50-х, внезапно открывшая для себя много нового, в том числе — горы, дороги, тайгу, моря и океаны, романтических флибустеров и реальных геологов, экзотический Мадагаскар и подмосковную осень... Это резкое переощущение пространства и времени, истории и человека в ней...

Визбор — это наше совершеннолетие. Повторяю, я пристрастен, и, вероятно, поэтому мне кажется, что такой радостной, такой дружной молодости не переживало ни одно из последующих поколений. Это тогда, это мы начали так широко путешествовать — пешком, на лыжах, на байдарках. Это при нас в таких количествах развелось столько интересного: устные журналы, клубы встреч, умопомрачительные капустники, состязания юмористов, стенгазеты во всю стену, доморощенные театральные студии... МГПИ-шники бегали в гости к МГУ-шникам, МАИ-шники — к МОЛМИ-шникам, и наоборот, потому что у тех — выставка, у этих — обзорение, а там — вечер, и Визбор будет.

Это бесконечные встречи, нехитрые студенческие посиделки, табачный чад, гитара, дешевое вино, беседы и диспуты за полночь, и стихи, стихи...

Бесконечные встречи... в зрительном зале, в аудитории или у стола, или у костра... Поколение жадно знакомилось, искало и находило свое слово, свою музыку. Обрело лицо.

И появилась поэзия поколения. И в том числе — звучащая, песенная, и слышались первые наши имена, и самым звучным было — Юрий Визбор.

Ревнителю и знатоку, станете ли вы возражать? Знаю я, помню: у кого-то музыка получалась лучше, у кого-то стих поточнее, да только все-таки в нем, в Визборе, все сошлось, все отразилось и выразилось так полно и универсально, как ни в ком. И наша речь, и наш юмор, и образ мысли и жизни. Он задал тон многим гитарам. И не только гитарам...

— По старинной по привычке мы садимся
в электрички...
Будет утро греть на печке молоко в задоровых
кружках...
Будет все, как мы хотели, будет долгий звон
хрустальный,
Если стукнуть лыжной палкой ровно в полночь
по Луне...

— На плато Расвумчорр не приходит весна,
На плато Расвумчорр все снега да снега,
Все зима да зима, да снегов кутерьма,
Восемнадцать ребят, три недели пурга...
...Нас идет, восемнадцать задоровых мужчин,
Забинтованных снегом, потертых судьбой.

Восемнадцать разлук, восемнадцать кручин,
Восемнадцать надежд на рассвет голубой...

— Приходи ко мне, Бригитта,
Как стемнеет — приходи.
Все, что было — позабыто,
Все, что будет — впереди!..

— То взлет, то посадка... То снег, то дожди...
Сырая палатка... и писем не жди...
Идет молчаливо в распадок рассвет.
Уходишь — счастливо.
Приходишь — привет...

— Заблестели купола. Глядь: страна Хала-Бала!
Отворяют ворота, выплывают три кита,
А на них — Хала-Бала...

— Ты у меня одна,
Словно в ночи луна,
Словно в году весна,
Словно в степи сосна...

В биографии нашего поколения минимум три года — его, визборовские... Когда пели главным образом его. Когда, перефразируя известные строки, — все мы были немножко в изборы, каждый из нас был по-своему в избор.

Со временем наряду с ним запели и других, и он сам охотно их пел — только я вижу, что все это новое разнообразье было Визбором уже заявлено, всякая краска найдется в его спектре.

Самое органичное представление о нем — это Визбор с гитарой у костра. Чтобы кругом суровая природа, ночь и отсветы огня на лицах. Краткий отдых мужественных людей во время трудного похода. Дух истинного дружества и единодушия в самом важном: в бескорыстии, достоинстве и человечности. И гитара — негромко, и Юра — негромко...

— Восемнадцать разлук, восемнадцать кручин,
Восемнадцать надежд на рассвет голубой...

Этим сентябрем я говорил с ним последний раз по телефону. Он был безнадежно болен и, кажется, знал об этом. Голос его был слаб, но бодр.

— По утрам отпускает, а к вечеру опять... — сказал он. — Зайди как-нибудь утром, денька через два. — Чего тебе принести?

Тут он помедлил, а потом с какой-то полушутливой яростью сказал:

— Знаешь, принеси мне яду. Такого, знаешь, незаметного, без запаха и вкуса, и чтоб сразу.

Я вроде бы нашелся:

— Юр, прямо не знаю. Есть, конечно, у меня цианистый калий, вон целая цистерна, но ведь пахнет, зараза! Горьким миндалем.

Визбор хохотнул и тут же своей скороговорочкой сообщил мне историю, как одного мужика не брал цианистый калий, ну совершенно, и он шантажировал своих семейных, выпивая у них на глазах по стакану отравы. Но однажды забыл, что нельзя сразу после этого пить черный кофе...

— Позвони мне послезавтра. Может, увидимся. Захвати... гм... ну, какого-нибудь интересного чтива, хорошо?

Но послезавтра уже нельзя было к нему. А через неделю — я увидел его. А он меня — нет...

Вот и собрал Юра вокруг себя тысячную компанию... Вот и встретилось вокруг него постаревшее наше поколение. На дереве — большая фотография: он стоит, чуть наклонившись через гитару к микрофону — и улыбается.

Наша молодость, наша первая песня — Визбор.



МАЛЬДИВСКАЯ ЗАГАДКА

*Med de beste önsker
til leserne og redaksjonen
av JUNOST, tidsskriftet
som først introduserte
meg som forfatter for
sovjetiske lesere.*

Tur Heierdal
Moskva, 22. 10. 1984

На снимке: Тур Хейердал и Юрий Сенкевич у нас в редакции.

Перед вами — и автограф Хейердала: «С наилучшими пожеланиями читателям и редакции «Юности» — журнала, впервые познакомившего советских читателей с моими произведениями».

П

ур Хейердал, недавно отметивший свое семидесятилетие, вновь побывал в нашей стране и, как всегда, пришел к нам в редакцию.

— Жизненный опыт убеждает меня, — сказал наш давний автор, — что нет ничего ценнее дружбы. Я рад опять быть с вами, друзья.

Хейердал вспоминал, как сорок лет назад он впервые познакомился с советскими людьми. Он был тогда лейтенантом норвежской армии и вместе с советскими войсками участвовал в освобождении от фашистов северной провинции Норвегии — Финмарк.

Этнограф Генрих Анохин познакомил нас с текстом выступления Хейердала по лондонскому радио, с которым тот обращался в начале 1945 года к своим соотечественникам. Он говорил тогда: «Я перешел границу ночью вместе с русским солдатом. Светило тихое сияние. На опушке леса мы увидели вдруг типичный, маленький и низкий, домик, окрашенный в красный цвет с белыми кантами по краям... Русский засиял, как солнце: «Норвежский дом! — закричал он. — Твой дом, теперь ты у себя дома, опять дома!...»

Тур Хейердал рассказал нам, что сейчас, будучи в Ленинграде, ему удалось разыскать двух советских офицеров-однополчан, и они провели вместе замечательный вечер — для встречи избрали сауну!

Славный норвежский ученый, путешественник и писатель сейчас заканчивает новую книгу, которую намерен назвать «Мальдивская загадка», обещал уже в наступившем году прислать рукопись в «Юность».

Фото Л. Шимановича.

ВИКТОР СЛАВКИН МАТЬ И ДОЧЬ

Рисунок И. Макарова.



Они давно жили одни. Собственно, они жили одни всегда. Мать и дочь. Мать работала швейей-мотористкой на швейной фабрике, а дочь сначала была в яслях, потом ходила в детский сад, потом пошла в школу, в которой училась вот уже девятый год. То, что в их семье не было мужчины, не тяготило их, им было уютно и хорошо вместе. У них не было никаких материальных проблем. Мать зарабатывала хорошо, передовая работница, уважаемый в отрасли человек, частенько ее посылали за границу для обмена опытом.

В Венгрии, на фабрике верхней зимней одежды, она рассказывала и показывала, как они шьют черные драповые мужские пальто с каракулевым воротником — черным и серым, а также женские — плотное букле с отделкой синтетическим мехом темно-коричневого цвета, а для девочек с уклоном в оранжевый, с металлическими пуговицами на хлястике — молодости свойственно стремление к яркому.

Венгры вежливо выслушали, задали два-три вопроса, поаплодировали, потом повезли Веру Петровну в большой универсам, где она приобрела дубленку себе и

короткий заячий тулупчик для своей девочки.

И вот, когда выходили они — мать и дочь — в своих обновках во двор, было действительно странно, почему около них нет мужчины. Но, с другой стороны, многодетные женщины с тоской смотрели им вслед и вздыхали — господи, и зачем нам эти мужики!.. — вот живут в свое удовольствие мать и дочь и никто им не нужен. И действительно, никто им не был нужен.

Правда, раньше, давно, когда девочка была совсем маленькой, мать нет-нет да и подойдет к окну, да уставится во двор невидящим взглядом... Девочка дергала ее тогда сзади за подол и говорила: «Погоди, мамочка, вот вырасту, вместе замуж выйдем». Мать смеялась и отходила от окна. Но со временем эти слова утратили свой горький привкус и стали привычной семейной присказкой, лишённой всякого внутреннего смысла.

И так жили бы они спокойно и ровно и старились бы вместе, если бы в один прекрасный момент не случилось бы с ними нечто — сначала с матерью, а потом с дочерью.

Оджды, придя с работы, мать,

как всегда, крикнула с порога: «Как живете, караси?» — на что должна была получить отзыв: «Ничего себе, мерси». Но вместо этого дочка вышла в прихожую и сказала: — Мама, у нас гости.

Мать вздрогнула, быстро прошла в комнату — и от сердца у нее отлегло: «Не он». Того бы она узнала сразу...

— Чай уже пили? — весело спросила мать, хотя посередине стола возвышался электросамовар и две опустошенные чашки стояли по обе стороны от него.

— А Юрий Иванович тебя в газете вычитал, — сказала дочь.

— И высмотрел, — добавил гость. Голос у него был глубокий, глухой, и мать совсем успокоилась.

А Юрий Иванович достал газету, где на первой странице красовался большой портрет знаменитой швеи Кудимовой Веры Петровны, к концу второго квартала выдавшей полторы годовые нормы.

Вера Петровна засмущалась.

— Я на фотографиях всегда плохо получаюсь...

— Извините, пожалуйста, — сказал гость и вышел из комнаты.

Мать и дочь переглянулись.

В комнату вошел мужчина в зимнем пальто. Несмотря на июль, на двадцать шесть градусов в тени, все пуговицы на нем были застегнуты и воротник поднят.

— Это я — Юрий Иванович, — сказал Юрий Иванович.

И действительно, гостя после облачения в пальто трудно было узнать. Сейчас он был маленьким, толстеньким, горбатеньким, с явной асимметрией всей фигуры, что не имело ничего общего с человеком, только что сидевшим за столом.

— Милая Вера Петровна, вы мне очень понравились, даже на фотографии, а в жизни еще больше. У вас хорошее лицо и добрые глаза. Зачем же вы добровольно участвуете в этом скверном деле?! Посмотрите, во что вы превратили здорового, еще совсем не старого человека. Взгляните на результат вашего труда. Это не пальто. Это ватный гроб. Знайте, вы производите ватные гробы, в которых хоронят себя сотни, тысячи мужчин и женщин. За что?.. Госплан падит нас, он спускает вашей фабрике нормальную цифру, быть может, соответствующую числу маленьких, толстеньких, с

искривленным позвоночником людей в нашей стране — зачем же вы превышаете эту цифру и увеличиваете количество несчастных? Извините меня за мой странный поступок, но с тех пор, как я приобрел ваше пальто, я сам себя не узнаю. Вот до чего дошел — ворвался в чужую квартиру и выступаю! Но вся жизнь моя пошла наперекосяк. От меня ушла жена, начались неприятности на работе, надо мной плачет моя старая мать. А вчера в булочной одна женщина подала мне полпалочки... Вот что вы со мной сделали.

Он опустился на стул и налил себе чаю из горячего еще самовара. Он пил чай, и по лицу его текли крупные капли пота — пальто, изготовленное руками Веры Петровны, обладало выдающимися термическими свойствами. Впрочем, возможно, гость просто плакал...

Прошло лето. Наступила осень. Приближалась зима.

Зиму Вера Петровна ждала теперь с особым нетерпением. Не потому что любила здоровый русский морозчик, скрип снега под крепким финским каблучком... Тут другое. Ей хотелось поскорее взглянуть на остальных обладателей изделия под артикулом ПЗ-75321-с. Дело в том, что на зимних улицах она давно их уже не замечала. Двадцать шесть лет работая на одном месте, Вера Петровна с таким напряжением вшивалась в каждый сантиметр шва, так тщательно исследовала каждую вытачку и рельеф, что если бы она обращала на это внимание в свободное от работы время, то могла бы легко притупить свою профессиональную зоркость...

Наконец пришла зима.

И с первым снежком открылись для Веры Петровны совершенно неведомые ей до сих пор вещи. Она обнаружила, что те, на плечах которых были ее пальто, резко отделились от остальных. Глубокая печаль в неярких глазах, лица со следами раннего увядания, какая-то скорбность в фигурах — все это делало их непохожими на других людей и объединяло в немногочисленный, но особый народец. И с ужасом Вера Петровна поняла, что ее летний гость в зимнем пальто был чрезвычайным и полномочным представителем этого народа.

Вера Петровна решила идти к директору фабрики.

— Не могу я так больше, не могу! Наша продукция никому не нужна, модели устарели, техно-

логия отстает, оборудование ни к черту...

— Вера, Вера, Вера, Вера! — постукал карандашом по графину директор.

— Перестройка нужна. Реконструкция. Новые разработки.

— Какая реконструкция? Какие разработки? Ты думаешь, о чем говоришь? Сейчас, когда фабрика идет на знамя, коллектив на премию, ты на побитие всех рекордов, — все остановить и затеять реконструкцию, да? Погубить все дело, подвести министерство... Негосударственно мыслишь, Вера Петровна!

— А шить ватные гробы для людей — это в интересах государства?

— Вера, Вера, Вера, Вера, — повторил свое закливание директор и оглянулся по сторонам.

Вера Петровна встала.

— Я отвечаю за все. За каждого человека, идущего по улице в нашей продукции, за его настроение, здоровье, за его личную жизнь, если хотите. По-моему, это святой закон для любого работника нашей легкой промышленности, и мы, швейники...

— Может быть, ты просто устала, Вера, а, ты скажи? Мы тебя в заводской профилакторий отправим. Голубые стены. Бах перед сном. Или ты больше Вивальди уважаешь?..

Вера Петровна ходила еще к руководству производственного объединения, писала в главк, в министерство. Отовсюду она получала ответ, что, разумеется, понятна ее забота о качестве продукции, что спрос покупателя научно изучается и анализируется, что новые модели разрабатываются и начнут внедряться уже года через полтора, и о реконструкции вопрос поставлен своевременно, но пока, дорогая Вера Петровна, каждый на своем рабочем месте должен сделать все, что в его силах, чтобы...

И Вера Петровна поняла, что ей делать.

В первый же день следующего месяца швея-мотористка швейного объединения «Сезон» Кудимова В. П. выполнила свое сменное задание на 100%.

— Что с тобой, Вера? — робко спросил мастер. Вера Петровна опустила глаза и ничего не ответила. А на следующий день выполнила на несколько операций меньше, что соответствовало 98,5% дневной нормы.

Дальше — больше. Вернее, меньше.

С каждым днем все снижала и снижала Вера Петровна свою производительность труда, и, глядя на

нее, стала хуже работать вся бригада...

Мастер ходил хмурый и злой, но не рисковал заговаривать с Верой Петровной круто, начальник цеха метался в поисках деликатных мер воздействия на известного в отрасли человека, директор не понимал, что происходит...

Вера же Петровна чувствовала, как с каждым днем к ней возвращались покой и радостные ощущения жизни, утраченные после визита Юрия Ивановича. Она снова гуляла по улицам легкой походкой, смело глядя по сторонам. И хотя ей по-прежнему попадались на глаза изделия ПЗ-75321-с, ей казалось, что стало их гораздо меньше. А значит, она, лично она, своими собственными руками, сделала счастливыми кое-какое количество хороших людей. Она даже могла прикинуть какое. По числу недоданной за подходящий к своему концу первый квартал продукции.

А на дворе уже стояла весна, люди постепенно сбрасывали с себя все зимнее, и на душе Веры Петровны становилось все светлее и светлее.

Возвращаясь домой после работы, она теперь снова бросала с порога забытые было веселые слова: «Как живете, караси?» И однажды услышала в ответ:

— Мать, ты что, хочешь испортить мне всю жизнь?

Дело в том, что, увлеченная своей борьбой за снижение числа немодно одетых людей на улицах родного города, мать совершенно упустила из виду второго члена их семьи — дочь. Давно и прочно в их небольшой семье было решено, что дочь пойдет по стопам матери. Институт легкой промышленности ждал ее с распростертыми объятиями, готов был сделать все, чтобы не прервалась славная семейная традиция.

Однако в последнее время докатились до института слухи о материнской истории, и дочь, исправно посещавшая подготовительные курсы, почувствовала прохладное к себе отношение.

— Из-за тебя я не пройду по конкурсу.

— Доченька, — сказала мать, — много сил потратила я, чтобы уговорить тебя пойти в нашу профессию, а теперь я, твоя мать, умоляю тебя — иди в другой институт. Вот хотя бы в авиационный. Наши самолеты — лучшие в мире.

— Мать, что с тобой? Я не узнаю тебя, мать.

— Не могу я, доченька... Ничего не могу с собой поделать.

— Уж не влюбилась ли ты часом? — усмехнулась дочь.

— Да. Влюбилась. Да.

Мать сказала это просто так, почти автоматически, и только в следующую секунду сообразила, на какую спасительную идею напала.

До сих пор мать тщательно скрывала от дочери свою тайну. И хотя искренне считала, что поступает правильно, делает все, что в ее силах, боялась, узнай это дочка, в ее душе могут родиться негативные, критиканские настроения. Уж лучше пусть она думает, что мать потеряла голову совсем по другой причине...

— И ради любви ты готова лишиться всего, за что боролась всю жизнь? — спросила дочь.

— Да, — твердо ответила Вера Петровна.

И дочь посмотрела на мать с уважением. Среди своих сверстников она не встречала такой убежденности и жертвенности.

А в институт дочь действительно поступила — в авиационный. Дело в том, что Юрий Иванович, снова появившийся на их горизонте, оказался инженером-конструктором летательных аппаратов и помог девочке подготовиться в этот непростой вуз, который сам когда-то окончил.

К тому времени жизненные буря, трепавшие Юрия Ивановича, улеглись, он привык к своему пальто, притерся, научился носить его, мужского достоинства при этом не теряя, пальто отныне не действовало на него столь нервно, как в первые дни после его приобретения, когда он так странно ворвался в квартиру Веры Петровны и ее дочери.

Да и сама Вера Петровна и ее дочь купили себе по такому же. Разумеется, в женском исполнении. Их дубленка и заячий тулупчик давно износились, надо было срочно приобретать что-нибудь на предстоящую зиму, а возможностей у них теперь хватало только на то, что свободно и сравнительно недорого продается в любом советском магазине.

И вот, когда они, все трое, выходили на прогулку, прохожим, следующим зади, ни за что было не догадаться, что в середине этой тройки — мужчина, а по бокам две женщины — мать и дочь. До того одинаково они выглядели. Но если бы кому-нибудь пришло в голову обогнать их и обернуться, — он увидел бы, какие у всех троих счастливые лица.

КОНСТАНТИН
МЕЛИХАН

СПОР



Рисунок
И. Оффенгендена.

БЫЛ у нас в институте доцент. Он у нас пожарное дело вел. Добрый такой старикан: ниже пятерки никому не ставил.

И вот как-то накануне зачета по пожарному делу заваливаюсь я к своему приятелю Котье Гвоздеву.

— Айда, — говорю, — гулять!

Он говорит:

— Не видишь, готовлюсь? У нас же сегодня зачет по пожарному делу.

Я говорю:

— Да брось ты дурака валять! Этот доцент все равно всем пятерки ставит.

Гвоздев говорит:

— Нет, я слышал, он в параллельной группе кому-то четыре балла влепил.

Я говорю:

— Ну спорнем на трешку, что ты пятерку склопочешь?

Он говорит:

— Спорнем, что — пару.

Я говорю:

— Что-о-о! Ты получишь пару у этого доцента, который ниже пятерки еще никогда и никому не ставил?

Гвоздев говорит:

— Да, да! Именно у этого доцента и именно пару.

В общем, поспорили.

Являемся на зачет. Доходит очередь до Гвоздева.

Он садится напротив доцента и говорит:

— Ничего не знаю. Ставьте два

Доцент говорит:

— Как не знаете? Вы же еще билет не брали.

Гвоздев вяло так берет билет.

— Все равно, — говорит, — не знаю.

Доцент говорит:

— Так вы сначала вопрос в билете прочтите.

Гвоздев нехотя так читает: «Пожар в театре. Ваши действия».

— Ну? — говорит доцент.

— Не знаю, — прикидывается дурачком Гвоздев и кладет билет обратно.

— А вы подумайте, — говорит доцент. — Ну? Что вы будете делать в театре, если вспыхнет пожар?

— Ничего не буду! — нахально говорит Гвоздев.

— Правильно! — обрадовался доцент. — Главное — не подымать паники. Идите. Пятерка!

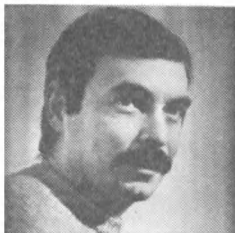
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ БОРИСА ПОЛЕВОГО



Жюри конкурса
на соискание премий
имени
Бориса ПОЛЕВОГО
в области прозы,
поэзии,
публицистики, критики
рассмотрело
произведения,
опубликованные
в 1983—1984 гг.

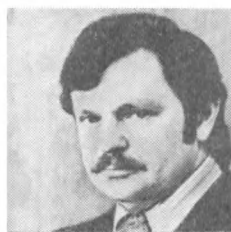
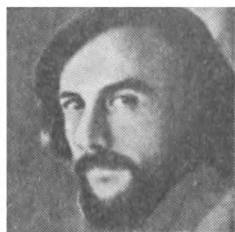
Премии присуждены:

**Юрию
АДАМОВУ**
за повесть
«Личное клеймо»
№№ 4—5, 1984 г.



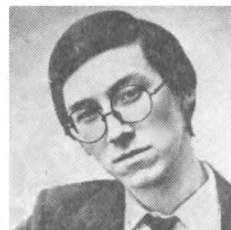
**Борису
ВАСИЛЬЕВУ**
за роман
«Завтра была война»
№ 6, 1984 г.

**Николае
ВИЕРУ**
за роман
«Река и лист»
№ 8, 1984 г.



**Альберту
ЛИХАНОВУ**
за повесть
«Последние холода»
№ 2, 1984 г.

**Андрею
ВОЗНЕСЕНСКОМУ**
за цикл стихов
№ 9, 1984 г.



**Андрею
МАЛЬГИНУ**
за критические
статьи
«Поэзия — поступок»
№ 11, 1983 г.,
«Два портрета»
№ 5, 1984 г.

**Светлане
КОЛЕСОВОЙ**
за цикл очерков
«Мой БАМ»
№№ 3, 9, 10, 1984 г.



**Алексею
ФРОЛОВУ**
за очерк
«Уроки на завтра»
№ 8, 1984 г.

**Наталье
ЗИМЯНИНОЙ**
за очерк «О Рихтере»
№ 1, 1984 г.



**Александр
ЛАВРИНУ**
за цикл стихов
№ 1, 1984 г.,
за статью
«Земля и дождь»
№ 11, 1984 г.

Лауреаты награждаются памятными медалями и почетными дипломами.

*«Юность» сердечно поздравляет своих лауреатов
и желает им новых творческих успехов.*

